

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Российский государственный гуманитарный университет»

# «СТЕНЫ И МОСТЫ» — II

междисциплинарные и полидисциплинарные  
исследования в истории

Москва  
Академический Проект  
2014

УДК 930  
ББК 63  
С 79

*Проведение конференции и издание сборника осуществляется при поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.  
Государственный контракт от 11 октября 2011 г. № 14.740.12.1356*

Научный редактор: доктор исторических наук, профессор А.П. Логунов

С 79 **«Стены и мосты» — II: междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории:** материалы Международной научной конференции, Москва, Российский государственный гуманитарный университет, 13–14 июня 2013 г. / Г.Г. Ершова (отв. ред.), М.М. Кром, Б.Н. Миронов, И.М. Савельева, В.А. Шкуратов, Е.А. Долгова. — М.: Академический Проект, 2014. — 248 с.

**ISBN 978-5-8291-1575-3**

В сборник включены материалы II Международной научной конференции «Стены и мосты»: междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории», прошедшей в Российском государственном гуманитарном университете 13–14 июня 2013 г. Конференция стала опытом кооперации творческих усилий, сопоставления достижений «незнакомых» друг другу ученых из разных областей знаний: к участию в ней были приглашены специалисты, обращающиеся в своих исследованиях к проблемам взаимодействия истории с разными научными дисциплинами — социального, гуманитарного, естественного профиля.

*Печатается по решению Ученого совета Российского государственного гуманитарного университета*

**УДК 930  
ББК 63**

ISBN 978-5-8291-1575-3

© Коллектив авторов, 2014  
© Оригинал-макет, оформление.  
Академический Проект, 2014

## СОДЕРЖАНИЕ

От издателей .....	5
<b>Междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории: постановка проблемы</b>	
<i>Г.Г. Ершова.</i> Нравственный императив исторического процесса? — ответ в междисциплинарности («Рефлекс свободы» по Павлову) .....	10
<i>М.М. Кром.</i> Сравнение в истории и исторической социологии: общность метода и различие дисциплинарных подходов .....	30
<i>Б.Н. Миронов.</i> Междисциплинарный подход в изучении русской революции 1917 г. ....	46
<i>И.М. Савельева.</i> Культурная история: суверенность дисциплины в век междисциплинарности .....	64
<i>В.А. Шкуратов.</i> «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» Время эпох и темпоральный примитив .....	81
<b>Теоретические основания и исторический опыт междисциплинарных и полидисциплинарных исследований</b>	
<i>Н.В. Иллерицкая.</i> История и политология: междисциплинарный аспект .....	98
<i>С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева.</i> Структура исторического знания: от дисциплинарности к полидисциплинарности .....	109
<i>Н.В. Ростиславлева.</i> Полидисциплинарность. Ответ К. Лампрехта .....	118
<i>Е.А. Долгова.</i> Об интеграционной тенденции в российской гуманитаристике первой четверти XX в. ....	128
<b>Подходы и методы междисциплинарных и полидисциплинарных исследований</b>	
<i>А.Ю. Володин.</i> Цифровая история (digital history): виртуальная реальность или исследовательская практика .....	140
<i>В.Л. Гайдук.</i> Визуальный поворот в исторической науке в конце XX — начале XXI в. ....	148
<i>А.Н. Киридон.</i> «Memory studies» как парадигма современного социально-гуманитарного знания .....	157

**История на пересечении гуманитарных и естественных дисциплин**

<i>И.П. Басалаева.</i> Фронтальная концепция: от «огорода» к «полю» .....	168
<i>Е.И. Бурла.</i> Междисциплинарный подход к изучению устных исторических источников .....	177
<i>Е.А. Захарова.</i> Пути и ориентиры: ментальные карты туристического пространства города .....	186
<i>О.Н. Мухин.</i> Перспективы развития исторической биографии в свете применения междисциплинарного подхода .....	193

**Междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории России**

<i>Е.А. Архипова.</i> Социология и новая институциональная экономическая теория в практике исторических исследований: на примере изучения старообрядческого предпринимательства .....	202
<i>З.М. Кобозева.</i> Интерференция дискурсов мещанского письма во власть: «унисонный тип отношений» .....	213
<i>А.Б. Лярский.</i> Самоубийства учащихся в Российской империи конца XIX — начала XX в.: особенности изучения .....	224
<i>А.Ю. Суслов.</i> Историческая память и социалисты в советской России: Эволюция образа .....	234

<b>Сведения об авторах</b> .....	242
----------------------------------	-----

13–14 июня 2013 г. в Российском государственном гуманитарном университете состоялась II ежегодная международная научная конференция «Стены и мосты»: междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории», проведенная усилиями Мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского университета истории Российской академии наук, Европейского университета в Санкт-Петербурге, Южного федерального университета.

К участию в конференции были приглашены ученые, обращающиеся в своих исследованиях к проблемам взаимодействия истории с разными научными дисциплинами — социального, гуманитарного, естественного профиля. Цель конференции — кооперация творческих усилий, сопоставление достижений «незнакомых» друг другу ученых из разных областей знаний. Иными словами, перед участниками встала проблема выявить дисциплинарные особенности исследований и возможности междисциплинарного синтеза. Замысел проекта состоял в обнаружении и реализации эвристического потенциала методов и подходов междисциплинарных и полидисциплинарных исследований. Совместить научные интересы ученых разных областей оказалось совсем непросто. Поэтому был выбран принцип диалога: обсуждения общих проблем методологии, методов, методики исследований как отдельных дисциплин, так и в целом для ряда наук.

Конференция открылась пленарным заседанием, в ходе которого были обозначены ее основные проблемные вопросы.

Г.Г. Ершова в докладе «Нравственный императив исторического процесса? ответ в междисциплинарности» предложила рассматривать исторический процесс как эволюцию антропосистемы (человечество Земли), развивающейся по общим законам, за счет освоения территории и энергоресурсов, на основе психофизиологических законов пассивной адаптации и психосоциальных законов активной адаптации

человека, организованного в сообществе в рамках определенной территории и условиях постоянной острой конкурентной борьбы, обусловленной конечной ограниченностью территории Земли (в качестве места обеспечения биосоциальной репродукции и источника энергоресурсов). Докладчик убедительно показал, что общесистемный процесс недоступен для монодисциплинарного событийного описания и требует приложения сил многих наук.

Доклад М.М. Крома «Сравнение в истории и исторической социологии: общность метода и различие дисциплинарных подходов» был посвящен исторической компаративистике как общему проблемному полю истории и (исторической) социологии. Докладчик подчеркнул, что хотя сравнительный метод считается общим в гуманитарных и социальных науках, цели и результаты его применения для познания прошлого обнаруживают существенные различия между историей и социологией. Тем не менее есть классики исторической компаративистики (как, например, Марк Блок), чьи работы одинаково авторитетны как для историков, так и для социологов. Таким образом, диалог между дисциплинами вполне возможен, и основой для него, по мысли докладчика, могут служить именно методы, которые по своей природе являются общенаучными (как сравнительный метод) или, по крайней мере, объединяют несколько наук, — в отличие от подходов, которые в концентрированной форме выражают своеобразие той или иной дисциплины, с ее традициями, конъюнктурой («модой») и постоянно меняющимися тенденциями.

Б.Н. Миронов в своем докладе о предпосылках и причинах Русской революции 1917 г. предложил рассматривать ее как сложное общественное явление, своим происхождением обязанное действию совокупности факторов (психологических, политических, экономических, социальных, демографических, метеорологических и других) и совпадению множества случайностей. На примере революции 1917 г. докладчик на практике проиллюстрировал возможности применения междисциплинарного подхода к конкретно взятому историческому явлению.

В докладе И.М. Савельевой анализировались объекты, концепции и методы культурной истории — современной исторической субдисциплины, представленной в разных национальных историографических традициях. В связи с пограничным характером объекта (социальные институты, социальные сети, повседневное взаимодействие, детство, культурная память, телесность и т. д.) И.М. Савельевой была поставлена проблема феномена междисциплинарного взаимодействия применительно к исторической науке, был обозначен вопрос об институциональных границах дисциплин.

В докладе В.А. Шкуратова «Какое, милое, у нас тысячелетие на дворе?» время эпох и темпоральный примитив» была обоснована необходимость введения психологического времени в периодизацию исторического материала и предложен термин «антропокультурная формация». Докладчик подчеркнул, что гуманитарное знание последних десятилетий склонно к культурному релятивизму, непериодизирующему подходу к прошлому, микроистории и т.д. Однако, по мнению докладчика, спрос на макроисторическое мышление остался, он питается острой необходимостью ориентироваться в потоке глобальных перемен и поддерживать связь поколений.

В рамках работы первого дня конференции обсуждались проблемы теоретического обоснования междисциплинарных и полидисциплинарных исследований в истории.

Вопросы взаимодействия и взаимовлияния дисциплин (истории, социологии, политологии, лингвистики, психологии) были поставлены в рамках первой секции «Теоретические основания и исторический опыт меж- и полидисциплинарных исследований». С.И. Маловичко и М.Ф. Румянцева обратились к проблеме определения дисциплинарных полей гуманитарного знания. Н.В. Иллерицкая поставила вопрос о переосмыслении в новых контурах «привычного» для исследователей вопроса о взаимодействии истории и политологии. Н.В. Ростиславлева сделала акцент на историческом опыте решения проблемы полидисциплинарных исследований, обратившись к творчеству К. Лампрехта. Исторический аспект изучения междисциплинарных исследований — на примере анализа интеграционной тенденции в российской гуманитаристике первой четверти XX в. — был проиллюстрирован и в докладе Е.А. Долговой.

В рамках второй секции «Подходы и методы меж- и полидисциплинарных исследований» обсуждалась проблема междисциплинарных заимствований (эвристические возможности социологических, экономических, лингвистических, психологических моделей и объяснений, границы их применимости). Так, в докладе А.Ю. Володина была поставлена проблема бытования цифровой истории (digital history). А.Л. Киридон обратилась к истории памяти (memory studies). В.Л. Гайдук очертила существование т.н. визуальной истории (visual studies).

Вопросы изучения взаимодействия гуманитарных и естественных дисциплин освещались в рамках третьей секции. И.П. Басалаева проиллюстрировала понятие «фронтирных исследований». Как точку пересечения гуманитарных и естественных дисциплин обозначила устную историю в своем докладе Е.И. Бурла. Вопросы взаимодействия истории и географии на примере изучения ментальных карт городского пространства охарактеризовала в своем докладе Е.А. Захарова.

Практика применения междисциплинарного подхода в жанре исторической биографии была представлена в докладе О.Н. Мухина на примере психологического анализа биографии Петра I.

В программу второго дня конференции вошли прикладные исследования, в основу которых были положены междисциплинарные и олидисциплинарные подходы и методы. Так, в докладе Е.А. Архиповой был освещен опыт изучения феномена старообрядческого предпринимательства в российском гуманитарном знании в 1990–2000-е гг. и демонстрировалось, как применение социологической модели М. Вебера и неинституционального подхода способствовало разрешению вопроса о роли старообрядчества в развитии российского предпринимательства. В докладе З.М. Кобозевой через понятие *интерференция дискурсов* анализировалась проблема взаимоотношений представителей местной власти и мещанства города в пространстве делопроизводственной документации градской думы и мещанской управы. В докладе А.Б. Лярского затрагивались проблемы изучения самоубийств школьников с исторической точки зрения. В докладе А.Ю. Суслова на примере анализа технологий конструирования имиджа был проиллюстрирована эволюция образа социалистов в советской России.

Всего в ходе работы конференции было заслушано более сорока докладов участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Барнаула, Брянска, Казани, Краснодара, Новокузнецка, Ростова-на-Дону, Самары, Смоленска, Томска.

В рамках конференции прошла серия мероприятий: публичные лекции М.М. Крома «Генезис государства Нового времени в Европе: социологические модели и эмпирические исследования историков», А.П. Логунова «Русский человек между правами и правилами: своеобразие русской правовой культуры», Розы Марии Чан Гусман «Культурное наследие Гватемалы и проблемы образования, ориентированные на его сохранение», презентация книг Б.Н. Миронова «Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX в.» (М.: «Весь мир», 2012) и «Страсти по революции: нравы российской историографии в век информации» (М.: «Весь мир», 2013).

Конференция послужила лишним доказательством общего стремления университета к его изначальной роли быть хранилищем и лабораторией интегративного и универсального знания.

В настоящий сборник включены статьи, подготовленные докладчиками по итогам конференции.

## МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСТОРИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

## ПРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА? — ОТВЕТ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ («РЕФЛЕКС СВОБОДЫ» ПО ПАВЛОВУ)

*Г.Г. Ершова*

Российский государственный гуманитарный университет  
г. Москва

***Аннотация.** В статье предлагается рассматривать исторический процесс как эволюцию антропосистемы. Выстраивание принципиально новой модели исторического в XXI в. приобрело особое значение, хотя попытки пересмотра традиционных схем «дат и династий» начались еще в XIX в., что было обусловлено, как ни странно, глобальными открытиями в области наук естественных — прежде всего биологии и физики. Тогда же и была заложена основа междисциплинарных подходов к пониманию принципов развития человеческого общества. Постепенно сформировалось и понятие целостного единства — человечества, имеющего общие для всей системы законы самосохранения, обеспечения устойчивости, развития в условиях единого и ограниченного пространства планеты. Человек за счет особой модели поведения — активной адаптации — создает антропосистему, позволяющую не только выживать, но и увеличивать среднюю продолжительность жизни, являющуюся единственным объективным показателем прогресса, подразумевая все сформированное научное знание и технологии, включая технологии социальные и компенсаторные. Процесс развития самоорганизации АС неизбежно приводит к столкновению между отдельными подсистемами, конкурирующими за территориальное пространство и энергоносители. Именно это противостояние приводит к развитию научного знания и технологий, не только позволяющих «опередить» соседей, но и, главное, идти по пути развития АС, обеспечивающей выживание постоянно растущего населения Земли в целом.*

***Ключевые слова:** антропосистема, междисциплинарность, модель исторического процесса, эволюция, закон рекапитуляции, функциональная асимметрия, морфологическая симметрия, тектология, научное знание, технологии.*

### Состояние дел на год 2013

Носитель обыденного или общепринятого, а также самого доступного знания — сайт Википедия — так определяет, со ссылкой на вполне приличные, но не отечественные источники, понятие «история»:

*«...область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей и организаций и так далее) в прошлом.*

*В более узком смысле история — это наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить последовательность событий, исторический процесс, объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий.*

*Первоначальное значение слова «история» восходит к древнегреческому термину, означавшему «расследование, узнавание, установление». История отождествлялась с установлением подлинности, истинности событий и фактов»<sup>1</sup>.*

Однако уже само предлагаемое определение способно ввергнуть читателя в пучину методологических противоречий, смеси разновременных парадигм и профессиональной беспомощности так называемого «историка». Поскольку всем очевидно, что собственно история (без сопутствующих гуманитарных направлений) продолжает представлять в виде «фактов и поиска причин» отдельно взятых событий. И не менее очевидно, что этот примитивный подход к истории уже давно никого не устраивает. Примечательно, что еще в далеком 1934 г. историки и преподаватели европейских стран уже ощущали явную необходимость в пересмотре подходов к истории и ее преподаванию. К сожалению, они искренне полагали, что проблема может быть решена путем «правильного» отбора нужных «фактов», соответствующих «уровню достижений исторической науки»<sup>2</sup>.

Самое удивительное, что, по сути, о тех же самых проблемах речь шла и в 2012 г., уже на Всероссийском съезде учителей истории.

<sup>1</sup> Судя по журналу, правки разными авторами вносятся постоянно <http://ru.wikipedia.org/wiki/> [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.

<sup>2</sup> Хроника. Историческая наука за рубежом. Вопросы преподавания истории на Западе // Историк-марксист. 1936. № 3(55). С. 201–202. <http://dlib.eastview.com/browse/doc/7439537> [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.

Так, директор ИВИ РАН А.О. Чубарьян заметил, что «нагромождение разрозненных фактов не дает школьникам полного представления об исторической картине...».

Совершенно очевидно, что история не может больше оставаться некой описательной схемой событий, приправленной сиюминутными идеологически выгодными комментариями, которые легко оспорить или «подправить» по первому требованию. Это стало понятно уже к концу XIX в., но так до сих пор и не принято традиционным «историческим сообществом».

### Поиски исторической системы

Историческая наука, пожалуй, со времен отца истории, писавшего в жанре интеллектуальной литературы, Геродота находилась в постоянном поиске принципа исторических описаний. Наиболее логичными выглядели схемы географические и этнографические (Страбон), где осью истории становились сравнительные описания близких и далеких соседей, а также хроники-анналы (Тацит), выстроенные преимущественно по датам династий правителей, что определялось естественной источниковой базой и степенью ангажированности летописца. В результате исторические исследования (и, соответственно, учебники) остановились на неизменном принципе: региональная хронология правителей и их достижений, войны и завоевания, в сочетании с этнографией, пересказами «мифов» и описаниями религиозных верований.

Процесс размежевания в XVIII в. науки, религии и философии, формирования научных направлений, достаточно быстро привел к поискам новой модели синтеза. Результатом в XIX в. стало огромное количество научных открытий, что заставило ученых ощутить единство мироздания и целостность эволюционного процесса, куда, в дополнение к биологическому, явно вписывался и социальный, исторический процесс.

Человеком, который немало сделал для этого качественного изменения состояния науки, стал немецкий биолог Эрнст Геккель, одни открытия которого изменили современную ему научную парадигму, а другие намного опередили свое время, оставаясь непонятыми и непринятыми современниками. Э. Геккель стал автором понятий филогенез и онтогенез, создателем закона рекапитуляции, а также творцом культового для современного мира концепта «экология» как среды обитания человека.

В фундаментальном двухтомном труде «Общая морфология организмов», опубликованном в 1866 г.<sup>3</sup>, Э. Геккель обозначил важную для

<sup>3</sup> *Haeckel E. Generelle Morphologie der Organismen. Berlin, 1866. Vol. 1–2. На русский язык полностью это издание так и не было переведено.*

всякой науки проблему поиска системности. Применительно к биологии это звучало примерно так: благодаря теории Дарвина морфология обрела возможность превратиться в науку, только переходя от простого описания органических форм к обоснованию происходящих трансформаций. Собственно то, что Ф.Г. Добржанский подчеркнул в самом заглавии своей знаковой статьи: «*Ничто в биологии не имеет смысла иначе как в свете эволюции*»<sup>4</sup>, вынужденно выступая (будучи сам глубоко верующим человеком) более века спустя против примитивного мракобесия дремучего религиозного фундаментализма.

Однако, следует отметить самое важное в «Общей морфологии»: в первом томе Э. Геккель обозначил две базовые составные части морфологии, которые он обозначил как «общую тектологию» и «общую проморфологию».

*Общая тектология*, представлявшая *общее учение о строении организмов*, по Геккелю, включает представления о структуре живых существ, основанные на понятиях морфологической индивидуальности. А вот *общая проморфология* была определена как *общее учение о форме организмов или трансформации идеальных основных форм симметрии*, и все подходы строились на геометрических и кристаллографических аналогиях. Сюда относится изучение органической стереометрии — оси и плоскости симметрии организмов.

Вклад немецкого ученого в науку еще и в том, что он одним из первых понял системный характер процессов эволюции, выделив взаимодействие двух основополагающих параметров: функциональной организации и геометрической симметрии. Это гениальное, но мало кем понятое открытие в области живых систем стало отчасти предшественником *универсального принципа симметрии* Кюри, сформулированного 30 лет спустя для кристаллов и среды. Сам же Геккель установил и общие характеристики для живых организмов и неорганических тел, в частности кристаллов. Об этом идет речь во второй и восьмой («Проморфология») главах работы «Чудеса жизни»<sup>5</sup>.

Примечательно, что Илья Мечников сразу же понял и по достоинству оценил значимость выводов Э. Геккеля — и потому гениальный русский ученый уже три года спустя, в 1869 г. опубликовал под своей редакцией основные положения «Общей морфологии организмов» в работе «Учение об органических формах, основанное на теории превращения видов»<sup>6</sup>. Это был практически конспект двухтомника, уме-

<sup>4</sup> *Dobzhansky Th. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution // American Biology Teacher. 1973. V. 35. P. 125–129.*

<sup>5</sup> *Геккель Э. Чудеса жизни. Общедоступные очерки биологической философии. СПб., 1908. С. 13–25, 77–82.*

<sup>6</sup> *Он же. Учение об органических формах, основанное на теории превращения видов / Под ред. И. Мечникова. СПб., 1869.*

стившийся в 179 страницах. Геккель тоже решил переиздать свой труд в более доступной форме и опубликовал «Естественная история миротворения», труд вышел на русском языке в 1908–1909 гг.

Удивительно, но Геккеля критикуют постоянно. Один из главных упреков был в «эклектичности» — так советские биологи<sup>7</sup> (в отличие от И.И. Мечникова или В.М. Бехтерева) понимали или, точнее, в принципе не были способны понять его стремление к целостности мировоззрения, нестандартность мышления и мультидисциплинарный подход. Так, например, странно читать, как историк биологии Л.Я. Бляхер «упрекает» Геккеля: «Эклектический характер эволюционных воззрений Геккеля отмечался неоднократно. Та глава «Естественной истории миротворения» ...демонстрирует с полной отчетливостью неудачную попытку Геккеля примирить дарвинскую теорию естественного отбора с ламарковским допущением прямого приспособления по желанию животного<sup>8</sup>. Причем далее от Бляхера достается также И.И. Мечникову!<sup>9</sup> Достаточно сказать, что историк биологии после долгих рассуждений, даже не упоминая Геккеля, приходит к выводу о «мнимости проблемы» соотношения формы и функции! То есть он в принципе не понимает даже смысла блестящих открытий «эклектиков». Собственно, еще ученик Геккеля А. Ланг писал: «не все из нас способны следовать за Геккелем, у многих захватывает дух, не хватает теоретико-познавательного чутья...»<sup>10</sup>. И это тоже особенность знания — гениальные открытия как бы закладывают будущее для развития, когда окружающие долго даже не понимают, к чему это приведет, продолжая пережевывать всем понятное прошлое.

Тем не менее, великая заслуга Э. Геккеля еще и в том, что он не стал «замыкаться» в биологии (а это уже считалось страшным грехом в глазах «правильного» научного сообщества) — и перешел к совершенно логичным выводам о дальнейшей эволюции человека, отражаемой в историческом процессе. Если суммировать его комментарии в дискуссии с современниками, то вырисовывается следующая картина<sup>11</sup>:

<sup>7</sup> Например, И.И. Ежиков — автор критического предисловия и составитель публикации: *Мюллер Ф., Геккель Э.* Основной филогенетический закон. М.-Л., 1940.

<sup>8</sup> *Бляхер Л.Я.* Проблемы морфологии животных. М., 1976. С. 24.

<sup>9</sup> Впрочем, это, видимо, традиция отечественной науки — ни Мечников, ни Менделеев не были приняты в Академию наук в период своих революционных открытий. Видимо, по причине излишней революционности. Только когда этот факт стал постыдным для Академии, выдающиеся ученые были приняты «правильными» академиками в свои ряды.

<sup>10</sup> *Ланг А.* Эрнст Геккель как человек и ученый. Предисловие к: *Геккель Э.* Мировые загадки. М., 2012. Репринт. С. XX.

<sup>11</sup> *Геккель Э.* Чудеса жизни. Общедоступные очерки биологической философии. СПб., 1908. Глава XVII. Ценность жизни. С. 173–180.

Человек — естественный объект эволюции, где действуют неизменные законы вселенной как универсума.

Органическая жизнь находится в постоянном развитии, где присутствие каждого вида ограничено лишь одним (очень редко несколькими) периодом.

Каждая особая форма жизни (индивида и вида) — лишь эпизод. И человек не является исключением.

Историческое чередование видов и классов связано с процессом их организации через отбор.

Стадии развития человеческого общества происходят одна из другой в зависимости, с одной стороны, от внутренних условий (данных наследственностью), и с другой стороны, от внешней обстановки существования (вызывающей приспособление). Ни «любящего провидения», ни «нравственного мирового порядка», ни пантеистической *финальности* не существует на свете. Есть только *причинность*.

История обладает волнообразным ходом (хотя в целом — это лестница восходящих ступеней). Причем «волны истории» совершенно неправильны — падение может длиться долго, а затем наступает крутой подъем. Новые быстро развивающиеся группы занимают место старых и более высоко организованных, которые вымирают.

Объективно народы Земли находятся на разном уровне развития. Но если подробно изучить *низшую психику первобытных народов, то можно вывести из нее филогенетическую психику культурных народов*. Поэтому особое место следует отвести проблемам эволюционной этики.

Вектор развития человечества — это ценность культурной жизни, напрямую зависящая от развития мышления, что обеспечивает качество жизни.

Цель развитого общества — естественная гармония между социальной и личной оценкой человеческой жизни, для чего следует совершенствовать образование и социальные институты.

Современник Геккеля, один из основателей российской психиатрии В.Х. Кандинский справедливо писал: «...Эрнст Геккель своими смелыми теориями существенно способствовал распространению идеи развития и в значительной степени осветил до тех пор темную область биогенетических фактов. Заслуга Геккеля, главным образом, состоит в том, что он последовательно провел дарвиновскую теорию до самых границ животного царства и показал, что между мирами неорганическим и органическим непереходимой бездны не существует»<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Цитируется по: *Рохлин Л.Л.* Жизнь и творчество В.Х. Кандинского. Глава VII: Философские взгляды В.Х. Кандинского. <http://www.psychiatry.ru/lib/55/book/86/chapter/9>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.



И можно добавить, что благодаря Геккелю возникло понимание принципов формирования социального пространства, открывая исследователям невероятные горизонты в познании человека.

По всей видимости, не без влияния идей Геккеля разрабатывал свою теорию первый русский социолог Лев Мечников (брат Ильи Мечникова), на основе линейно-эволюционной концепции развития общества, выделяя при этом географический фактор (*экологию*) в качестве базовой причины развития человечества. Он связывал его зарождение и развитие с освоением водных ресурсов, выделяя в истории человечества три периода: речной, морской и океанический<sup>13</sup>.

Плодотворные идеи Геккеля во многом определили направление исследований В.М. Бехтерева, впервые предположившего, в частности, что «закон рекапитуляции» можно использовать не только для характеристики биологических подсистем, но также и социальных<sup>14</sup>, а также практически основавшего в начале XX в. в России первую междисциплинарную историческую школу.

Совсем не случайно, буквально следуя идеям Геккеля, возникла и первая всеобъемлющая системная концепция исторического процесса. Она была создана и разработана в 1912–1920 гг. экономистом А.А. Богдановым (Малиновским), предложившим новую научную дисциплину под названием «Тектология» или «Всеобщая организационная наука», под которой понималось *единство «всех человеческих биологических и физических наук»*. Однако идея Богданова также осталась совершенно непонятой и непризнанной современниками, которые яростно критиковали его в рамках традиционных для того времени схем. Лишь десятилетия спустя оказалось, что в «Тектологии» Богданов впервые обозначил принцип системного подхода к проблемам, которые позднее представил Л. Берталанфи в своей «Общей теории систем»<sup>15</sup>. Совершенно очевидно, что работа Богданова стала едва ли не первой фундаментальной попыткой построения общенаучной концепции, охватывающей проблемы организации, управления и развития сложных системных объектов, к которым относятся и человеческое общество. Не говоря уже о том, что идеи

<sup>13</sup> Мечников Л.И. Географическая теория развития исторических народов // Вестник Европы, 1889. Т. 2. № 3; *Он же*. Цивилизация и великие исторические реки: статьи. М., 1995.

<sup>14</sup> Более подробно этот аспект рассматривался ранее: *Ершова Г.Г.* Нелегкий опыт междисциплинарности // Стены и мосты: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: материалы международной научной конференции. М., 2012. С. 49–70.

<sup>15</sup> Bertalanffy K.L. von. General System theory: Foundations, Development, Applications. New York, 1968.

Богданова оказались актуальными и для принципов кибернетики, моделирования, общего научного языка, для принципа обратной связи, принципа отбора в процессах мышления.

Выводы Геккеля воодушевляли многих революционных исследователей на поиски новых решений в осмыслении места человечества в мироздании. Признавая «животное» начало человека, ученые пытались выявить и то, что его выделяло. И потому велись яростные дискуссии по осмыслению нравственного аспекта человеческой деятельности. Причем дискуссии вызывали позиции, выдвигаемые не учеными, а общественными деятелями и даже писателями.<sup>16</sup> Физиологи приходят к поразительным выводам о «биологизме» высших проявлений человека. Так, физиолог И.П. Павлов, прочно ассоциирующийся в современном общественном сознании с условными рефлексам, открывает на опытах с собаками наличие у некоторых (малочисленных) особей ярко выраженного «рефлекса свободы», который чрезвычайно трудно подавить и который является одним из «важнейших прирожденных рефлексов». Даже пищевой рефлекс не мог подавить «рефлекс свободы»<sup>17</sup>, — Павлов даже делает предположение, что вместе с рефлексом свободы существует также прирожденный рефлекс рабской покорности. «Как часто и многообразно рефлекс рабства проявляется на русской почве, и как полезно осознать это!» — восклицает Павлов и приводит пример раскаявшегося студента-предателя, унаследовавшего этот рефлекс от матери-приживалки<sup>18</sup>. Поэтому к концу XIX в. все очевидней стала необходимость осмысления созданного человеком пространства, выходящего за рамки этнических или политических границ. В результате в начале XX в. появилось немало схожих терминов, привязанных, что отчасти логично, к пространственной характеристике. Так, именно «сфера» определяла освоенное человеком наземное пространство — по аналогии с литосферой, гидросферой, атмосферой и *биосферой*, определение которой дал австрийский геолог и палеонтолог Э. Зюсс в 1875 г. Термин *антропосфера* появился в 1902 г. — и не случайно, что его предложил Д.Н. Анучин, научные интересы которого охватывали археологию, зоологию, этническую антропологию, антропогенез, физическую географию, страноведение и даже историю науки. Научная школа Д.Н. Анучина характеризовалась неразделимостью «триады» наук: антропологии, археологии и этнографии, а также обязательном учете природных условий и ресурсов для понимания

<sup>16</sup> Например, Мечников как ученый «разбирает» позицию Гете или графа Толстого в отношении сущности и места человека.

<sup>17</sup> Павлов И.П. Рефлекс свободы. СПб., 2011. С. 101. Доклад под этим названием И.П. Павлов совместно с М.М. Убергрицем сделал в мае 1917 г.

<sup>18</sup> *Он же*. Рефлекс свободы. СПб., 2011. С. 103.

условий развития хозяйства и культуры. Он первым обозначил важность искусственной среды, изменявшей в силу активной хозяйственной деятельности среду природную, которой придавал чрезвычайно важное значение<sup>19</sup>. По сути, это был подлинно междисциплинарный подход, понятый далеко не всеми коллегами и даже вызывавший насмешки со стороны «правильных» историков.

В 1927 г. появился еще один термин, пытавшийся обозначить пространство деятельности человека: *ноосфера*. Предполагается, что возник он не без влияния В.И. Вернадского, представителя «русского космизма» и создателя такого междисциплинарного направления в науке, как биогеохимия. Именно его лекции, прочитанные в Сорбонне, привели математика Э. Леруа совместно с геологом, палеонтологом-эволюционистом и философом-неоплатоником Т. де Шарденом к разработке учения о ноосфере.

Появление концепта антропосферы логично потянул за собой процесс «уточнения» термина: так появились техносфера, биотехносфера, социосфера и прочие сферы, включавшие присутствие на Земле человека. Авторы новых понятий явно стремились подчеркнуть не просто биологическое заселение планеты человеком, приспособление к окружающему биопропространству, но и коллективно создаваемые им артефактную и интеллектуальную составляющие, которые рассматривались, прежде всего, в качестве угрозы «природе». Это направление, с переводом в биологию, получило активное развитие во второй половине XX в., когда термин Геккеля «экология» был выведен за рамки строгого системного понимания и начал активно политизироваться, обретая яркие нравственно-эмоциональные характеристики<sup>20</sup> (что, впрочем, тоже показательно с точки зрения самоорганизации АС, поскольку изменения в АС происходят только в результате эмоционального реагирования человека). Б.Б. Прохоров, создавая понятийный словарь «Экология человека», для Геккеля даже не предусматривает отдельной статьи, упоминая как об авторе термина «экология» лишь вскользь.<sup>21</sup>

Введение в исторические исследования к концу XIX в. такого важного критерия, как модель производства, отчасти отодвинуло на второй план хронологию династий и войн. Устоявшийся стандарт постепенно расширялся. Этнографическая информация располагалась отдельно и была необязательна (поселенческая модель, семейные

<sup>19</sup> Теперь это выглядит удивительно, но в советские времена эту позицию Анучину ставили в упрек, считая, по-видимому, ненаучной.

<sup>20</sup> Например, «Экологический манифест» *Н.Ф. Реймерса*, опубликованный в работе «Экология. Теория, законы, правила, принципы и гипотезы». (М., 1994. С. 359–363).

<sup>21</sup> *Прохоров Б.Б.* Экология человека. Понятийно-терминологический словарь. Ростов-на-Дону, 2005. С. 206.

отношения, гендерная дифференциация, воспитание детей и т.д.) и в первую очередь относилась к догосударственным обществам. Физическая антропология стала включать биологические аспекты развития человека, рассматривая их, как правило, в применении к наиболее ранним периодам человека.

В XX в. модель исторического процесса по схеме: хронология, персоналии, события, производство, экономика, политика, закон, культура, религия — начала активно перестраиваться, чему немало способствовала деятельность так называемой «русской социологической школы», на работу достаточно разнородных представителей которой (П.А. Сорокин, Н.И. Кареев, К.М. Тахтарев) немалое влияние оказали работы В.М. Бехтерева. Во второй половине XX в., несмотря на устойчивость общепринятой догмы, отечественные ученые пытались найти новые подходы. В этом направлении работал Ю.В. Кнозоров, практически подпольно разрабатывая «теорию коллектива». Сюда же можно отнести и небесспорную теорию Л.Н. Гумилева. О необходимости смены парадигмы заявил Б.Ф. Поршнев, так и не опубликовавший свой капитальный труд, обобщавший его выводы.

На Западе Ф. Бродель даже разработал методологические подходы к «глобальной истории», которые сводятся, как известно, к трем главным позициям: всемирная история — это история человечества; поиски больших исторических циклов; привязка истории к природно-биологическим изменениям на Земле. П. О'Брайен в 1990-е гг. начал в Институте исторических исследований Лондонского университета проект по изучению глобальной истории.

Однако, несмотря на десятилетия поисков создания нового образа «глобальной» истории, предлагаемые модели воспроизводят в той или иной мере методологическую традиционную схему, обозначенную Ф. Броделем. А в центре исследования остаются уже перечисленные традиционные поля: экономика, культура, политика, торговля, заимствования, хронология и т.д. Метод микро- и макроистории, истории социальной, повседневности, интеллектуальной или экономической, а также упор на «региональное мессианство» в новейшей истории — эти подходы также не позволяют выстроить принципиально новую модель единого исторического процесса. В последнее время написано немало работ, посвященных скорее «состоянию глобалистики» в той или иной области, нежели предлагающих качественно новую модель. В лучшем случае предлагается интеграция разнообразных версий глобализации в единую теорию (например, концепция глобальной общности человечества М.А. Чешкова).

Практически все предлагаемые новые модели «глобальной» истории воспроизводят эту схему, по сути не меняя видение исторического процесса. Нельзя не согласиться с тезисом А.П. Назаретяна,

утверждающего, что междисциплинарные модели должны исключать «потусторонние факторы» и «предвечные цели развития». Этот же автор сформулировал важные принципы: недопустимость переноса на историю человечества «концепции синергетики, нелинейной динамики и динамического хаоса» в силу невозможности уложить «эмпирический материал социальной истории в схему векторного и при том однолинейного развития»<sup>22</sup>. В результате А.П. Назаретян предлагает сопоставлять в рамках крупных временных отрезков определенные параметры «состояния общества». А также для начала выделяет «пять эволюционных векторов»: рост населения Земли, энергетическая мощность технологий, сложность социальной организации, информационная емкость интеллекта, совершенствование механизмов культурной регуляции<sup>23</sup>.

### **Антропосистема (АС) как мультидисциплинарная модель исторического процесса**

Объектом антропосистемного подхода является целостная история человечества Земли. Собственно, на этом подходе совершенно справедливо настаивали еще В.И. Вернадский и П. Тейяр де Шарден. Поэтому для решения поставленной задачи концептуально не представляют интереса ни более фрагментарное выделение социосистем, ни предположения уровня Вселенной, для анализа которых нет никаких данных. Ни стремление заведомо привязать эту историю к тому или иному региональному цивилизационному пространству или периоду. Как бы ни называлась эта История (большая, глобальная, универсальная, мировая, всеобщая и т.д.), речь должна идти об истории человечества Земли, а, точнее, истории антропосистемы, где *h.sapies* обладает едиными, достоверно присущими только ему характеристиками познания и воздействия на окружающий мир. Где человек, выживая в агрессивной биосреде, в условиях роста населения и конкуренции соседей, создает сложную искусственную систему, обеспечивающую ему выживание — антропосистему (АС). Предложенный мною подход к АС принципиально отличается от значения, вкладывавшееся в понятие «антропосистема» создателем этого термина Н.Ф. Реймерсом, для которого АС представляла не человечество как элемент эволюции космоса и самоорганизующуюся по общим законам

<sup>22</sup> Назаретян А.П. Универсальная история и синдром «предкризисного человека» // Цивилизации. Вып. 5. Проблемы глобалистики и глобальной истории. М., 2002. С. 120.

<sup>23</sup> Там же. С. 121.

систему, а всего «развивающееся целое, включающее людей как биологический вид, производительные силы и производственные отношения общества»<sup>24</sup>, — то есть некий «социум», в основном разрушающий природную среду. Определение «система» в подходе Реймерса предполагает систему биологической взаимосвязи между человеком и окружающей средой с точки зрения потребления ресурсов<sup>25</sup>.

Исходя из естественной ограниченности биологического подхода для понимания законов цивилизационного процесса мною была предложена «теория самоорганизации антропосистемы»<sup>26</sup>. Основные положения сводятся к следующему:

АС возникает из биосферы в качестве уровня системы (фито-, зоо-), которые, в свою очередь, выделяются из органического мира, являющегося формой самоорганизации неорганического мира, единого (по физико-химическим свойствам) для микро- и макрокосма, неся в себе единые законы самоорганизации данной макросистемы, основанные на функциональной асимметрии (функция сохранения / функция изменения состояния системы), приводящей к качественным изменениям системы за счет изменения морфологии (смены форм симметрии). Все это в полной степени относится и к социосистеме.

АС — это фрагмент мироздания, саморазвивающаяся открытая подсистема, сформированная в процессе развития живой природы и эволюции *homo sapiens*, обладающая общими системными признаками фрактальности и бифуркации, определяемой катализно-ингибиторным пространственным компонентом. АС отличается от прочих целевым воздействием на окружающую действительность, артефактной организацией территориального пространства и наличием специфического информационного пространства. Устойчивость АС не одномоментна — она заложена в схему саморазвития и зависит как от внешних переменных: эколого-природной среды, так и внутренних факторов, выражающихся в форме взаимодействия внутренних структур.

Механизмом, который организует и изменяет неорганический и органический мир, биосферу и АС, является борьба и единство асимметричных функций (сохранения и изменения) саморазвивающегося объекта, выражающиеся в постоянном противоречии (смене

<sup>24</sup> Это краткое определение появляется в издании: Реймерс Н.Ф. Азбука природы. Микрэнциклопедия биосферы. М., 1980.

<sup>25</sup> Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М., 1994. В этом издании, появившемся уже после смерти автора, понятие антропосистемы рассматривается чуть более подробно — но не в качестве саморазвивающейся системы.

<sup>26</sup> Ершова Г.Г. Асимметрия функций как механизм самоорганизации усложняющихся систем (К проблеме самоорганизации антропосистемы) // Пространства жизни: к 85-летию академика Б.В. Раушенбаха. М., 1999. С. 323–353; Она же. Асимметрия зеркального мира. М., 2003.

взаимозависимых форм) между функциональной асимметрией и морфологической симметрией. Последние в каждой системе и подсистеме имеют собственное выражение, но обладают сходными типологическими характеристиками. Основным принципом самоорганизации, развития и устойчивости АС становится движение.

Естественно возникает вопрос: каково выражение АС, доступное для познания? Если законы и константы Вселенной, а также переменные характеристики земной среды познаются только естественными науками, то АС, представляющая человечество планеты, познается и естественными науками, соединяющими человека с биосредой, и гуманитарными — через изучение глобального исторического процесса с применением единых общесистемных требований к анализу, выходящему далеко за рамки «сравнительно-исторического метода».

При разработке мною около 15 лет назад принципов самоорганизации АС исторический процесс на начальном этапе анализа был намеренно исключен, как объект заведомо не поддающийся формализации в рамках предложенной системы. [Иначе исследование запрограммировано попадает в ловушку некоей существующей осевой парадигмы. А формально осью исторического процесса может стать не только способ производства, политика, культура или религия, но и все что угодно — зависит от поставленных исследователем целей]. Это позволило выделить «составные части и уровни» системы, а также законы, постоянно и непрерывно воспроизводящиеся на каждом из этих базовых уровней. А затем эти единые законы стали применяться для анализа дискретного исторического материала, естественным образом образуя «стыковочные» и бифуркационные узлы взаимодействия — причем как во времени, так и в пространстве, подчиняясь логике единого процесса: от до-спиенса (в любой версии) до современности и прогнозирования будущего.

Антропосистема — это человечество, самоорганизованное для освоения земного пространства. Эта стремящаяся к устойчивости система состоит из исторически сформировавшихся подсистем разного типа (объединения людей), каждая из которых следует по пути цивилизации с разной скоростью, но по единым законам и к единой цели: увеличение средней продолжительности жизни через познание и целенаправленное артефактное совершенствование окружающего мира. Последнее обеспечивается через: потребление энергоресурсов; усложнение моделей активной адаптации к окружающей среде; развитие научных знаний и технологий, включая социальные; использование инновационных эффекторов; опережающее социоинтеллектуальное воспроизводство новых поколений. Устойчивость как АС, так и подсистем обеспечивается постоянным развитием. Процесс преобразований АС непрерывен, а дискретность является только кажущейся, когда наблюдателю неясен

сам принцип развития. Самоорганизация осуществляется на базе двух функций: функции сохранения исходного состояний системы и функции изменения состояния системы.

АС состоит из трех уровней, в каждый из которых входят: функционально асимметричный элемент (функциональная асимметрия по принципу «сохраняющее» — «изменяющее»), в присутствии третьего «несистемного» пространственного элемента. Без него невозможна функциональная асимметрия ни на одном из уровней, поскольку именно пространство (территория) является фактором энергообеспечения каждого из уровней, обладая при этом характерной спецификой. Тем самым «пространственный» компонент выступает в качестве катализатора (или ингибитора) процессов системы.

Первый: *головной мозг* (функ. асимметрия: правое — левое полушария). Функции мозга реализуются посредством человека как сложной системы.

Второй: *социорепродуктивная пара* в разных исторических формах семьи (функ. асимметрия: женское — мужское). Функции реализуются на артефактном пространстве жилища. Основная — воспроизведение потомства, которое усваивает знание и технологии предыдущих поколений и создает новые — иначе не обеспечивается развитие социума.

Третий: *социум* (функ. асимметрия: народ — власть). Функции реализуются на естественно-артефактном пространстве «территория».

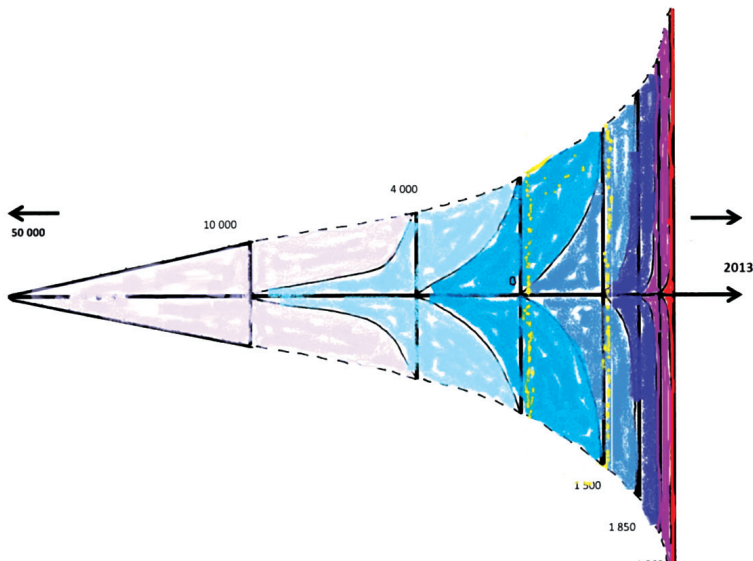
Четвертым уровнем следует считать человечество в целом: АС. Очевиден вопрос «территории» — это планета Земля. Естественным возникает вопрос дефиниции функционально асимметричных компонентов в этой системе: сохраняющего и изменяющего состояние системы. Возникает вопрос и предела развития АС.

Без третьего «несистемного» территориального компонента невозможно никакая дуальная функциональная асимметрия ни на одном из уровней, поскольку именно пространство (территория) является фактором энергообеспечения каждого из уровней, обладая при этом характерной для каждого уровня спецификой. Тем самым «пространственный» компонент выступает в качестве катализатора (или ингибитора) процессов своей подсистемы.

Наивысшим выражением функции сохранения состояния системы являются инновации или развитие — то есть изменение состояния системы ради обеспечения ее устойчивости. Подсистемы выживают только в случае технологически-интеллектуального опережения соседей. Выживает та подсистема, которая доказывает свое превосходство (экономическое, интеллектуальное, технологическое, организационное) над конкурентом — через устойчивое увеличение средней продолжительности жизни при снижении разницы между мужским и женским показателем.

Подсистемы синхронно могут находиться на разных уровнях цивилизации, ориентируясь на очаги прогресса, которые, на протяжении исторического процесса, по мере совершенствования технологий смещаются из более комфортных регионов (с минимумом рисков для выживания) в менее комфортные (где выживание гарантирует создание искусственной среды, при резком увеличении потребления энергоносителей). Процесс в подсистемах может быть как поступательным, так и регрессивным — при несоответствии уровня развития и инноваций реальным вызовам актуальной агрессивной природной или политической среды. Исчезновение подсистемы проявляется в способности осваивать или защищать свою территорию, как источник энергоресурсов, что физически ведет к дезинтеграции социума, ассимиляции его в конечном счете другой, более динамичной подсистемой. А динамично развивающаяся подсистема увеличивается за счет интеграции иных, менее развитых подсистем.

Скорость исторического процесса далеко не равномерна и имеет определенную динамику. Эта шкала может быть применена как АС в целом, так и для каждой подсистемы. В основе построения шкалы лежит принцип развития во времени научного знания, технико-хозяйственных технологий и социотехнологий, а также эффекторов (нестандартных прорывных технологий), которые характеризуют уровень развития и устойчивости социосистемы в целом. Условно-схематично это выглядит примерно таким образом как показано на схеме.



Глобализация — это неизбежная унификация технологий и знаний, что позволяет легко подняться на высший цивилизационный уровень, избегая затрат на базовое развитие науки и технологий. Для непередовых, зависимых подсистем это состояние компенсируется отчасти интеграционными процессами, касающимися территориального пространства, что позволяет в определенной мере перераспределить энергоносители.

Если выстроить схему развития АС (общую, ориентированную на очаги) по оси во времени (при всей условности выделения рубежей «эпох»), то отчетливо прослеживается уменьшение каждого последующего исторического этапа по отношению к предыдущему в 2–4, максимум 5, раз. Более ранние этапы в каждом цикле оказываются более продолжительными (в 5 раз), нежели последние этапы (в 2 раза). По вертикальной оси можно выстроить график средней продолжительности жизни — и тогда будет получена картина исторического процесса в привязке к прогрессу. Схема может быть общей для АС, а также ее можно выстраивать для рассматриваемой подсистемы для анализа ее состояния на каждом из этапов и причин изменений социосистемы.

Ось  $t$  — временная шкала эволюции человека в антропосистеме, в которой выделяются точки качественных изменений в истории организации и функционирования социума. Временные точки обладают определенной относительностью в силу неравномерного развития подсистем АС. Схема может быть построена как вектор для АС в целом или же для отдельно взятых подсистем или периодов.  $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k$ , — смены этапов — ключевых типов моделей самоорганизации АС в целом или отдельной подсистемы-социума. Точки-даты ориентированы преимущественно на инновации в развитии коммуникации и изменении объемов и скорости передачи информации<sup>27</sup>.

Выстроенная схема (по самым общим, «магистральным» характеристикам) демонстрирует некую особенность временной динамики исторического процесса в целом. Каждый последующий период цивилизационного процесса является более коротким по отношению к предыдущему. Причем на более ранних и «длинных» этапах это соотношение проявляется резче ( $a:b$  в 5 раз,  $b:c$  в 4 раза,  $c:d$  в 3,5;  $d:e$  в 3;  $e:f$  в 2,5 раза;  $f:g$  в 2,4 раза;  $g:h$  в 2,5 раза;  $h:i$  в 2,5 раза;  $i:j$  в 2 раза;  $j:k$  в...). Эти соотношения для каждой отдельно взятой подсистемы могут варьироваться (как нет и единства в выделении этих узловых точек) — но тенденция остается единой.

<sup>27</sup> Ершова Г.Г. Антропосистема: коммуникативные модели и регулируемая интеграция // Исторический журнал: научные исследования. 2012. № 4. С. 11–25.

Важно отметить, что в качестве конечного этапа безусловно берется состояние современной глобальной цивилизации, внутри которой и проводится данное исследование. Тогда как начальные этапы выглядят как стекающиеся воедино, разные по размеру и интенсивности, притоки некой единой магистральной реки. Поэтому в общей схеме они вынужденно «усредняются». Для индивидуальных регионов или цивилизаций схема может завершиться, например, исключительно долгим «a-b», примыкающим сразу к «g» или «h». Или идущим параллельным руслом вплоть до «j» или «k» (отдельные группы собирателей и примитивных охотников Африки или Амазонии). А немало и таких, что достигнув самостоятельно уровня «d», возвращаются в состояние «c» и какое-то время следуют также курсом, параллельным магистральному потоку. Затем дезинтегрируются и вливаются уже на более «продвинутом» отрезке.

Ось Y — средняя продолжительность жизни — объективный показатель, отражающий целостное состояние системы (подсистемы). Если средняя продолжительность жизни для АС в целом составляет около 65 лет, то в подсистемах она варьируется от 32 (Свазиленд) до 82 (Андорра)<sup>28</sup>. Кроме того, в отдельных подсистемах движение обязательно обладает колебательным характером, в соответствии с происходящими внутренними изменениями, связанными с неустойчивостью развития или вообще отсутствием такового. Поэтому в схеме используются максимальные показатели как магистральный вектор АС. Для дальнейшего целостного анализа важен фактор вилки между женской и мужской средней продолжительностью жизни. В целом оценки средней продолжительности жизни чрезвычайно разнятся, допуская при этом также некую возможную вилку. Данные по ранним периодам приводятся по материалам А.П. Бужиловой<sup>29</sup>. Данные по XVIII — XX вв. приводятся по материалам Ю.В. Журова<sup>30</sup>.

Ось X — это должен быть некий формальный показатель, объединяющий уровень потребления энергоносителей, территориальное пространство социума и плотность населения. Опосредованно он отражает развитие науки и технологий, в т.ч. меняющиеся модели производства, социальные модели, характер информносителей. Самое сложное, пожалуй, это вывести формулу такого показателя. Неслучайно А.П. Назаретян специально рассматривает многочисленные и серьезные проблемы, возникающие в реализации подобной задачи<sup>31</sup>.

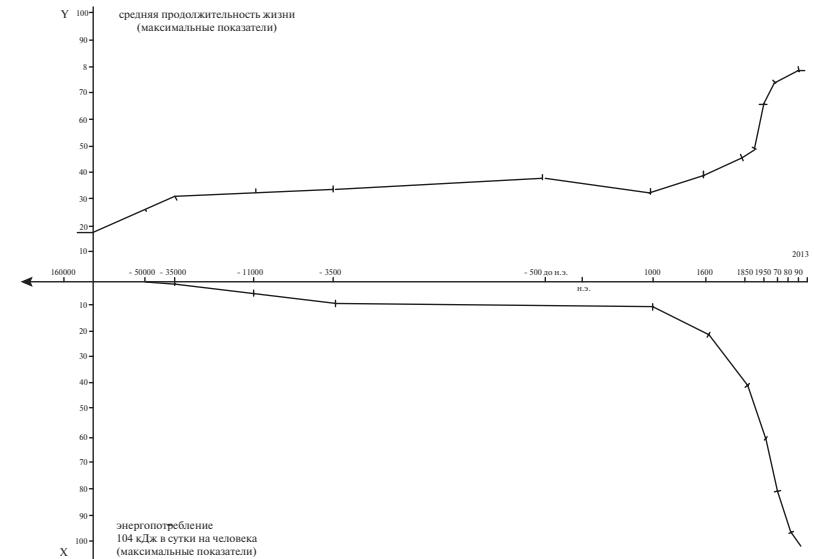
<sup>28</sup> При этом ни Свазиленд, ни Андорра не являются создателями научного знания и технологий.

<sup>29</sup> Бужилова А.П. Homo Sapiens. История болезни. М., 2005. С. 16–17.

<sup>30</sup> Журов Ю.В. Проблемы методологии истории. Брянск, 1996. С. 38–48.

<sup>31</sup> Назаретян А.П. Антропогенные кризисы: гипотеза техно-гуманитарного баланса // Вестник РАН. 2004. Т. 74. № 4. С. 319–330.

Наиболее приближенным к поставленным задачам общей оценки развития АС выглядит вариант, предложенный Б.Б. Прохоровым, автором таких терминов, как *антропоэкология* или *демоэкология*. Б.Б. Прохоров связывает среднюю продолжительность жизни с затратами энергоносителей, вводя расчетную единицу: ГДж/сутки на человека (также  $10^4$  кДж)<sup>32</sup>. Подобный расчет формально предполагает и сложность технологий, и получаемое качество жизни. Б.Б. Прохоров попытался связать с каждым историческим этапом развития социума «определенный социально-исторический тип популяционного здоровья», создав свою классификацию по критерию продолжительности жизни: *примитивный, постпримитивный, квазимодерный, модерный и постмодерный тип здоровья*, не ставя своей задачей ни оценку собственно социальной системы, ни научно-технологического аспекта деятельности человека<sup>33</sup>. Как и в случае со средней продолжительностью жизни, в схеме использован максимальный показатель ввиду весьма существенного расхождения в уровне энергопотребления у разных популяций. Для поставленной задачи важен именно максимальный показатель, обеспечивающий максимальную продолжительность жизни, что выражает магистральную тенденцию развития АС.



<sup>32</sup> Прохоров Б.Б. Экология человека: Понятийно-терминологический словарь. Ростов-на-Дону, 2005.

<sup>33</sup> Там же. С. 185.

Оценка состояния любой подсистемы АС будет производиться в сопоставлении с «идеальной» прогрессивной линией развития АС. Это позволит адекватно оценить любой социофеномен в рамках исторического процесса, вне зависимости от его временной или региональной принадлежности. Скорость эволюции разных подсистем будет различна, как и количество пройденных этапов.

Так, например, предки будущего населения Древней Америки начальные этапы процесса становления человека проходили в «едином русле» с обитателями Азии. 35000–40000 лет назад первые мигранты отделяются от своей популяции и переселяются на американский континент, где заселяют огромные девственные территории, по причине размеров которых несколько замедляется процесс научно-технологической интенсификации. Самостоятельно достигают уровня ранних городских цивилизаций, эволюционируют. Но в XVI в. оказываются неспособными противостоять технологически более развитым европейцам и утрачивают целостность, интегрируясь в сложившуюся новую систему, формируя социум нового типа.

По мере продвижения фактор «хронологии» перестает быть определяющим в цивилизационном процессе, и дискуссии утрачивают, по сути, свой смысл. При этом выявляются факторы отставания (депрессия) или опережения (эфффекторы) развития конкретной подсистемы в условиях природного и социального окружения.

В подобном контексте, например, Россия выступает в качестве подсистемы (социум+территория), начинающей свой исторический путь в IX в. на достаточно сложном пространстве, в процессе завершения эпохи передела территорий утратившего устойчивость «Древнего мира», в начале классического европейского средневековья и при идеологических смутах Византии. В крайне непростых условиях в целом поделенного евразийского пространства Россия не только с успехом интегрируется в сложившееся окружение, заимствует чужие и успешно начинает развивать необходимые знания и технологии, сопротивляется агрессии соседей. А также используя разнообразные эфффекторы для обеспечения прорывов в достаточно сложных условиях и вводя социоинновации, которые маркируют качественно новую форму существования социума, где присутствует и наука, и технологии, и энергоносители, и экономика.

Российская модель (как часть единого процесса) доказала свое историческое право на существование (как и иные, ныне существующие), о чем свидетельствуют постоянное расширение территории (для роста населения с запасом энергоносителей), даже системные ошибки, регрессии и восстановление устойчивости. Регулярная демонстрация способности сохранять свою целостность очевидна, даже в экстремальных ситуациях (войны, частичная утрата стабильности при

распаде СССР). Антропосистемный анализ позволяет выявить «слабые» и «сильные» места любой подсистемы и определить перспективы развития с обязательным учетом окружения и влияния внутренних интегрированных подсистем. При этом для России показатели средней продолжительности жизни, а также энергопотребления на человека существенно разнятся от «максимальных» показателей и при этом обладают собственной динамикой роста.

Итак, существует «магистральное» направление развития АС, в которой каждая подсистема обладает своими специфическими характеристиками. И здесь мы вернемся к вопросу заглавия данной статьи: а существует ли вообще какой-либо нравственный императив в истории человечества? И по отношению к чему или к кому? Если рассматривать взаимосвязь АС — окружающее пространство (биосфера, зоосфера и т.д.), то человек является фрагментом этой системы, где изначально ему пришлось отвоевывать свое пространство, причем по всем фронтам, где ему удалось не исчезнуть как очень многим видам животных и эволюционировать, приспосабливаясь и противостоя агрессии окружающей среды. И речь идет не только и не столько о природопользовании и энергоносителях, за счет которых создается искусственная среда выживания человека. Сюда же относится и необходимое уничтожение конкурентов по пищевой цепочке, «вредителей» съедобных растительных ресурсов, паразитов, кровососущих насекомых, вирусов и пр., также являющихся неотъемлемой частью природы. Не будет преувеличением заявить, перефразируя Добржанского, что «природа имеет смысл только в свете присутствия в ней человека».

Процесс развития самоорганизации АС неизбежно приводит к столкновению между отдельными подсистемами, конкурирующими за территориальное пространство и энергоносители. Именно это противостояние приводит к развитию научного знания и технологий, не только позволяющих «опередить» соседей, но и, главное, идти по пути развития АС, обеспечивающей выживание человечеству в целом.

И вся история человечества, полная драм, трагедий, голода, болезней, ошибок и преступлений (с точки зрения проигравших), это одновременно и история, полная удач, побед, успехов (с точки зрения победителей) — за счет познания, открытий и изобретений, которые позволяют всему человечеству в целом двигаться вперед...

## СРАВНЕНИЕ В ИСТОРИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: ОБЩНОСТЬ МЕТОДА И РАЗЛИЧИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ\*

**М.М. Кром**

Европейский университет в Санкт-Петербурге  
г. Санкт-Петербург

**Аннотация.** В статье демонстрируются различия в применении сравнительного метода в истории, с одной стороны, и в одном из влиятельных направлений социологической науки, исторической социологии, — с другой. Высказывается гипотеза о том, что эти различия порождены базовыми установками истории и социологии. Таким образом, выявление специфики применения общенаучного метода в каждой из дисциплин помогает лучше понять природу границы между ними.

**Ключевые слова:** история, историческая социология, сравнительный метод, каноны Милля, функции сравнения, типология компаративных исследований.

«Сравнительное изучение исторических фактов представляет собою мост, перекинутый с берега истории на берег социологии. Оно может служить и задачам исторического (идиографического) знания и целям знания социологического (номологического)», — писал в 1913 г. Н.И. Кареев<sup>1</sup>. Различие между сравнительно-историческим и сравнительно-социологическим изучением фактов прошлого известный ученый видел в том, что «...историка интересуют лишь факты, между которыми можно установить генетическую связь,

социолога же преимущественно факты, свидетельствующие о наличности в каждом примере одинаковой причины, приводящей к одинаковому следствию»<sup>2</sup>.

За сто лет, прошедших с того момента, когда были написаны эти слова, «территория историка» значительно расширилась, и теперь граница, разделяющая интересы историков и социологов, вряд ли проходит там, где ее видел в свое время корифей русской исторической школы. Но проблема, поставленная Н.И. Кареевым, актуальна и в наши дни. Как сравнивают свои объекты историки, и как — социологи? Сколь велики отличия между этими способами сравнения, и можно ли сказать, что это — два разных метода: сравнительно-исторический и сравнительно-социологический (по терминологии Кареева)? Или всё же метод один, но применяется с разными целями? Наконец, хотелось бы понять, происходит ли интеграция исторических и социологических подходов в общем поле компаративистики. Другими словами, может ли сравнительный метод стать «мостом» (по выражению того же Кареева), соединяющим две соседние дисциплины, или как раз в области методологии стена непонимания и отчуждения между историками и социологами особенно высока и непреступна?

Таков круг вопросов, которые я намерен рассмотреть в данной статье, опираясь, с одной стороны, на труды историков-компаративистов, а с другой — на работы представителей второй и, отчасти, третьей «волны» исторической социологии.

Историческая социология, высокие образцы которой были продемонстрированы в начале XX столетия в работах Макса Вебера, спустя полвека возродилась в США. Лидеры «второй волны» — Райнхард Бендикс, Баррингтон Мур, Иммануил Валлерстайн, Чарльз Тилли, Теда Скочпол — сумели сделать историческую социологию влиятельным направлением в социологической науке. Отличительной чертой, своего рода визитной карточкой этого направления с самого начала стал сравнительный метод, широко применявшийся названными учеными. Шла ли речь о путях модернизации традиционных обществ (Р. Бендикс), социальных корнях демократии и диктатуры XX в. (Б. Мур), возникновении мировой экономической системы (И. Валлерстайн), складывании национальных государств в Европе (Ч. Тилли) или социальных революциях (Т. Скочпол), — сравнение служило этим исследователям важнейшим аналитическим инструментом.

Следует подчеркнуть, что компаративный характер американской исторической социологии 50–80-х гг. XX в. невозможно объяснить ни самим фактом обращения социологов к историческому материалу, ни

\* Благодарю Ирину Максимовну Савельеву за ценные критические замечания по поводу моего доклада на конференции «Стены и мосты-II», учтенные мной при переработке тезисов доклада в настоящую статью.

<sup>1</sup> Кареев Н.И. Теория исторического знания. Изд. 2-е. М., 2010. С. 193.

<sup>2</sup> Там же. С. 192.



влиянием историков, работы которых они читали. Дело в том, что до недавнего времени компаративистика не пользовалась у историков особым вниманием. В начале XX в. Н.И. Кареев сетовал на неразработанность вопроса о сравнительном методе в «общих исторических методологиях»<sup>3</sup>. Прошло сто лет, но кардинального изменения ситуации в этом плане пока не заметно. В 1980 г. социолог Виктория Боннелл (ученица Б. Мура) отметила различие между социологами и историками в их отношении к сравнению «поверх национальных границ и временных рамок»: если для социологов, по ее словам, стало уже «почти аксиомой», что такое сравнение и возможно и продуктивно, то «многие историки нелегко принимают сравнительные построения, выходящие за рамки одного исторического периода, страны или культуры»<sup>4</sup>.

Этот «диагноз» подтверждают и сами историки: в том же 1980 г. Джордж Фредриксон опубликовал статью о состоянии сравнительной истории в США и с сожалением констатировал редкость подобных работ. «Сравнительная история, — писал он, — еще в действительности не существует как признанная область внутри истории или даже как четко определенный метод изучения истории»<sup>5</sup>. Столь же критически оценил положение дел в американской историографии Реймонд Гру: в 1985 г. он опубликовал статью под говорящим названием «Сравнительная слабость американской истории», связав весьма ограниченное влияние американистов на мировую историческую науку со слабой укорененностью сравнительных подходов в их профессиональном сообществе<sup>6</sup>. Прошло еще почти двадцать лет, и в 2004 г. Дебора Коэн с грустью признала, что, несмотря на все дифирамбы сравнительному методу и конференции, посвященные его пропаганде, «сравнительная история остается маргинальным занятием в Соединенных Штатах». В отличие от гендерной или новой культурной истории, она не модна и вплоть до недавнего времени не становилась предметом дискуссий<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Кареев Н.И. Теория исторического знания. С. 187. Прим. 1.

<sup>4</sup> Bonnell V. The Uses of Theory, Concepts and Comparison in Historical Sociology // Comparative Studies in Society and History. Vol. 22. No. 2 (April 1980). P. 159.

<sup>5</sup> Fredrickson G.M. The Status of Comparative History (1980) // idem. The Comparative Imagination: On the History of Racism, Nationalism, and Social Movements Univ. of California Press: Berkeley, Los Angeles, London, 2000. P. 24 (статья впервые напечатана в сб.: The Past Before Us: Contemporary Historical Writing in the United States / ed. by Michael Kammen. Cornell Univ. Press: Ithaca, 1980).

<sup>6</sup> Grew R. The Comparative Weakness of American History // The Journal of Interdisciplinary History. Vol. 16. No. 1 (Summer 1985). P. 87–101, особ. p. 87–89.

<sup>7</sup> Cohen D. Comparative History: Buyer Beware // Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective / Ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. Routledge: New York; London, 2004. P. 57.

Было бы ошибочным считать на основании подобных жалоб, будто все эти годы положение американской исторической компаративистики оставалось плачевным и будто американцы в этом отношении уступают всем остальным национальным историографиям. На самом деле, судя по научной периодике, с начала 1980-х гг. в американской исторической профессии заметен растущий интерес к разного рода сравнительным исследованиям; росло и число горячих приверженцев сравнительного метода в истории, к числу которых относятся и авторы приведенных выше цитат. Истина заключается в другом: во всем мире историки-компаративисты относительно немногочисленны. По справедливому замечанию Юргена Кокки и Хайнца-Герхарда Хаупта, несмотря на подъем сравнительной истории в последние десятилетия, успехи ее носят ограниченный характер, и компаративистика остается уделом меньшинства историков<sup>8</sup>.

В чем же дело? Почему сравнение никак не может занять в исторических исследованиях то место, которое оно занимает в социологии, где его полезность уже давно не требует доказательств? Пытаясь найти объяснение нелюбви историков к сравнениям, Питер Болдуин указывает на присущий нашей профессии историзм в духе Ранке, на склонность подчеркивать уникальность прошлого и недоверие к универсальным принципам и генерализациям<sup>9</sup>. Юрген Кокка, задаваясь тем же вопросом, находит три причины методологического характера, три фактора, осложняющих применение сравнительного подхода в истории, поскольку они входят в противоречие «с классической традицией истории как дисциплины». Во-первых, чем больше объектов подвергается сравнению, тем сильнее зависимость исследователя от вторичной литературы, тем дальше он от оригинальных источников; между тем близость к источникам и владение языками, на которых они написаны, составляют важнейший принцип современной исторической науки. Во-вторых, сравнение предполагает выделение и изоляцию друг от друга сравниваемых объектов, но тем самым нарушается непрерывность изучаемого процесса и взаимосвязь явлений, прерывается нить повествования, а ведь всё это классические элементы истории как дисциплины. В-третьих, говорит Кокка, поскольку сравнение объектов во всей их целостности невозможно, необходим выбор точки зрения, проблемы, вопроса, по отношению к которым

<sup>8</sup> Kocka J., Haupt H.-G. Comparison and Beyond: Traditions, Scope, and Perspectives of Comparative History // Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives / Ed. by Heinz-Gerhard Haupt and Jürgen Kocka. Berghahn Books: New York; Oxford, 2009. P. 1.

<sup>9</sup> Baldwin P. Comparing and Generalizing: Why All History Is Comparative, Yet No History Is Sociology // Comparison and History. P. 1, 3.

и происходит сравнение; но это означает деконтекстуализацию, и тем самым страдает еще один важный для истории принцип — внимание к контексту<sup>10</sup>.

Таким образом, разница в статусе, который имеет сравнительный метод, соответственно, в истории и социологии, объясняется базовыми установками обеих дисциплин, ставшими уже частью более чем вековой традиции. Как известно, Эмиль Дюркгейм, один из основоположников социологической науки, придавал большое значение сравнительному методу, считая его «единственно пригодным для социологии», поскольку только с его помощью можно решить ее главную задачу (аналогичную задачам естественных наук в их областях знания) — установление причинной связи социальных явлений<sup>11</sup>. Этот его «завет» вместе с идеалом строгой науки по образцу и подобию естественно-научных дисциплин был воспринят последующими поколениями социологов. Между тем в вышедших одновременно с «Методом социологии» (1895) Дюркгейма многочисленных пособиях по изучению истории (самым известным из них, пожалуй, является «Введение в изучение истории» Ланглуа и Сеньбоса) едва ли не единственным методом, необходимым каждому историку, объявлялось умение читать и интерпретировать тексты — пресловутая критика источников. Сравнительный метод, как правило, в этих учебниках даже не упоминался...

Итак, когда в середине XX в. американские социологи обратились к изучению истории, они прибегли к методу, который уже был прочно укоренен в их профессии, а именно к сравнению. Более того, как подчеркивает В. Боннелл, сравнительный метод является важной частью всего историко-социологического проекта, так как он необходим для построения теорий, что всегда являлось одной из главных целей социологов<sup>12</sup>. Посмотрим теперь, как они применяют этот метод к историческому материалу.

Одна из самых известных, но и самых спорных работ по сравнительно-исторической социологии — книга Теды Скочпол «Государства и социальные революции» (1979), в которой на основе сравнительного анализа Великой французской революции, Российской революции 1917 г. и революции в Китае 1911 г. сделана попытка установить причины успешных социальных революций при старом режиме в целом<sup>13</sup>. Эту задачу автор решает индуктивным путем, последовательно

<sup>10</sup> *Kocka J.* Comparison and Beyond // *Theory and History*. Vol. 42 (February 2003). P. 41–42.

<sup>11</sup> *Дюркгейм Э.* Метод социологии // *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. Метод социологии / Изд. подг. А.Б. Гофман. М., 1991. С. 511.

<sup>12</sup> *Bonnell V.* The Uses of Theory, Concepts and Comparison... P. 160.

<sup>13</sup> *Skocpol T.* States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge University Press, 1979.

применяя описанные Дж. С. Миллем в его «Системе логики» приемы сравнения: «метод согласия» (method of agreement) и «метод различия» (method of difference). Подчеркивая общие черты во французской, российской и китайской революциях (обычно относимых к разным типам), Скочпол подкрепляет свою аргументацию с помощью контрпримеров из истории стран, где социальные революции в сходных обстоятельствах или не случились (как в Японии эпохи Мейдзи), или потерпели неудачу (как в Германии в 1848 г.). В итоге исследовательница приходит к выводу, что «достаточными причинами» революционных ситуаций во Франции 1789 г., России 1917 г. и Китае 1911 г. были: 1) административный и военный коллапс государственных организаций, оказавшихся под сильным давлением из-за рубежа со стороны более развитых стран; 2) существовавшие там аграрные социально-политические структуры способствовали широкому распространению крестьянских восстаний против землевладельцев<sup>14</sup>.

На взгляд историка, многое в книге Скочпол кажется странным, а то и неприемлемым. Начать с того, что из трех языков изучаемых ею стран она владеет только французским; оригинальные источники не цитируются вообще, а материал заимствуется из вторых рук — из монографий, написанных, главным образом, на родном для автора английском. Главы, посвященные истории России, поражают схематизмом, обилием штампов, а дифирамбы победившим в революции большевикам сильно напоминают страницы советских учебников истории. Нужно обладать поистине безграничной верой в силу индукции и «канонов Милля», чтобы надеяться с их помощью прийти к убедительным выводам на столь сомнительной эмпирической «основе»!

Но и среди коллег-социологов книга Скочпол подверглась серьезной критике. В частности, было замечено, что, используя правила индукции, сформулированные Миллем, Скочпол проигнорировала ясные указания самого Милля о том, что, разработанные для естественных наук, эти правила неприменимы для изучения социальных явлений<sup>15</sup>. Действительно, Милль подчеркивал, что «правильная индукция» возможна только в условиях контролируемого эксперимента, но в общественной жизни такой эксперимент провести нельзя, и, поскольку у любого социального явления может быть

<sup>14</sup> *Ibid.* P. 154.

<sup>15</sup> *Goldthorpe J.H.* Current Issues in Comparative Macrosociology: A Debate on Methodological Issues // *Comparative Methods in the Social Sciences* / Ed. by Alan Sica. London: Sage Publications, 2006. Vol. I. P. 395 (Дж. Голдторп суммирует здесь критические замечания в адрес Скочпол, ранее высказанные Элизабет Николс и Стэнли Либерзоном).

множество причин, никакое сравнение не может установить его истинную причину<sup>16</sup>. Майкл Буравой замечает в этой связи, что Скочпол смогла развить влиятельную теорию революций благодаря своему «макросоциологическому воображению, которое в решающие моменты пересилило методы Милля»<sup>17</sup>. Иными словами, вопреки заявлениям Скочпол, ее теория вовсе не является результатом индукции и не вытекает прямо из приводимых исследовательницей фактов.

Тот же критик справедливо указывает на то, что, стараясь следовать миллевскому методу, Скочпол полностью исключает возможность влияния предыдущих революций на последующие (ведь «метод согласия» предполагает сравнение независимых друг от друга явлений); между тем хорошо известно, что большевики пытались подражать якобинцам, а китайские революционеры — большевикам<sup>18</sup>. И, наконец, нельзя не согласиться с М. Буравым в том, что история словно застыла в книге Скочпол («freezing history»): разделенные столетиями революции *должны*, по ее логике, относиться к одной категории и иметь одни и те же причины<sup>19</sup>. Действительно, события 1789, 1911, 1917 гг., вырванные из исторического контекста, выглядят в изображении Скочпол как абстрактные логические переменные.

Разумеется, было бы неверно судить по одной работе обо всей исторической социологии в целом, и Виктория Боннелл справедливо предостерегает против недооценки разнообразия, существующего внутри этого научного направления<sup>20</sup>. В частности, далеко не все исторические социологи довольствуются, подобно Скочпол, сведениями, почерпнутыми из вторых рук: Боннелл приводит целый ряд работ, в том числе Ч. Тилли и свои собственные, в которых впервые собран и проанализирован большой эмпирический материал<sup>21</sup>. Встречаются среди них и настоящие полиглоты, вроде Баррингтона Мура, который в своей книге о социальных корнях демократии и диктатуры использовал литературу, помимо родного языка, также на французском, немецком и русском. Различаются и приемы сравнения: использование индукции и канонов Милля отнюдь не стало общим правилом в исторической социологии

<sup>16</sup> См. *Милль Дж. Ст.* Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования / Пер. с англ. под ред. В.Н. Ивановского. Изд. 5-е. М., 2011. С. 356, 653–658.

<sup>17</sup> *Burawoy M.* Two Methods in Search of Science: Skocpol versus Trotsky // *Theory and Society*. 1989. Vol. 18. No. 6 (November). P. 763.

<sup>18</sup> *Ibid.* P. 769–770.

<sup>19</sup> *Ibid.* P. 769.

<sup>20</sup> *Bonnell V.* The Uses of Theory... P. 158.

<sup>21</sup> *Ibid.* P. 172 and footnote 53.

И всё же некоторые характерные черты, присущие работе Скочпол, свойственны всем или большинству исторических социологов. Все они стремятся обогатить социальную теорию на основе исторических сравнений, оспорить прежние концептуальные модели и предложить новые. Каузальный анализ тоже распространен в их среде значительно шире, чем у историков. Наконец, дефицит исторического контекста и «духа времени» можно обнаружить и у некоторых коллег Скочпол, принадлежащих к той же «второй волне» исторической социологии. В частности, эта характеристика приложима к одной из последних книг Чарльза Тилли — «Принуждение, капитал и европейские государства. 990—1992 гг.», в которой изучается воздействие двух факторов — военного насилия и экономических ресурсов (капитала) — на формирование государств в Европе<sup>22</sup>. При этом все остальные факторы и многообразные взаимосвязи исключены из рассмотрения ради удобства анализа; исторического контекста почти нет, и повествование скользит по векам и эпохам, словно стрелка прибора в физическом эксперименте. Время в книге Тилли — тоже физическая, а не историческая величина, и изменяется равномерно, так что каждое следующее столетие от предыдущего отличается только количественно: в частности, неуклонно уменьшается количество суверенных государств или иных автономных политических образований.

Специфика подхода социологов к сравнительному изучению истории ярко отразилась в классификациях типов сравнения, применяемых в исторической социологии; целый ряд таких классификаций появился в 1980-х гг. Так, в статье Теды Скочпол и Маргарет Сомерс все сравнительно-исторические исследования разделены на три основные категории: 1) параллельная демонстрация теории; 2) контрастно-ориентированные сравнительные штудии; 3) макроаналитические, или макрокаузальные, подходы. Примером первого типа авторы считают книгу Ш. Айзенштадта «Политические системы империй» (1963), ко второму типу они, прежде всего, относят работы Райнхарда Бендикса (в том числе книгу «Короли или народ: власть и мандат на управление», 1978), а к третьему — классический труд Б. Мура «Социальные корни демократии и диктатуры: Лорд и крестьянин в формировании современного мира» (1966), а также монографию самой Скочпол «Государства и социальные революции». Встречаются, конечно, и переходные, или смешанные, типы: например книга Перри Андерсона «Lineages of the Absolutist State» (в рус. пер.: «Родословная абсолютистского государства»<sup>23</sup>), по мнению Скочпол и Сомерс, сочета-

<sup>22</sup> *Тилли Ч.* Принуждение, капитал и европейские государства. 990 — 1992 гг. / Пер. с англ. Т.Б. Менской. М., 2009.

<sup>23</sup> *Андерсон П.* Родословная абсолютистского государства / Пер. с англ. И. Кириллы. М., 2010.

ет в себе приемы «параллельной демонстрации теории» (в данном случае — марксистской) и выделения контрастов между разными вариантами одной и той же модели развития<sup>24</sup>.

Приведенная классификация ярко свидетельствует о научных интересах и стиле мышления ее авторов: приоритете теории в их исследованиях, увлечении каузальным анализом и любви к четким формально-логическим схемам.

В своей книге «Большие структуры, крупные процессы, гигантские сравнения» (1984) Чарльз Тилли предложил иную типологию сравнений в истории, выделив среди них (1) индивидуализирующие (пример — Р. Бендикс), (2) универсализирующие (Т. Скочпол), (3) нацеленные на поиск вариантов (Б. Мур) и (4) охватывающие (encompassing) — как в работах Стейна Роккана — сравнения<sup>25</sup>. В этой классификации гораздо четче представлены логические функции сравнения: описанные типы выражают разные степени детализации/обобщения и разные исследовательские стратегии — от выделения индивидуальных особенностей до построения универсальных моделей.

Наконец, в книге Чарльза Рэгина (1987) логические возможности сравнения сведены к самому простому набору из двух вариантов: сравнительные исследования могут быть нацелены (1) на объяснение отдельных случаев (case-oriented) или (2) анализ некоей переменной (variable-oriented), т.е. проверку гипотез. Первый подход Рэгин считает наиболее распространенным в сравнительной исторической социологии и объединяет под этой рубрикой и исследование Б. Мура о социальных корнях демократии и диктатуры и книгу Скочпол о социальных революциях. Примеров применения второго подхода в «чистом» виде он не приводит, но отмечает случаи совмещения обеих исследовательских стратегий (в частности, в некоторых работах Ч. Тилли)<sup>26</sup>.

Теперь обратимся к приемам сравнительного анализа, которые используют в своей работе историки. В качестве примера я выбрал две довольно известные книги конца 1980-х гг. — «Неравный труд: американское рабство и русское крепостничество» Питера Колчина (1987)<sup>27</sup>

и «Политика социальной солидарности: классовые основы европейского государства всеобщего благосостояния, 1875–1975» Питера Болдуина (1990)<sup>28</sup>.

Основанная на большом и разнообразном эмпирическом материале (хотя и без привлечения новых архивных документов) книга Колчина впервые объединяет в одном исследовании две важные темы, которые ранее изучались отдельно друг от друга и «обросли» солидной историографией, соответственно, в США и России. Замысел ученого состоял как раз в том, чтобы сопоставить две системы несвободного труда — американское рабство и русское крепостничество — и тем самым представить каждую из них в необычном свете, поколебать привычные представления и выдвинуть новые гипотезы. Такой прием соответствует контрастному методу сравнения по терминологии Скочпол и Сомерс. Автор противопоставляет патернализм американских плантаторов по отношению к рабам, рядом с которыми они постоянно жили, абсентеизму русских помещиков, находившихся на службе вдали от своих поместий, вверенных попечению управляющих, и выводит отсюда различия в характере освобождения рабов и крестьян в 1860-х гг. (насильственное в США и сравнительно мирное в России). Сплоченность русской крестьянской общины контрастирует с разобщенностью рабов, что, по мнению Колчина, объясняет частоту крестьянских волнений и бунтов в России и редкость открытых выступлений американских рабов. Но, наряду с различиями, важны и черты сходства между этими двумя институтами личной зависимости: по наблюдениям автора, русское крепостничество к концу XVIII в. приближалось по своей сути к рабству, а отношение дворян к крепостным крестьянам напоминало уже расовую рознь.

Книга Колчина получила широкую известность, хотя и вызвала неоднозначные оценки. Интересно, что отношение к ней историков-русистов было весьма критическим (особенно строг был «приговор» М. Конфино, отрицавшего саму возможность проведения аналогии между рабством и крепостничеством<sup>29</sup>), а американистов — более благожелательным<sup>30</sup>. В роли своего рода арбитра выступил Питер Болдуин (специалист по истории Западной Европы), который, при-

<sup>24</sup> *Skocpol T., Somers M.* The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry // Comparative Studies in Society and History. 1980. Vol. 22. No. 2 (April). P. 174–197.

<sup>25</sup> *Tilly C.* Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russell Sage Foundation, 1984.

<sup>26</sup> *Ragin C.* The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley; Los Angeles; London: Univ. of California Press, 1987.

<sup>27</sup> *Kolchin P.* Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge, Mass. & London: The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1987.

<sup>28</sup> *Baldwin P.* The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State, 1875–1975. Cambridge Univ. Press, 1990.

<sup>29</sup> *Confino M.* Servage russe, esclavage américain (note critique) // Annales ESC. 1990. Vol. 45. No. 5. P. 1119–1141.

<sup>30</sup> См., например: *Fredrickson G.M.* The Comparative Imagination. Чап. 4: Planters, Junkers, and *Pomeschiki*. P. 66–73. Правда, Фредриксон замечает, что книга Колчина не изменила его представлений о плантаторах американского Юга, но зато предложенный автором новый взгляд на русское крепостничество кажется ему действительно важным достижением (p. 73).

зная, что у экспертов могут быть те или иные претензии к работе Колчина, высоко оценил компаративный аспект его книги и назвал ее «одним из лучших примеров сравнительной истории»<sup>31</sup>.

Сам Болдуин является известным компаративистом; он автор нескольких монографий<sup>32</sup>, но здесь я остановлюсь только на его ранней книге — «Политика социальной солидарности», в которой выясняется социально-политический контекст происхождения «государства всеобщего благосостояния» (welfare state) в странах Западной Европы — от первых опытов солидаристской политики в Дании и Швеции конца XIX в. до реформ социального обеспечения в европейских странах 70-х гг. XX в. Работа построена на огромном массиве источников, в том числе архивных: автор обследовал 34 архива и собрания документов государственных органов, политических партий и профсоюзов в пяти странах (Дании, Швеции, Франции, Германии, Великобритании). По замыслу книга Болдуина заметно отличается от исследования Колчина, о котором шла речь выше. Если Колчин сравнивал между собой два общества, крепостническое и рабовладельческое, которые в описываемое время (до 1860-х гг.) не имели регулярных контактов и не оказывали влияния друг на друга, то в центре внимания Болдуина находился общеевропейский феномен «государства всеобщего благосостояния» и особенности социальной политики в пяти изучаемых им странах, а, следовательно, приходилось учитывать не только внутреннее развитие каждой из этих стран, но и зарубежные влияния и заимствования. В первую очередь исследователя интересовала социальная база политики коллективной солидарности: в интересах каких социальных слоев и по инициативе каких политических партий принимались законы о социальном страховании, пенсиях по старости и т.д.? В итоге ученый пришел к выводу о том, что распространенные в науке представления о связи подобной политики с рабочим движением и рабочим представительством не имеют под собой реальной основы; на самом деле солидаристская социальная политика и в скандинавских странах, и в Германии, и во Франции поддерживалась не только рабочими, но и центристскими и даже правыми партиями.

Абстрагируясь сейчас от достоинств и недостатков упомянутых выше сравнительно-исторических трудов, я хотел бы заметить, что по своей логической структуре и компаративным стратегиям книги Колчина и Болдуина ничем принципиально не отличаются от работ по исторической социологии, о которых шла речь ранее. Монография

<sup>31</sup> Baldwin P. Comparing and Generalizing... P. 16 and note 46.

<sup>32</sup> См.: Baldwin P. Contagion and the State in Europe, 1830–1930. Cambridge Univ. Press, 1999; Idem. Disease and Democracy: The Industrialized World Faces AIDS. Berkeley: Univ. of California Press, 2005; Idem. The Narcissism of Minor Differences: How America and Europe are Alike. Oxford University Press, 2009.

Колчина с примененным в ней контрастным методом сравнения полностью вписывается в ту категорию компаративных исследований, которую Ч. Рэгин определил как сфокусированные на отдельных случаях (case-oriented), а труд Болдуина, в котором сравнение опыта социальной политики пяти стран имеет целью проверить существующую в науке гипотезу о происхождении «государства всеобщего благосостояния», содержит в себе черты другого типа исследования, названного Рэгином «variable-oriented», т.е. ориентированным на анализ переменной (изменяющегося во времени фактора и т.д.).

Отличия же работ историков-компаративистов от сравнительных исследований исторических социологов связаны с традициями нашей дисциплины, в рамках которой Колчин и Болдуин работают. Это проявляется не только в богатстве эмпирического материала и внимании к историческому контексту, но и в нелюбви обоих историков к универсальным теориям и чересчур широким обобщениям. (П. Болдуин прямо пишет в статье методологического характера, что «сравнение не обязательно означает генерализацию» и что «в руках историка» оно никогда не должно ею становиться<sup>33</sup>).

Таким образом, можно высказать гипотезу о том, что различия между исторической и социологической компаративистикой коренятся вовсе не в самом сравнительном методе, который остается общенаучным<sup>34</sup>, а в постановке исследовательских задач и определении приоритетов, которые каждая дисциплина формулирует по-своему, в соответствии со сложившимися традициями и меняющейся научной «модой».

Исследовательские приоритеты историков, при общности сравнительного метода, объединяющего их с представителями других социальных наук, наглядно проявились в программных статьях основоположников и современных теоретиков исторической компаративистики. Еще Марк Блок в давно ставшей классической работе «К сравнительному изучению европейских обществ» (1928), говоря о полезных функциях сравнительного метода в истории, на первое место поставил эвристическую функцию, т.е. обнаружение ранее не известных явлений и постановку новых проблем. За эвристикой сле-

<sup>33</sup> Baldwin P. Comparing and Generalizing... P. 11.

<sup>34</sup> Этот тезис в сжатом виде и без развернутого обоснования уже высказывался в научной литературе. Так, Х.-Г. Хаупт и Ю. Кокка утверждают, что различия между сравнительным методом в истории и в социальных науках не носят фундаментального характера, а являются, скорее, различиями в степени, однако это важное предположение ученые никак не аргументируют, см.: Haupt H.-G., Kocka J. Comparative History: Methods, Aims, Problems // Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective / Ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. New York; London: Routledge, 2004. P. 23.

довали другие блестящие возможности, которые предоставляет историку сравнение: выявление заимствований (в наши дни их принято называть «трансферами»), устранение псевдопричин и установление истинного масштаба явления, выяснение особенностей изучаемого института и т.д.<sup>35</sup>. С тех пор перечень методологических функций сравнения в истории неоднократно пополнялся и модифицировался, но эвристическая функция неизменно занимает в нем первое место. С нее, например, начинают подобный список Ю. Кокка и Х.-Г. Хаупт во введении к изданному под их редакцией сборнику «Сравнительная и транснациональная история» (2009). Далее они указывают на описательную функцию — профилирование отдельных кейсов, выявление их специфики по сравнению с другими подобными явлениями. Затем следует аналитическая функция: критика ложных объяснений, проверка гипотез. Замыкает список парадигматическая функция, под которой немецкие историки понимают *остранение*, показ привычного с неожиданной стороны, в новом свете<sup>36</sup>.

Заметим, что в ряде пунктов эта исследовательская программа исторической компаративистики пересекается с подобными же программами исторической социологии: такие задачи, как профилирование (контрастирование) кейсов и проверку гипотез, считают приоритетными для сравнительных исследований представители обеих дисциплин. Но вот столь важная в глазах историков эвристическая функция, т.е. обнаружение в прошлом ранее не известных явлений и в этой связи — постановка новых вопросов, явно не является приоритетной для социологов. И наоборот: задача развития теории, столь актуальная для социологов, остается чуждой большинству историков, включая и компаративистов.

В заключение я хотел бы вернуться к вопросу, поставленному в начале статьи: может ли сравнительный метод, единство которого обнаруживается и в истории, и в социологии, стать «мостом» между этими родственными дисциплинами?

Крупнейшими социологами неоднократно делались заявления об отсутствии фундаментальных различий между историей и социологией, и звучали призывы к их синтезу<sup>37</sup>. Но с той же регулярностью

<sup>35</sup> См.: Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей: Человек в истории. 2001. М., 2001. С. 65–93.

<sup>36</sup> Кокка J., Хаупт H.-G. Comparison and Beyond... P. 3–4.

<sup>37</sup> Так, Энтони Гидденс утверждал в 1979 г., что «просто не существует логических и даже методологических различий между социальными науками и историей — при правильном их понимании» (цит. по: Abrams P. History, Sociology, Historical Sociology // Past and Present. 1980. No. 87 (May). P. 14. Ф. Абрамс, комментируя это высказывание Гидденса, назвал его чересчур оптимистичным, полагая, что истории и социологии предстоит пройти еще долгий путь для выработки общего языка, чтобы выразить «видимую без

раздавались отрезвляющие голоса, напоминавшие о том, что пока никакого сближения истории и социологии не происходит<sup>38</sup>.

Здесь, однако, необходимо сделать одно существенное уточнение: если речь идет о слиянии двух дисциплин и исчезновении границы между ними, то этого, скорее всего, в обозримом будущем не произойдет. Но ведь метафора «моста» и не предполагает соединения двух берегов и исчезновения водной преграды между ними. Мост — это средство коммуникации, не более того! Так вот с этой точки зрения компаративистика, бесспорно, является сферой пересечения интересов истории и социологии, местом их «встречи».

Есть и знаковые фигуры, важные для обеих дисциплин, которые, можно сказать, уже прошли по этому «мосту». В первую очередь, конечно, это Марк Блок. Его влияние на развитие исторической науки XX в. трудно переоценить. Но и для исторических социологов он сумел стать «своим». Так, Уильям Сьюэлл дал развернутый комментарий к статье М. Блока «К сравнительной истории европейских обществ» и, отталкиваясь от этого классического текста, предложил свое понимание логики сравнительно-исторического исследования<sup>39</sup>. Обстоятельная статья о творчестве Блока и применяемых им приемах сравнительного анализа появилась в составленном Тедой Скочпол программном сборнике о перспективе и методе исторической социологии<sup>40</sup>. Там отмечается, в частности, влияние Блока на труды Б. Мура, И. Валлерстайна, Ч. Тилли и других исторических социологов. Еще одной такой пограничной фигурой является известный историк-марксист Перри Андерсон, чья книга о происхождении абсолютизма давно уже стала классикой исторической социологии (критический обзор его работ также вошел в сборник под редакцией Т. Скочпол)<sup>41</sup>.

труда общую для них логику объяснения» (ibid.). Тем не менее, в другом месте своей статьи Абрамс говорит, что история и социология представляют собой, по сути, «один и тот же проект» (the same enterprise) (ibid. P. 5). О перспективах сближения истории и социологии см. также: Stedman Jones G. From Historical Sociology to Theoretical History // The British Journal of Sociology. 1976. Vol. 27. No. 3 (September). P. 295–305; Skocpol T. Social History and Historical Sociology: Contrasts and Complementarities // Social Science History. 1987. Vol. 11. No. 1 (Spring). P. 17–30.

<sup>38</sup> См.: Bonnell V. The Uses of Theory... P. 158–160; Abbott A. History and Sociology: The Lost Synthesis // Social Science History. 1991. Vol. 15. No. 2 (Summer). P. 201–238.

<sup>39</sup> Sewell W.H. Marc Bloch and the Logic of Comparative History // History and Theory. 1967. Vol. 6. No. 2. P. 208–218.

<sup>40</sup> Chirot D. The Social and Historical Landscape of Marc Bloch // Vision and Method in Historical Sociology / Ed. by Theda Skocpol. Cambridge Univ. Press, 1984. P. 22–46.

<sup>41</sup> Fulbrook M., Skocpol T. Destined Pathways: The Historical Sociology of Perry Anderson // Vision and Method... P. 170–210.

С другой стороны, историки-компаративисты хорошо знают труды корифеев исторической социологии и некоторые из них (например, книгу Б. Мура об истоках демократии и диктатуры) оценивают очень высоко<sup>42</sup>. Более того, как напоминает Х.-Г. Хаупт, контакт с социальными науками сыграл решающую роль в возникновении и развитии исторической компаративистики: Марк Блок и Отто Хинце, два пионера сравнительно-исторических исследований в 20–30-х гг. XX в. получили теоретические импульсы, соответственно, от Эмиля Дюркгейма и Макса Вебера. А в наши дни компаративистика остается на периферии тех национальных историографий, где историки избегают всякой теории и дистанцируются от социальных наук<sup>43</sup>.

Итак, компаративный «мостик» между историей и социологией уже существует, но пока он довольно узкий, и движение по нему не слишком оживленное. В последние десятилетия, однако, в обеих дисциплинах наметились обнадеживающие перемены. С одной стороны, на фоне глобализации историки стали больше сравнивать и смелее выходить за рамки национальной истории. С другой стороны, в социологии с 1990-х гг. стала заметна тенденция к историзации: возникла «третья волна» исторической социологии, представители которой склонны придавать гораздо большее значение, чем их предшественники, историческому времени, анализу событий и нарративу<sup>44</sup>. Впрочем, пока теоретические работы нового поколения исторических социологов заметно преобладают над их конкретно-историческими исследованиями. Возможно, по этой причине историки, как справедливо замечает И.М. Савельева, до сих пор не обратили внимания на изменения, происходящие в родственной дисциплине<sup>45</sup>. К тому же, в отличие от «второй волны» исторической социологии с ее отчетливо

<sup>42</sup> См. высокую оценку книги Б. Мура в статье Ю. Кокки и Х.-Г. Хаупта: *Kocka J., Haupt H.-G.* Comparison and Beyond: Traditions, Scope, and Perspectives of Comparative History. P. 9, 10.

<sup>43</sup> *Haupt H.-G.* Comparative History // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 4. Amsterdam: Elsevier, 2001. P. 2398, 2399.

<sup>44</sup> О «третьей волне» в исторической социологии см.: *Griffin L.* Temporality, Events, and Explanation in Historical Sociology: An Introduction // Sociological Methods & Research. 1992. Vol. 20. No. 4 (May). P. 403–427; *Adams J., Clemens E.S. and Orloff A.S.* Introduction: Social Theory, Modernity, and the Three Waves of Historical Sociology // Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology / Ed. by Julia Adams, Elisabeth S. Clemens, and Ann Shola Orloff. Durham, N.C.: Duke Univ. Press, 2005. P. 1–72; *Савельева И.М.* Историческая социология и социальная история в XXI веке: мосты и переправы // «Стены и мосты»: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: Материалы междунар. науч. конф., Москва, РГГУ, 13–14 июня 2012 г. / Отв. ред. Г.Г. Ершова, Е.А. Долгова. М., 2012. С. 118–126.

<sup>45</sup> *Савельева И.М.* Историческая социология и социальная история... С. 124.

выраженным компаративным уклоном, представители «третьей волны», похоже, не делают особой ставки на применение сравнительного метода, а если речь о сравнении всё же заходит (как, например, у Джеффри Хайду), то акцент переносится с транснационального или регионального сравнения на лонгитюдное, т.е. сравнение разных периодов времени<sup>46</sup>.

Словом, пока новый виток историзации социологии не приведет к показателю, станут ли перемены в обеих дисциплинах стимулом к укреплению и расширению «моста» между ними, или он так и останется узкой и шаткой переправой, которую многие историки и социологи, похоже, даже не замечают.

<sup>46</sup> *Haydu J.* Making Use of the Past: Time Periods as Cases to Compare and as Sequences of Problem Solving // American Journal of Sociology. 1998. Vol. 104. No. 2 (September). P. 339–371.

## МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

**Б.Н. Миронов**

Санкт-Петербургский институт истории РАН  
г. Санкт-Петербург

***Аннотация.** В статье в ходе мысленного эксперимента верифицируются важнейшие гипотезы, существующие в настоящее время для объяснения предпосылок и причин Русской революции 1917 г., и идентифицируются те, которые адекватны фактам.*

***Ключевые слова:** Русская революция 1917 г., предпосылки и причины революции, объяснительные гипотезы, верификация гипотез, мысленный эксперимент.*

подавляющее большинство историков рассматривают теорию и вытекающие из нее гипотезы «как злостное посягательство на автономность истории как научной дисциплины», как способ подгонки исторических фактов под заранее заданную схему. И это соответствует пафосу историографии — установить, «как собственно все происходило». Незначительное меньшинство, как правило, использующее междисциплинарный подход, придерживается какой-нибудь теоретической ориентации или хотя бы признает значение теории или гипотезы как стимула или отправной точки научного поиска. Исследовательская стратегия у таких историков часто — аналитическо-экспериментальная. Ей следую и я.

В соответствии с аналитическо-экспериментальной стратегией я рассматриваю различные теории или концепции — экономического, политического, психологического, социологического, географического и т.п. характера, постулирующие свое специфическое объяснение революции, как альтернативные *гипотезы*, которые затем, в ходе эксперимента, верифицирую; одновременно выявляю казуальные закономерности, если таковые имеются. Но мой *эксперимент мысленный*.

Как в классических мысленных экспериментах в физике или математике, он разыгрывается в моем воображении, но подобно реальному эксперименту я проверяю гипотезу на конкретных исторических фактах. Это очевидный пример конвергенции методологических подходов.

Выдвижение исторической гипотезы является конкретным применением теории. Во многих дисциплинах теория — общие положения, иногда законы, объясняющие те или иные аспекты действительности. Для историков теория обычно означает интерпретационную схему, придающую исследованию импульс и влияющую на его результат.

Русская революция 1917 г. как любое сложное общественное явление своим происхождением обязана действию совокупности факторов (психологических, политических, экономических, социальных, демографических, метеорологических и других) и совпадению множества случайностей. Поэтому для ее понимания и объяснения требуется междисциплинарный подход. В статье я попытаюсь дать междисциплинарный ответ на вопрос о предпосылках и причинах Русской революции 1917 г.

Но прежде одна оговорка. В настоящее время все больше российских и зарубежных исследователей склоняются к мысли, что февральские и октябрьские события 1917 г. являются двумя этапами одной революции, начало которой целесообразно передвинуть к 1914 г., моменту вступления России в Первую мировую войну, а завершение — к 1920 г., окончанию Гражданской войны. Я разделяю эту точку зрения. Говоря о предпосылках и причинах революции, буду иметь в виду не февральское или октябрьское политическое восстание, а Революцию 1917 г.

### Метеорологическая гипотеза

Согласно метеорологической гипотезе, тяжелые погодные условия явились фактором революции. Чрезвычайно холодная зима создавала повышенную потребность в питании и отоплении, а обилие снега срывало поставки хлеба, дров и угля. Данные для ее проверки собраны в табл. 1 и 2.

Зима, декабрь 1916 — февраль 1917 г., действительно выдалась суровой. Средняя температура трех зимних месяцев в Петрограде опустилась на 1,8 градуса ниже нормы, в Москве — на 2,1, а в феврале — соответственно на 6,1 и 7,1 градуса. В феврале в Петрограде температура падала до 29, в Москве — до 30 градусов. Холодным выше нормы был и март.



Таблица 1

**Температура в Петрограде и Москве в 1917 г.  
(градусов по Цельсию)**

Месяц	Год	Петроград				Москва			
		Средняя	Макс.	Мин.	Норма	Средняя	Макс.	Мин.	Норма
Декабрь	1916	-4,0	4,0	-17,0	-6,4	-7,3	1,0	-17,0	-8,1
Январь	1917	-10,8	-2,0	-25,0	-9,3	-11,1	-27,0	2,0	-11
Февраль	1917	-14,5	2,0	-29,0	-8,4	-16,7	-30,0	2	-9,6
В среднем		-9,8	1,3	-23,7	-8,0	-11,7	-4,3	-18,7	-9,6
Март	1917	-11,1	2,0	-27,0	-4,7	-9,2	4,0	-24,0	-4,7
Октябрь	1917	7,2	16,0	-2,0	4,5	6,8	20,0	-4,0	4,4
Ноябрь	1917	0,8	7,0	-10,0	-1,5	0,3	10,0	-15,0	-2,3

Источник: Статистический сборник за 1913–1917 гг. Вып. 1. М., 1921. С. 244–245, 250–253.

Таблица 2

**Месячная сумма осадков в Петрограде и Москве в 1917 г. (мм)**

Месяц	Год	Петроград		Москва	
		Средняя	Норма	Средняя	Норма
Декабрь	1916	27,0	30,0	32,0	40,0
Январь	1917	27,0	25,0	16,0	30,0
Февраль	1917	28,0	20,0	14,0	20,0
В среднем		27,3	25,0	20,7	30,0
Март	1917	44,0	25,0	21,0	30,0
Октябрь	1917	60,0	45,0	35,0	35,0
Ноябрь	1917	36,0	35,0	49,0	40,0

Источник: Статистический сборник за 1913–1917 гг. Вып. 1. С. 260–261, 267, 269.

Одновременно с этим в столице и прилегающей к ней территории в феврале выпало снега на 40% выше нормы, в марте — на 76%. По этой причине происходили срывы поставок хлеба, дров и угля. В то же время непосредственно в февральские дни, с 22 по 26 октября, температура стояла выше 0, а 25 февраля — +2,4 градуса и не наблюдалось никаких осадков, и погода, как выразился один современник, «располагала к прогулкам на свежем воздухе».

Вероятно, плохие погодные условия способствовали росту недовольства населения правительством. Однако температура зимой 1916–1917 гг. не достигала экстремальной оценки ни в Петрограде (–23,7), ни в Москве (–18,7). То же и с осадками.

**Демографическая  
гипотеза**

Классическая мальтузианская теория, рассматривающая рост населения как непосредственную причину социально-экономических кризисов, не нашла эмпирического подтверждения не только в России, но и в мировом масштабе. Поэтому ей на смену пришла структурно-демографическая теория, которая модифицирует исходную посылку традиционного мальтузианства: увеличение числа жителей, не обеспеченных продовольствием, вызывает кризис государства не прямо, а косвенно, посредством воздействия на экономические, политические и социальные институты. Новизна такого подхода состоит в двух моментах: во-первых, постулируется существование лага между кризисом внизу — потреблении народных масс, и кризисом наверху — в элите и государстве; во-вторых, конструируется механизм опосредованного воздействия экзистенциального кризиса на социальные институты (через дефицит государственных финансов, перепроизводство элиты и внутриэлитную конкуренцию, пауперизацию и недовольство крестьянства, возрастание доли молодежи, идеологические конфликты и т. п.). Сущность же концепции осталась прежней, мальтузианской — число жителей растет быстрее ресурсов. С точки зрения сторонников данной концепции, причины Русской революции 1917 г. сводились к двум — к быстрому росту социального неравенства и перепроизводству элиты, аналогичному, по сути, общему перенаселению; собственно экзистенциальный кризис состоял в недостатке ресурсов для элиты, а не для народа. Недовольство элит в отличие от недовольства народа напрямую ведет к ослаблению и только в конечном итоге — к развалу государства, революциям и гражданским войнам<sup>1</sup>.

Проверим гипотезу о перепроизводстве российской элиты как главном факторе русских революций. Традиционно к элите дворян, чиновников, духовенство, купцов, почетных граждан (тех, кого марксисты называют правящим, или господствующим, классом), а к контр-элите — деклассированных представителей старой элиты, новую буржуазию и значительную часть интеллигенции. Данные об изменении численности привилегированных страт не подтверждают гипотезу о перепроизводстве элиты: доля любой привилегированной группы в населении страны в 1719–1913 гг. уменьшалась, естественно, сократилась и суммарная их доля — с 4,6 до 2,5%, в том числе в пореформенное время — с 3,2 до 2,5% (табл. 3).

<sup>1</sup> Турчин П. В. Историческая динамика: На пути к теоретической истории. М., 2007. С. 173–176, 257–259.

Таблица 3

**Численность привилегированных слоев в Европейской России в 1719–1913 гг.**

Социальные группы	Годы	1719	1795	1858	1897	1913
Дворянство потомственное	тыс. чел.	304	403	612	886	1 249
	%	2,0	1,1	1,0	1,0	1,0
Дворянство личное	тыс. чел.		317	322	487	687
	%		0,9	0,5	0,5	0,5
Духовенство	тыс. чел.	280	434	567	501	697
	%	1,9	1,2	1,0	0,5	0,5
Купечество	тыс. чел.	100	236	400	240	611* 0,5
	%	0,7	0,7	0,7	0,3	
Почетные граждане	тыс. чел.			21	308	
	%			0,0	0,3	
Итого	тыс. чел.	684	1 390	1 877	2 422	3 244
	%	4,6	3,9	3,2	2,6	2,5
Население	тыс. чел.	14 878	35 597	59 206	93 186	128 864

\* Общая численность купцов и почетных граждан на 1913 г. экстраполирована по среднегодовому темпу прироста за 1858–1897 гг.

Источник: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. 3-е изд. Т. 1. С. 115, 129, 130.

Для сравнения: в 1840-е гг. в Пруссии из 16,6 млн жителей дворян насчитывалось 0,75%, духовенства — 0,15%, в Австро-Венгрии из 37 млн дворяне составляли 2,0% и духовенство — 0,4%, во Франции из 38 млн дворян и чиновников насчитывалось 3,5%, духовенства — 0,15%, купцов и фабрикантов — 0,7%, в Великобритании из 27,8 млн на долю дворянства приходилось 0,9%, гражданских, военных и морских чинов — 3,6%, духовных, правоведов и врачей — 1,8%, ученых — 1,8%<sup>2</sup>. Как видим, только в Пруссии относительная численность элиты была ниже, чем в России, по причине неполного учета лиц с высшим образованием, крупной буржуазии и чиновников (доля последних в 1861 г. составляла около 1,5%<sup>3</sup>, и они лишь в незначительной степени принадлежали к дворянству). В середине XIX в. по валовому внутреннему продукту на человека Россия находилась примерно на уровне

<sup>2</sup> Брут А. Учебная статистика или этнографико-статистическое обозрение пяти первоклассных держав Европы (до 1848 г.) с краткою теорией статистики: В 6 кн. СПб., 1850–1853. Кн. III. С. 7; Кн. IV. С. 8; Кн. V. С. 14; Кн. VI. С. 12.

<sup>3</sup> Военно-статистический сборник на 1868 год / Н.Н. Обручев (ред.). Вып. 1. Великобритания, Франция, Австрия, Пруссия и прочие государства Германии. СПб., 1867. С. 224.

Австро-Венгрии, в 2 раза уступала Германии и Франции и в 3 раза Великобритании<sup>4</sup>. Таким образом, с точки зрения ресурсной базы у элиты, в середине XIX в. пять стран мало отличались друг от друга. Во второй половине XIX — начале XX в. численность элиты в западноевропейских странах увеличивалась быстрее, чем в России.

Если российскую элиту идентифицировать на основании образования, то и в этом случае не приходится говорить о ее перепроизводстве относительно ресурсов. Доля людей с высшим образованием среди лиц в возрасте от 20 лет и старше составила в конце 1850-х гг. приблизительно 0,12%, в 1897 г. — 0,23%, в 1939 г. — 1,21%. Интерполяция по средним темпам возрастания доли лиц с высшим образованием за 1897–1939 гг. позволяет оценить процент интеллектуальной элиты на 1917 г. как 0,51 (табл. 4).

Таблица 4

**Численность лиц с высшим и средним образованием в Европейской России в 1850-е, 1897, 1917 и 1939 гг. (среди лиц в возрасте 20 лет и старше)**

	Конец 1850-х гг.*	1897 г.		1917 г.**		1939 г.	
	%	тыс.	%	%	тыс.	%	
Население в возрасте 20 лет и старше	—	47943,9	—	—	59763,6	—	
Число лиц с высшим образованием	0,12	111,3	0,23	0,51	720,2	1,21	
Число лиц со средним образованием	0,78	663,3	1,38	3,49	8413,9	14,08	
Число лиц с высшим и средним образованием	0,90	774,6	1,62	4,00	9134,1	15,28	

\* Данные получены методом передвижки когорт по данным переписи 1897 г.

\*\* Данные получены методом интерполяции по данным переписи 1897 и 1939 гг.

Источники: Подсчитано по: Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. СПб., 1905. Т. 1. С. 198 (далее: Общий свод); Всесоюзная перепись населения 1939 г.: Основные итоги: Россия / В.Б. Жиромская (сост.). СПб., 1999. С. 30, 104.

Как видим, доля лиц с высшим образованием в пореформенное время возросла лишь на 0,39%. Если же к элите отнести лиц не только с высшим, но и с полным средним образованием, то в 1861–1917 гг. их доля в населении возросла с 0,9 до 4,0%. Однако национальный доход на душу населения за это время увеличился в 3,84 раза, в стране проходила индустриализация и культурная революция, вследствие чего спрос

<sup>4</sup> Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. Paris: OECD, 2001. P. 261, 264.

на умственный труд со стороны сельского хозяйства, промышленности, транспорта, сферы услуг, а также учреждений церкви, государства, образования, культуры и суда также существенно вырос. В России на самом деле ощущался дефицит в квалифицированных кадрах.

Как видим, доля лиц с высшим образованием в пореформенное время возросла лишь на 0,39%. Если же к элите отнести лиц не только с высшим, но и с полным средним образованием, то в 1861–1917 гг. их доля в населении возросла с 0,9 до 4%. Однако национальный доход на душу населения за это время увеличился в 3,84 раза<sup>5</sup>, в стране проходила индустриализация и культурная революция, вследствие чего спрос на умственный труд со стороны сельского хозяйства, промышленности, транспорта, сферы услуг, а также учреждений церкви, государства, образования, культуры и суда также существенно вырос. О неудовлетворенном спросе на квалифицированный труд свидетельствует более быстрый рост заработной платы у белых воротничков сравнительно с рабочими. Например, с 1870-х гг. по 1911–1913 гг. номинальный средний годовой заработок фабрично-заводских рабочих поднялся примерно на 33%, а учителей земских школ — на 188%<sup>6</sup>. Следовательно, в 1870-е гг. жалование у учителей было в 1,4 раза ниже, чем у пролетариев, а в 1913 г. — в 1,5 раза выше.

Итак, проверка гипотезы о перепроизводстве российской элиты и недостатке ресурсной базы для ее воспроизводства в мальтузианском смысле не подтверждается эмпирически.

### Экономическая гипотеза

Согласно экономической гипотезе, слабая отсталая российская экономика, если и развивалась, то трудно и медленно и исключительно за счет обнищания населения. В годы Первой мировой войны материальное положение продолжало ухудшаться более быстрыми темпами, что в конечном итоге и привело к революционному взрыву. Проверим гипотезу.

Экономика России по темпам роста в 1880–1913 гг. занимала одно из первых мест в мире, уступая из великих держав только США. Промышленность на основе частной собственности развивалась особенно быстро и имела огромные резервы. В сельском хозяйстве «феодалное»

<sup>5</sup> *Грегори П.* Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.): Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С. 22.

<sup>6</sup> *Зубков И.В.* Учительская интеллигенция России в конце XIX — начале XX в.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 2008. С. 9; *Кириянов Ю.И.* Жизненный уровень рабочих России (конец XIX — начало XX в.). М., 1979. С. 103–104, 108–109.

помещичье хозяйство имело более высокие урожаи и меньшие издержки производства сравнительно с «передовыми» крестьянскими хозяйствами. Упразднение помещичьего земледелия — «главного препятствия прогресса» — грозило упадком земледельческого производства. Известный русский агроном и администратор А.С. Ермолов попытался оценить вероятные экономические результаты

В случае безвозмездной передачи всей помещичьей земли в руки крестьян в 1906 г., не только страна в целом, но и, как это ни парадоксально, крестьяне проиграли бы, так как получают дохода с дарованной земли меньше, чем зарабатывали за ее обработку, когда она принадлежала помещикам, в качестве сельскохозяйственных рабочих. Причины — низкая производительность, высокие издержки и низкая доходность крестьянской земли сравнительно с помещичьей<sup>7</sup>.

В России после Великих реформ на самом деле, уровень жизни широких народных масс, несмотря на циклические колебания, имел позитивную тенденцию — медленно, но верно увеличиваться, благодаря общей благоприятной экономической ситуации в стране, взвешенной и достаточно благоразумной социально-экономической политике правительства. О повышении уровня жизни говорят следующие факты<sup>8</sup>:

(1) Увеличение с 1851–1860 гг. по 1913 г. индекса развития человеческого потенциала (индекс учитывает (а) продолжительность жизни; (б) уровень образования (грамотность и процент учащихся среди детей школьного возраста); (в) валовой внутренний продукт на душу населения) с 0,171 до 0,308 — в 1,8 раза.

(2) Повышение с 1885 по 1913 г. производства потребительских товаров и оборота внутренней торговли на душу населения в постоянных ценах — в 1,7 раза (за более раннее время сведений не имеется).

(3) Увеличение между 1886–1890 и 1911–1913 гг. количества зерна, оставляемого крестьянами для собственного потребления, на 34%.

(4) Рост с 1850-х по 1911–1913 гг. реальной подневной платы сельскохозяйственного рабочего 3,8 раза, промышленных рабочих — в 1,4 раза.

(5) Уменьшение числа рабочих дней в году у крестьян со 135 в 1850-е гг. до 107 в 1902 г., у пролетариев числа рабочих часов с 2952 в 1850-е до 2570 в 1913 г.

<sup>7</sup> *Ермолов А.С.* Наш земельный вопрос. СПб., 1906. С. 35–60, 264–276.

<sup>8</sup> *Миронов Б.Н.* Благосостояние и революции в имперской России: XVIII—начало XX века. 2-е изд. М., 2010. С. 462–464, 526, 557, 622, 664; Он же. «Послал Бог работу, да отнял черт охоту»: трудовая этика российских рабочих в пореформенное время // Социальная история. Ежегодник. 1998/1999. М., 1999. С. 277; *Святловский В.В.* Мобилизация земельной собственности в России (1861–1908 гг.). СПб., 1911. С. 81, 133–137.

(6) Массовая скупка земли крестьянами. За 1862–1910 гг. крестьяне купили 24,5 млн десятин земли, заплатив за нее огромные деньги — 971 млн руб. — это в 28 раз больше, чем все недоимки, накопившиеся за ними к 1910 г. (на 35 млн руб.). Купчая земля относительно надельной составляла 6,8% в 1877 г., 14,5% в 1887 г., и 21,6% в 1910 г., а относительно всей частновладельческой земли — соответственно 6,2%, 13,1% и 25%. Причем, почти половина (46%) земли была куплена крестьянскими обществами и товариществами. Нищие и пауперы землю, как известно, не покупают.

(7) Увеличение с 1863 г. по 1906–1910 гг. расходов на алкоголь в 2,6 раза на душу населения.

Вывод о повышении уровня жизни населения основывается также на антропометрических сведениях (росте и весе). Существенное и систематическое увеличение конечной (т.е. при достижении полной физической зрелости) длины тела мужчин за 1791–1915 годы на 7,7 см (с 161,3 до 169,0) и веса за 1811–1915 гг. — на 7,4 кг (с 59,1 до 66,5) дает уверенность в том, что благосостояние крестьянства действительно повысилось. Индекс массы тела, показывающий уровень питания, на протяжении 1811–1915 гг. всегда соответствовал норме, а к концу изучаемого периода даже немного увеличился — с 21,8 до 23,3. Все это могло произойти только при условии повышения благосостояния.

Как обстояло дело во время войны?

Во время любой войны происходит снижение уровня жизни. Однако во время Первой мировой войны, вплоть до февральских революционных событий 1917 г., понижение благосостояния можно считать умеренным. Не столь существенно, как принято думать, уменьшилась реальная зарплата рабочих. В 1914–1916 гг., по расчетам выдающегося русского экономиста и общественного деятеля С.Н. Прокоповича, она выросла на 9% и только с 1917 г. стала снижаться. С точки же зрения С.Г. Струмилина, реальная зарплата стала снижаться с 1914 г., но и в этом случае в 1916 г. она была лишь на 9% ниже, чем в 1913 г., зато за один революционный 1917-й год упала на 10%. Катастрофическое падение зарплаты произошло после прихода к власти большевиков, в 1918 г. (табл. 5).

Таблица 5

#### Изменение реальной зарплаты российских рабочих в 1913–1918 гг.

	1913 г.	1914 г.	1915 г.	1916 г.	1917 г.	1918 г.
Струмилин	100	99	94	91	82	39
Прокопович	100	100	106	109	99	41

Источники: Прокопович С.Н. Народное хозяйство СССР: В 2 т. Нью-Йорк, 1952. Т. 2. С. 77–78; Струмилин С.Г. Избранные произведения: В 5 т. М., 1963. Т. 1. С. 190–196; Т. 3. С. 378, 382, 386.

Причина расхождений в оценках Прокоповича и Струмилина состоит в следующем: первый более полно учитывал, кроме зарплаты, пайки, расходы предпринимателей на жилище, страхование и медицинскую помощь, составлявшие довольно значительную величину — 8,3% денежной платы<sup>9</sup>.

Сбор зерновых в российском масштабе в 1914–1917 гг. вполне удовлетворял потребности населения, благодаря запрещению экспорта, поглощавшего в мирное время свыше 20% чистого сбора хлебов<sup>10</sup>. Валовая продукция сельского хозяйства в 1914–1916 гг. находилась на уровне удачного для крестьян 1913 г. и только в 1917 г. сократилась, и то лишь на 8%<sup>11</sup>. Объем промышленного производства за 1914–1916 гг. возрос на 9,4%, число рабочих — на 13%, производительность труда — на 3,1%. Объем железнодорожных перевозок также рос вплоть до 1917 г. Рецессия в народном хозяйстве началась после февраля и особенно июля 1917 г.<sup>12</sup> На 1 сентября 1917 г. в сельской местности пайками обеспечивалось 33,4 млн человек, а за все время войны коронная администрация выдала их на огромную по тем временам сумму — 2,7 млрд руб., по 20,4 руб. на душу сельского населения. На эти деньги в 1916 г. можно было купить 253 кг ржи в Одессе, 222 кг в Петрограде и 224 кг в Орле<sup>13</sup>. Горожане, менее пострадавшие от мобилизаций, получили за время войны пайков на 254 млн руб. по 8,8 руб. на горожанина<sup>14</sup>.

По компетентному мнению В.И. Бинштока и Л.С. Каминского, питание в городах во время войны «несколько ухудшилось, но потребление даже в 1916 г. по имеющимся сведениям (Москва, Тула, Оренбург, Саратов) нужно считать количественно достаточным. <...> Питание в деревне, по-видимому, резким изменениям во время войны не подвергалось». Во время войны уменьшилась брачность и рождаемость, что естественно в связи с мобилизацией мужчин, но смертность находилась на довоенном уровне, а заболеваемость остроинфекционными болезнями в течение первых двух лет войны не усилилась<sup>15</sup>. Это согласуется с расчетами Н.Д. Кондратьева, согласно которым в производящих хлеб губерниях потребление хлеба крестьянами во время войны даже увеличилось по причине роста доходов, сокращения

<sup>9</sup> Прокопович С.Н. Народное хозяйство. Т. 2. С. 77.

<sup>10</sup> Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической революции: Документы и материалы: В 3 ч. Л., 1967. Ч. 3. Сельское хозяйство и крестьянство / А.М. Анфимов (отв. ред.). С. 156, 454.

<sup>11</sup> Прокопович С.Н. Народное хозяйство. Т. 1. С. 122, 321–322.

<sup>12</sup> Там же. С. 122, 321–322.

<sup>13</sup> Статистический сборник за 1913–1917 гг. Вып. 2. С. 60.

<sup>14</sup> Россия в мировой войне 1914–1918 (в цифрах). М., 1925. С. 49, 51.

<sup>15</sup> Биншток В.И., Каминский Л.С. Народное питание и народное здравие. М.-Л., 1929. С. 32, 34–35, 84.

потребления алкоголя и уменьшения продажи хлеба на рынке, особенно после 17 августа 1915 г., когда закупочные цены стали регулироваться государством<sup>16</sup>.

Продовольственный кризис, первые признаки которого проявились в конце 1916 — январе 1917 г., также как и перебои в снабжении Петрограда хлебом, начавшиеся в феврале 1917 г., обуславливались не недостатком в стране продовольствия, а беспорядками на железнодорожном транспорте, усугубленными суровой зимой, снежными заносами и намеренным саботажем<sup>17</sup>. Правительство в начале войны создало инфраструктуру для мобилизации местных ресурсов с использованием земств, передав им часть государственных полномочий по регулированию железнодорожного транспорта. По причине дороговизны, опасения продовольственного кризиса и падения авторитета центральной власти земства стали использовать свои новые полномочия для удержания хлеба в пределах своих губерний. В результате местнического использования железных дорог земскими заготовительными органами границы губерний были заблокированы, вследствие чего возникли трудности с обеспечением продовольствием столиц и крупных городов.

Таким образом, положение россиян во время войны в России безусловно ухудшилось, возникли серьезные проблемы на транспорте, в управлении фронтом и тылом. Однако не до такой степени, чтобы породить революционную ситуацию. Но все познается в сравнении. Сравним тяготы войны в России и других воюющих странах.

По объективным показателям ситуация в России выглядела предпочтительнее, чем в других воюющих странах, особенно в Германии и Франции, поскольку Россия вела войну с гораздо меньшим напряжением сил, чем ее противники и союзники. Во всех воюющих странах положение с продовольствием было гораздо хуже, чем в России, особенно в Германии и Австро-Венгрии. Карточная система на хлеб введена в Германии 31 января 1915 г. и к концу 1916 г. распространена по всей стране и на все важнейшие продукты народного питания — картофель, мясо, молоко, жиры, сахар. Городская норма потребления хлеба составляла 200–225 г на человека в день, мяса — 250 г в неделю. В 1917 г. норма хлеба понизилась до 170 г, или 1600 г печеного хлеба в неделю, масла и жиров — до 60–90 г в неделю; молоко получали только дети и больные. Немыслимого состава «военный хлеб» образца 1917 г. примерно соответствовал хлебу блокадного Ленинграда в 1942 г. как по качеству, так и по количеству. В 1917 г. потребление

<sup>16</sup> Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1991. С. 132.

<sup>17</sup> Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. М., 2001. С. 347–349.

мяса и жиров сократилось до одной пятой довоенного. До войны пищевое потребление немцев составляло в среднем 3500 ккал в день, в 1916–1917 гг. опустилось ниже 2000 ккал, в том числе осенью 1916 г. паек давал 1344 ккал, летом 1917 г. — 1100 ккал<sup>18</sup>.

17 августа 1915 г. — почти на год позже Германии, правительство России установило твердые цены на хлеб, обязательные при государственной закупке для армии, а 10 октября 1916 г. распространило их на все торговые сделки. Осенью 1916 г. в 31 губернии Европейской России введено подобие продразверстки (на конец 1916 г. ее выполнили на 86%). Летом 1916 г. — на полтора года позже, чем в Германии, стихийно, решениями местных властей, в городах 34 губерний возникла карточная система и к концу года действовала в городах 45 губерний и в некоторых сельских местностях без санкционирования центральной властью. Нормированию подлежали сахар и хлеб (при этом нормы в несколько раз больше, чем в Германии)<sup>19</sup>. В Москве карточная система на хлеб была введена только 6 марта 1917 г., а с июня 1917 г. — на крупу, рис, макароны и вермишель. В Петрограде накануне февральских событий нормировалась продажа хлеба: на человека 1,5 фунта (615 г) хлеба хорошего качества, а рабочим и военным — по 2 фунта (820 г). С декабря 1917 г. в обеих столицах большинство продуктов питания распределялись по карточкам<sup>20</sup>. Лишь при советской власти, в 1918 г., карточная система стала единой для всей страны, в 1919 г. введена повсеместная и полноценная продразверстка на хлеб, а с 1920 г. — на все продукты<sup>21</sup>. Как указывалось выше, реальная зарплата российских пролетариев стала снижаться летом 1917 г. При этом, несмотря на тяжелейшие условия жизни, число стачечников на 1000 человек работающих в Германии в 1916 г. было в 26 раз меньше, чем в России<sup>22</sup>.

Как известно, бизнес является самым чутким барометром не только экономической, но и политической конъюнктуры. В преддверии

<sup>18</sup> Эггерт З.К. Борьба классов и партий в Германии в годы первой мировой войны (август 1914 — октябрь 1917). М., 1957. С. 85, 86, 89, 373; Всемирная история: в 24 т. Т. 19: Первая мировая война / И.А. Алябьева и др. (ред.). Минск, 1997. С. 189–233.

<sup>19</sup> Китанина Т.М. Война, хлеб и революция. Продовольственный вопрос в России: 1914 — октябрь 1917 г. Л., 1985. С. 158–179, 202–209, 254–264.

<sup>20</sup> Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов... С. 132; Гибель царского Петрограда. Февральская революция глазами градоначальника А.П. Балка / Публ. В.Г. Бортневского и В.Ю. Черняева; вступ. ст. и комм. В.Ю. Черняева // Русское прошлое. 1991. Кн. 1. С. 28.

<sup>21</sup> Ильяхов А.А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в годы революции и гражданской войны. М., 2007. С. 89–95.

<sup>22</sup> Подсчитано по: Mitchell B.R. European Historical Statistics, 1750–1970. New York: Columbia University Press, 1976. P. 20, 156, 174; Статистический сборник за 1913–1917 гг.: В 2 вып. М., 1921. Вып. 1. С. 34–35, 38; 131, 141, 151, 161.

Первой мировой войны 12 июля 1914 г. (здесь и далее по юлианскому календарю) на российских биржах наблюдалась паника. 16 июля 1914 г. торговля ценными бумагами временно приостановлена, а 19 июля 1914 г. прекращена. Однако возникли внебиржевые торги, так называемые «частные биржи». Официально фондовый отдел Петербургской биржи вновь открылся 24 января 1917 г. и действовал около месяца. 27 февраля биржевые сделки снова приостановлены, а 3 марта 1917 г. биржа окончательно закрылась. С 1 по 24 февраля 1917 г. резких колебаний цен на русские фонды, акции и облигации и вексельного курса не наблюдалось. С 24 февраля по 3 марта произошло небольшое и временное падение котировок некоторых ценных бумаг. Курс рубля оставался стабильным<sup>23</sup>. «Торгово-промышленная газета» от 24 февраля 1917 г. сообщала о Лондонской бирже: «Общее настроение биржи спокойно»<sup>24</sup>, а от 7 марта 1917 г. (25 февраля — 7 марта газета не выходила): «Общее настроение биржи твердое, но спокойное. С русскими ценностями отмечается улучшение»<sup>25</sup>. В Москве объем торговли ценными бумагами после 24 февраля 1917 г. упал, но цены русских фондов, акций и облигаций, также как и вексельный курс не изменились. Официальное открытие биржи за месяц до февральских событий, ее нормальное функционирование вплоть до их начала и устойчивость цен на русские фонды, акции, облигации и вексельного курса — все это свидетельствует о том, что российский и зарубежный бизнес не боялся революции, слухи о готовящемся перевороте и сам факт свержения монархии воспринимал спокойно.

### Психологические теории революции: революция как патология

П.А. Сорокин сформулировал одно из психосоциальных объяснений: суть революции — в патологических и варварских действиях человека, свидетельствующих о полном разрыве с цивилизацией, дисциплиной, порядком и нравственностью. Патологическое поведение является реакцией на невыносимо тяжелые условия жизни и перерождается в революцию, когда ослабевшая власть утрачивает способность поддерживать порядок силой. Если концепция адекватна, логично ожидать увеличения числа преступников, суицидентов и психически больных в годы революции и предшествующих ей годах. Имеющаяся статистика не подтверждает гипотезу (табл. 6)

<sup>23</sup> Статистический сборник за 1913—1917 гг. Вып. 2. С. 96; Торгово-промышленная газета. 12 января — 26 февраля 1917 г. № 12—46.

<sup>24</sup> Торгово-промышленная газета. 24 февраля 1917 г. № 46. С. 4.

<sup>25</sup> Там же. 7 марта 1917 г. С. 6.

Таблица 6

**Число преступлений и самоубийств на 100 тыс. населения  
в 1911—1916 гг. (1911—1913=100)**

	1911—1913 гг.	1914—1916 гг.
Преступления	100	74
Самоубийства	100	38

*Источники: Новосельский С.А.* Очерк статистики самоубийств // Гигиена и санитария. 1910. № 9. Т. 1. С. 623; *Тарновский Е.Н.* Война и движение преступности в 1911—1916 гг. // Сборник статей по пролетарской революции и праву. 1918. Т. 5. № 1—4. С. 98, 104, 109.

В 1914—1916 гг. преступность была примерно на 26 процентных пунктов ниже, чем в 1911—1913 гг., в том числе в деревне — на 29, а в городе — на 6. В целом по стране снизилась частота совершения всех видов преступлений, а в городе незначительно (на 5 пунктов) возросло лишь число краж (на 100 тыс. населения). Вряд ли столь существенное уменьшение преступности можно объяснить только уходом миллионов здоровых мужчин в армию, ибо упала преступность женщин и детей, не подлежавших мобилизации.

По уровню самоубийств в пореформенное время Россия занимала одно из последних мест в Европе. С 1870 по 1913 г. коэффициент самоубийств изменялся циклически при общей повышательной тенденции. В годы Первой мировой войны, как и в годы первой русской революции, 1905—1906 гг., коэффициент самоубийств понизился и стал расти с 1918 г., превзойдя в 1923—1926 гг. довоенный уровень в 1,5 раза<sup>26</sup>.

В дискурсе о влиянии революций на психические состояния мнения специалистов разделились. С точки зрения одних, политические волнения не воздействовали ни на число, ни на течение психических расстройств, другие исследователи такую связь усматривали. Но проверить гипотезы на массовом эмпирическом материале из-за недостатка сведений невозможно. Интересно: вопрос о влиянии распространения психических расстройств на развитие революционного движения даже не ставился — речь шла исключительно о воздействии революции на психику людей.

Таким образом, понижение числа преступлений и самоубийств во время войны и накануне революций не дает оснований связывать происхождение революционных событий с ростом числа людей, склонных к патологическому поведению.

<sup>26</sup> *Тарновский Е.Н.* Сведения о самоубийствах в Западной Европе и в РСФСР за последнее десятилетие // Проблемы преступности. М.-Л., 1926. С. 192—193.

## Политическая гипотеза: выдающаяся роль PR-кампаний в подготовке революции

Представители политической теории и генезис революции, и непосредственные причины усматривают главным образом в конфликтах между властями и элитами, внутри элит, между элитами и различными социальными группами. В основе конфликтов — *борьба за политическое господство*, что является неперенным спутником общественной жизни любого государства, не исключая так называемых современных демократий, где переход власти от одной группировки к другой институционализирован и введен в цивилизованные процедуры. В данном случае речь идет не о классовой борьбе в марксистском смысле: столкновения имеют преимущественно политическую, а не социальную подоплеку.

Соперничающие за власть стороны прилагают много усилий на то, чтобы повлиять на массовое сознание соответственно своим задачам и целям и с этой целью используют политический PR как технологию, имеющей целью убедить общество изменить свой подход или свои действия, создать и внедрить в массовое сознание желательные образы тех или иных социальных групп, организаций и людей, активно использовалась как оппозицией, так и правительством и его сторонниками.

Политическая жизнь пореформенной России, особенно в начале XX в., дает тысячи примеров использования перечисленных приемов. Николай II в 1903 г. инициирует Саровские торжества для канонизации Серафима Саровского, совершает поездки по стране для встречи с подданными, делает им многочисленные подарки в праздники, произносит речи по важным политическим проблемам, открывает памятники, устраивает во всероссийском масштабе пышные празднества (например, по случаю 100-летия разгрома Наполеона, 200-летия Петербурга, 300-летия дома Романовых, в ознаменование очередной годовщины дома Романовых и т. п.). 11 и 13 февраля 1903 г. происходит знаменитый маскарад, на котором присутствует вся знать в чрезвычайно роскошных костюмах допетровского времени. Супруга императора не жалеет времени, чтобы представить себя перед обществом прилежной христианкой, всячески демонстрируя свою приверженность православию; занимается обширной благотворительной деятельностью (под ее покровительством состояло 33 благотворительных общества) и совершает другие PR-ходы, направленные на создание в народе благоприятного мнения о царствующей династии.

Не отстает и либеральная оппозиция. Например, осенью 1904 г. либералы проводят по всей России банкетную кампанию — по случаю 40-летия введения судебных уставов с разрешения властей устраиваются банкеты. На них произносятся речи о необходимости введения

свобод и конституции, принимаются резолюции, ходатайства о проведении политических реформ. Эффектным PR-ходом явилось Выборгское воззвание «Народу от народных представителей», составленное и подписанное 180 депутатами Государственной Думы в Выборге 9 июля 1906 г. через 2 дня после ее роспуска, с призывом не платить налоги, не ходить на военную службу и т. д. Большое число резонансных PR-ходов совершалось либералами во время неурожаев — устраивался сбор пожертвований, создавались специальные общественные организации по изучению причин и последствий неурожая, вина за которые обычно сваливалась на правительство. Оппозиция превращала похороны своих героев в грандиозные политические демонстрации. Такими стали, например, похороны большевика Н.Э. Баумана 20 ноября 1905 г. в Москве (большевики использовали их как повод для создания боевых дружин и подготовки восстания), похороны жертв Февральской революции в Петрограде 23 марта 1917 г. — самая крупная манифестация после февральских событий, похороны в Петрограде видных деятелей кадетской партии А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кошкина, убитых революционной матросней 7 января 1918 г., и другие.

Таким образом, PR как технология, имеющая целью убедить общество изменить свой подход или свои действия, создать и внедрить в массовое сознание желательные образы тех или иных социальных групп, организаций и людей, активно использовалась как оппозицией, так и правительством и его сторонниками. Но оппозиция оказалась искусней и успешней и выиграла информационную войну.

## Структурная социологическая гипотеза

Данная гипотеза роста имущественного и социального неравенства в пореформенное время рассматривается как один из важных факторов революции. Для проверки этой гипотезы посчитаем децильный коэффициент дифференциации доходов. Он показывает, во сколько раз средний доход 10% самых богатых превышает средний доход 10% наименее обеспеченных граждан (табл. 7)

Таблица 7

### Расчет децильного коэффициента в России в 1901–1904 гг.

Категория населения	Средний доход, руб.*	Численность самостоятельного населения		Суммарный доход, млн руб.
		тыс.	%	
10% самых бедных	77,7	8490	10,0	659,3
10% самых богатых	493,0	8490,0	10,0	4185,5
Децильный коэффициент	6,3	—	—	—

\* На душу самостоятельного населения.

Источник: Миронов Б.Н. Благополучие населения и революции. С. 601, 605.

Как показывает макроэкономический расчет: децильный коэффициент неравенства в России начала XX в. составлял примерно 6,3 и мог варьировать в границах 4,2–10,7. Лишь максимально возможная его величина могла представлять некоторую социальную опасность. В начале XX в. большинство западноевропейских стран по имущественному неравенству превосходили Россию. Например, в США децильный коэффициент в 1913–1917 гг. равнялся 16–18<sup>27</sup>. Колоссальное имущественное неравенство существовало в Великобритании, где в 1850-е гг. децильный коэффициент достигал 22,5 для налогоплательщиков и 74 для всего населения<sup>28</sup>. В других европейских странах неравенство было ниже, чем в США и, особенно, в Великобритании, но выше, чем в России. Необходимо также учитывать абсолютные значения доходов. Средний доход на человека у 1% самых богатых россиян в 1901–1904 гг. равнялся в текущей валюте 991 руб. (507 долларов США), а у американцев в 1900–1910 гг. — 8622 руб. (4412 долларов)<sup>29</sup>, т. е. в 8,7 раза больше. Самые состоятельные англичане и американцы превосходили по богатству российского императора и великих князей.

### Гипотеза относительной депривации

Данная гипотеза объясняет революционный взрыв психологической неудовлетворенности тем, что есть, и тем, что хочется и должно быть в соответствии с представлениями социальных групп и индивидов<sup>30</sup>. По убеждению французского политолога XIX в. А. де Токвиля, революции происходят тогда, когда наступает улучшение материального положения, уменьшаются репрессии, смягчаются ограничения, улучшается политическая ситуация<sup>31</sup>. Между прочим, и теория конфликта указывает на относительную депривацию как на важнейшую причину социального конфликта. Именно *относительная депривация* наблюдалась в пореформенной России. Рост потребностей постоянно обгонял достигнутый уровень жизни. Все слои постоянно хотели больше того, что реально возможно было иметь при тогдашних экономических и финансовых ресурсах, низкой культуре и невысокой производительности труда. «Повышенные ожидания» замечены в крестьянской,

<sup>27</sup> Подсчитано мною по той же методике, которая использовалась при оценке децильного коэффициента для России: Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970: In 2 pts. Washington DC: U. S. Department of Commerce, 1975. Pt. 1. P. 302.

<sup>28</sup> Lindert P.H. Unequal English Wealth since 1670 // The Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94. Issue 6. December. P. 149.

<sup>29</sup> США: Historical Statistics of the United States. Part 1. P. 8, 231, 303.

<sup>30</sup> Гапп Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005.

<sup>31</sup> Штомпка П. Социология: Анализ современного общества. М., 2005. С. 563–564.

рабочей среде и у духовенства и в наибольшей степени у белых воротничков<sup>32</sup>. Благосостояние росло медленно, а ощущение необустроенности — быстро, оставляя все меньше возможностей для мирного урегулирования. С 1870-х по 1911–1913 гг. номинальный средний годовой заработок российских фабрично-заводских рабочих увеличился примерно на 33% (со 190 до 254 руб.), сельскохозяйственных — на 75% (с 57 до 100 руб.), учителей земских школ — на 188% (со 135 до 390 руб., с квартирой и отоплением от школы). Однако и в 1870-е гг., и в начале 1910-х гг. все жаловались на плохое материальное положение, особенно учителя, считавшие свой заработок крайне недостаточным для интеллигентного человека. Как ни парадоксально, еще в большей степени сетовали на материальное положение учителя гимназий, чье годовое жалованье в 1910 г. равнялось 2100 руб., т. е. в 5,4 раза выше, чем у земских учителей<sup>33</sup>. Гипотеза об относительной депривации полностью подтверждается.

Итак, из шести конкурирующих гипотез подтвердились две: о большой роли относительной депривации и политического пиара. Для получения этого вывода мне пришлось использовать метеорологический, экономический, демографический, психологический, социологический и даже биологический (или антропометрический) подходы и применять математико-статистические методы.

Таким примерно мне мыслится междисциплинарный подход в историческом исследовании.

<sup>32</sup> Володин А.Ю. История фабричной инспекции в России 1882–1914 гг. М., 2009. С. 147; Скутнев А.В. Православное духовенство на закате империи. Киров, 2009. С. 143; Burds J. Peasant dreams and Market Politics: Labor Migration and the Russian Village, 1861–1905. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 1998. P. 181–182

<sup>33</sup> Миронов Б.Н. Благосостояние населения... С. 601, 624.



## КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ: СУВЕРЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ В ВЕК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ\*

*И.М. Савельева*

НИУ «Высшая школа экономики»  
г. Москва

***Аннотация.** В данной статье проблема устойчивости дисциплинарных границ анализируется на примере использования теорий символического интеракционизма и культурной интерпретации в культурной истории / *cultural history* / *histoire culturelle* / *Kulturgeschichte*. Ставя во главу исследования вопрос о методе, автор показывает, что в когнитивной области суверенность истории в век междисциплинарности обеспечивается не предметом (он у истории предельно широкий) и не теоретическими основаниями (теории успешно заимствуются), а более всего устойчивостью профессиональных методов: в области приемов исследования историческая наука во многом остается самодостаточной.*

***Ключевые слова:** *cultural history*, научный метод, дисциплинарный дискурс, символический интеракционизм, культурная интерпретация, *vague theory*.*

В данной статье на примере культурной истории я хотела бы поставить проблему устойчивости дисциплинарных границ, задавшись следующими вопросами:

---

\* В данной научной работе использованы результаты проекта «Институциональные структуры и академические сообщества: факторы динамики социогуманитарного знания», выполненного в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году.

1. Всегда ли (обязательно ли) можно констатировать нарушение суверенитета дисциплины, если для решения исследовательских задач широко используются теории разных социальных и гуманитарных наук?

2. Что происходит с методами, когда теории одной дисциплины заимствуются и применяются в другой? Поясню сразу, что под методами имеются в виду именно методы, т.е. приемы, способы анализа, а не «методология», специфически российское понятие, унаследованное от эпохи доминирования марксистского подхода и больше тяготеющее к философии истории («теория исторического познания»).

Для ответа на оба вопроса *cultural history* в качестве предмета анализа представляется репрезентативным примером именно потому, что, располагаясь на перекрестке истории и культуры, это направление широко использует теоретические возможности самых разных гуманитарных и социальных дисциплин. К тому же, будучи современным, возникнув на волне увлечения междисциплинарностью, оно впитало в себя и последовательно отразило большинство историографических поворотов и волн, то есть *cultural history* предлагает широкую панораму релевантных теорий в динамике. Далее речь пойдет об объектах, концепциях, методах культурной истории под углом зрения на ее дисциплинарный статус, теории и методы.

Прежде всего сформулирую общие соображения, которые я хотела бы ввести в русло дискуссии, потому что они кажутся мне базовыми.

Взаимопроникновение и взаимообогащение социальных наук, так называемая междисциплинарность, — явление в принципе характерное для второй половины XX в., и обусловлено оно результатами идущего с XIX в. процесса с обратным знаком — дисциплинаризации, размежевания социальных наук, их выделения в самостоятельные области знания, маркированные факультетами, кафедрами, журналами, профессиональными ассоциациями и т. д. История, социология, политические науки, антропология, география, экономика в своем современном виде, т. е. как отдельные профессиональные дисциплины, возникли в последние десятилетия XIX — начале XX в. До этого времени интеллектуальный багаж социального знания находился в общем распоряжении — перемещение от Чарльза Дарвина к Герберту Спенсеру или Джорджу Миду и пользование их концепциями не осмысливалось как *междисциплинарность*. Когда основоположник позитивизма Огюст Конт назвал социологию «историей, в которой нет имен индивидов и даже имен народов»<sup>1</sup>, многие историки увидели в этой максиме руководство к действию и вполне удовлетворились ролью поставщиков материала для социологических обобщений. Так возникла общая идея позитивистской истории, некий исследователь-

---

<sup>1</sup> Коллингвуд Р. Идея истории. М., 1980 [1946]. С. 123–124.

ский императив исторической науки на многие десятилетия, под которым подразумевалась профессиональная идеология историков, стремящихся работать «по ту сторону» теоретизирования, заниматься решением частных научных проблем. Что не менее важно, на этом этапе в распоряжении становящихся социальных дисциплин преобладали общие для всех методы исследования: филологический, исторический, статистический и др.

Взросление отдельных дисциплин и складывание их собственных когнитивных моделей, включая теоретические ресурсы и понятийный аппарат, сопровождалось и разработкой специфических методов. Как показывает Лорен Дастон, профессионализация и специализация в английской, французской и немецкой традициях происходила по-разному, но везде эти процессы вели к институционализации социально-научного знания<sup>2</sup>. В начале XX в. академические дисциплины, оснащенные собственными факультетами, кафедрами, учебными программами, системами оценивания превратились в отдельные универсумы<sup>3</sup> и «... совершенно преобразили благодатную интеллектуальную панораму конца XVIII — начала XIX веков. Оправдывая свое название, они разработали мощный дисциплинирующий механизм контроля и ограничений. Обладая монополией на сертификацию и контролем над учебными планами, наймом, штатным расписанием и распределением финансов, они обезопасили себя с помощью четко проведенных границ»<sup>4</sup>.

Речь, конечно, идет не только об институциональных границах и механизмах администрирования и контроля. Параллельно между науками происходило размежевание и в когнитивной сфере: формировались собственные правила построения дисциплинарных дискурсов, теории, методы, кластеры ключевых понятий. Только тогда, когда дисциплины отчетливо обособились, могла обнаружиться потребность в диалоге, а проблема междисциплинарности как теоретический вопрос вообще возникла лишь во второй половине XX в.

В известном программном тексте 1958 г., объясняющем принципы «новой истории», Фернан Бродель заявил, что «науки о человеке» находятся в кризисе, который парадоксально вызван их прогрессом, помноженным на неспособность работать сообща. Старая парадигма,

<sup>2</sup> *Daston L.* Die Akademien und die Einheit der Wissenschaften. Die Disziplinierung der Disziplinen // Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Kaiserreich. Jürgen Kocka, Rainer Hohlfeld und Peter Th. Walther, eds., Berlin: Akademie Verlag, 1999.

<sup>3</sup> *Abbott A.* Chaos of Disciplines. Chicago: University of Chicago Press, 2001; *Lepenis W.* Gefährliche Wahlverwandtschaften. Essays zur Wissenschaftsgeschichte, 1989; *Novick P.* That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

<sup>4</sup> *Sewell Jr. W.H.* Logics and History: Social Theory and Social Transformation. Chicago: University of Chicago Press, 2005. P. 2.

определяемая как «коварный и ретроградный гуманизм» (*humanisme rétrograde, insidieux*), мешает выработать единую основу. Образуется непродуктивное «монструозное множество старых и новых исследований» (*ensemble monstrueux des recherches anciennes et nouvelles*), потребность в упорядочении которого жизненно необходима<sup>5</sup>. В той же работе как на позитивную тенденцию на пути к междисциплинарности он указал на структурную антропологию Леви-Стросса, сочетающую в себе «лингвистические процедуры», «горизонты бессознательной истории», «молодой империализм качественной математики» — под стягами «науки о коммуникации, антропологии, политэкономии и лингвистики»<sup>6</sup>.

Призыв Броделя «работать сообща» относился к представителям всех социальных наук. Историк констатировал начавшееся движение к созданию «публичного домена» не только идей (это было всегда), но и теорий, методов, предметных полей и специализаций — в метафоре данной конференции: процесс разрушения стен и наведения мостов. В последние десятилетия прошлого века этот процесс проявился в становлении разнообразных исторических направлений, объединяющих в своем наименовании разные дисциплины (экономическая история, социальная история, историческая антропология и пр.). Появились и такие, которые связывают два предмета исследования. Среди них — очень продуктивное направление «*cultural history*» (*neue Kulturgeschichte, histoire culturelle*), в фокусе которой оказываются два предельно широких феномена (и понятия): культура и история. Диапазон культурной истории не ограничивается только названными национальными школами — он ими основоположен. В России культурная история представлена известными работами Михаила Бойцова, Елены Вишленковой, Марины Могильнер, Ольги Тогоевой и др. В итальянской историографии есть *storia culturale* (Алессандро Арканджели), в испанской — *historia cultural* развивают Хоан-Пау Рубьес, Алберто Мира, Алварес Буса, Стефан Пол-Валеро.

### Культурная история: безграничность теории

Мой первый тезис состоит в том, что культурная история — это не междисциплинарное направление, но автономная историческая субдисциплина, которая была бы невозможна, если бы в ней активно и свободно (часто без особой рефлексии) не использовались теории других дисциплин.

<sup>5</sup> *Braudel F.* Histoire et Sciences sociales: La longue durée // *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*. 1958. No 4. P. 725–753, 725.

<sup>6</sup> *Ibid* P. 725.

Конечно, интерес к перекрестку культуры и истории — явление в науке не новое. С XVIII в. существует *Kulturgeschichte* — история духовной культуры во времени и пространстве, с такими центральными понятиями, как язык, религия, искусство, наука, *дух народа*. *Kulturgeschichte* отсылает к XVIII в., немецкому романтизму, Иоганну Готфриду Гердеру, а в XX в. — к таким фигурам философии культуры, как Арнольд Тойнби и Освальд Шпенглер. Но *Kulturgeschichte* — не историографическое направление, она скорее представляет философию культуры, чем историю, и не связана с модусом проявления междисциплинарности в современной исторической науке.

Напротив, культурная история предполагает разговор, прежде всего о проблематике междисциплинарности, ибо эти исследования опираются на культурную антропологию, семиотику, *cultural studies*, визуальные исследования, социологию чтения и другие гуманитарные и социальные науки, используя их теории и исследовательские модели.

Как уже говорилось, сегодня проблема культуры и историческая оптика ее изучения существуют в целом ряде национальных историографий. Коротко остановлюсь на основополагающих, заметив, что причины появления у них были достаточно разными, что определило отчасти и области интересов<sup>7</sup>.

*Cultural history*. Термин *cultural history* мы четко прослеживаем в английской и американской историографиях с 1970-х гг. Хотя иногда как к отцу-основателю отсылаются к Якобу Буркхардту, родоначальником этого направления в его современном виде справедливо считать Эдварда П. Томпсона, написавшего пионерское исследование, в котором ранняя история рабочего класса Англии была увидена через формирование рабочей культуры, сыгравшей роль субстрата социальной идентичности<sup>8</sup>. В интерпретации Томпсона, рабочие не были всего лишь «жертвами истории», они активно участвовали в процессе своего социального становления. Именно «рабочая культура» с ее ценностями солидарности, коллективизма, взаимопомощи, политического радикализма и религиозного методизма, сделала пролетариат классом, отличным от других слоев общества и позволила ему осознать свою инаковость. Исследование Томпсона отражало радикализацию социальной истории 1960-х гг., ее интерес к простому человеку и его созидательной роли (*agency*). Однако вскоре подход, предложенный для изучения групповой культуры, позволил включить в сферу культурной истории многие другие объекты — право, политику войны, экономику и т. д.

<sup>7</sup> Подр. см.: *Savelieva I. Cultural History: Disciplinary Borderlands in the Time of Border-Scrapping // «Humanities» (WP BRP 13/Hum/2013) National Research University Higher School of Economics.*

<sup>8</sup> *Idem. P. 725.*

При изучении любых сюжетов с позиций культурной истории главной всегда оказывается «культурно-историческая» перспектива: процессы коммуникации, мир ритуалов и церемоний, как посредников политической воли и идеологических влияний, политическая семиотика, «образцы культуры», символически-экспрессивные аспекты человеческого поведения, игровые практики и фигуры речи. Исследования по *cultural history* дали инструменты и для изучения достаточно новых областей исторического, таких, как повседневное взаимодействие, микровласть, культурная память, полиидентичность, телесность и т. д.

*Neue Kulturgeschichte* в Германии, развиваясь, как и *cultural history*, в рамках новой социальной истории 1960–1980-х гг. и противопоставила социальной, политической, хозяйственной, военной истории, интерпретируемой в терминах структур и процессов, исследование культурной составляющей прошлого и **роль людей как агентов перемен**, происходящих в обществе. Так же как и в *cultural history*, в качестве аналитических были задействованы такие феномены, как коллективные представления, символика, ритуалы прошлого, метафорика пропаганды и пр.<sup>9</sup>, что позволило создать принципиально новые интерпретации, в том числе социального и политического: от средневекового политического символизма до политической культуры Веймарской республики и Третьего рейха<sup>11</sup>.

Во Франции к *cultural history* очень близка *histoire culturelle*, хотя надо сказать, что *histoire culturelle*, как и *neue Kulturgeschichte*, — явление все же более позднее, чем *cultural history*. Если последняя очень сильно была завязана на культурную антропологию, то эти направления теоретически уже более разнообразны. Более того, приход *histoire culturelle* во французскую историческую науку был связан с падением престижа исторической антропологии во Франции, отразившемся в практике большинства исторических институтов и журналов<sup>12</sup>. Одним из результатов разочарования и стало

<sup>9</sup> *Deile L. Die Sozialgeschichte entlässt ihre Kinder. Ein Orientierungsversuch in der Debatte um Kulturgeschichte // Archiv für Kulturgeschichte. 2005. Bd. 87. S. 1–25; Tschopp S.S. Weber W E. J. Grundfragen der Kulturgeschichte. Darmstadt: WBG, 2007; Wehler, H.-U. Die Herausforderung der Kulturgeschichte. München: C.H. Beck, 1998*

<sup>10</sup> *Lutz R. Geschichtswissenschaft der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. München: C.H. Beck, 2003. S. 233, 228.*

<sup>11</sup> *Stollberg-Rilinger B. Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? (Zeitschrift für historische Forschung. Beiheft 35). Berlin: Duncker & Humblot, 2005.*

<sup>12</sup> Важное исключение составляла группа по изучению исторической антропологии в Парижской школе высших социальных исследований, возглавлявшаяся Жаком Ле Гоффом и Жаном-Клодом Шмитом.

появление *histoire culturelle* (Роже Шартье, Паскаль Ори, Мона Озуф, Филипп Пуарье)<sup>13</sup>.

Таким образом, «культурная история» в разных традициях включает очень разные подходы и темы. И все же при очевидном разнообразии направлений и расплывчатости контуров культурная история, безусловно, представляет собой единую субдисциплину. Во-первых, национальные варианты культурной истории характеризуются содержательной целостностью, почти точным языковым соответствием и единством времени. Во-вторых, в разных научных школах они существуют одновременно и являются новыми. В-третьих, все они сложились и остаются *внутри* исторической науки, а не за ее пределами. В-четвертых, общим для них в широком смысле является не объект, а оптика исследования — «культурная интерпретация», то есть рассмотрение любых объектов через призму культуры (символов и практик)<sup>14</sup>. Напротив, объектом может быть что угодно: политика, социальные институты, социальные сети, экономика, что и создает впечатление бескрайности предмета. Однако предметное знание, перекресток культуры и истории, в значительной мере играет методологическую роль, «выступая одновременно как средство, путь поиска нового знания»<sup>15</sup>.

Кратко поясню, что имеется в виду. Например, история политики, которая традиционно складывалась как история политических движений, политических решений, реформ, революций, в культурной истории рассматривается через призму культуры. Так же — и история идей. На перекрестке этих подходов возникает принципиально иное знание и о политике, и о циркуляции идей и их роли в политическом процессе. Можно сослаться на известную работу Роже Шартье «Культурные истоки французской революции», в которой он противопоставляет свой метод исследования подходу Даниэля Морнэ, который опубликовал

<sup>13</sup> Poirrier Ph. Les enjeux de l'histoire culturelle. Paris, Seuil, 2004; Poirrier Ph. (dir.) L'histoire culturelle: un «tournant mondial» dans l'historiographie?, Postface de Roger Chartier. Dijon: Éditions Universitaires de Dijon, 2008. URL: <http://chrhc.revues.org/1380#ftn1#ftn1> [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013; Ory P. L'histoire culturelle. Paris: PUF, 2007; Idem. L'histoire culturelle de la France contemporaine, question et questionnements », Vingtième Siècle // Revue d'histoire. 1987. No 16. P. 67–82; Chartier R. Le monde comme representation // Annales E.S.C. 1989. Novembre–décembre. No 6. P. 1505–1520.

<sup>14</sup> New Dictionary of the History of Ideas / Horowitz M.C. (Hg.). Detroit, 2005; Conrad Ch. Kessel M. Kultur & Geschichte. Neue Einblicke in eine alte Beziehung. Stuttgart: Reclam, 1998; Daniel U. Kompendium Kulturgeschichte. 5. durchges. u. akt. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006; Maurer M.: Kulturgeschichte. Eine Einführung. Köln: Böhlau, 2008; Stollberg-Rilinger B. Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? // Zeitschrift für historische Forschung. Beiheft 35. Berlin: Duncker & Humblot, 2005.

<sup>15</sup> Гофман А.Б. Знание методологическое и знание предметное // Одиссей: Человек в истории. [1996]. М., 1996. С. 166.

в 1933 г. знаменитую и великолепную работу «Интеллектуальные истоки французской революции»<sup>16</sup>. Шартье в своем исследовании следует за Хабермасом, предложившим известную концепцию формирования публичной сферы, и изучает, как во французском обществе складывалась сфера публичной политики, институт общественного мнения. Он анализирует не идеи, впоследствии объединенные и названные Просвещением, которые якобы привели к революции, а процесс распространения этих идей в народе. Он смотрит, что обычные люди читали, изучает культуру чтения. Надо заметить попутно, что книжная культура, которой активно занимается культурная история, очень интересное направление, которое как раз позволило изучить, насколько Западная Европа была читающей уже с XVII в. Вообще открытие новых предметов исследования благодаря взгляду на прошлое сквозь призму культуры одно из важнейших достижений *cultural history*.

Общее направление в конструировании прошлого с позиций культурной истории можно охарактеризовать как стремление к замене социальной истории культуры культурной историей общества. Как и многие новые субдисциплинарные направления последних десятилетий *cultural history* использовала идеи, теории, кластеры ключевых понятий, из самых разных социальных и гуманитарных наук<sup>17</sup>, но, несомненно, относится к истории (дискурс и система аргументации историческая, объект и свидетельства о нем — в прошлом). Обосновать этот тезис можно, в том числе, осветив вопрос о методах культурной истории.

## Границы методов

Слово «метод», как известно, по-гречески означает «путь», применительно к научной работе синонимами ему могут быть слова «прием», «способ». Вопрос о взаимоотношении теории и метода при возникновении междисциплинарных объектов и областей кажется мне очень важным, особенно в случае истории. Еще Иоганн Густав Дройзен, определяя исторический метод (методологию), как «пони-

<sup>16</sup> Mornet D. Les origines intellectuelles de la Révolution française 1715–1787. Paris: Colin, 1967 [1933].

<sup>17</sup> Arcangeli A. Cultural History: A Concise Introduction. London: Routledge, 2011; Burke P. Varieties of Cultural History. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1997; Idem What is Cultural History? Cambridge: Polity Press, 2004; Ginzburg C. Clues, Myths and the Historical Method. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1989; Maor E. To Infinity and beyond: a Cultural History of the Infinite. Boston: Birkhäuser, 1987; Melching W., Velema W. Main Trends in Cultural History: Ten Essays. Amsterdam: Rodopi, 1994; Poster M. Cultural History and Postmodernity: Disciplinary Readings and Challenges. New York: Columbia University Press, 1997.

мание путем исследования», призывал: «ищите методы», имея в виду именно *пути* к пониманию. Ведь историк обычно не может использовать средства и приемы познания, составляющие инструментарий той или иной теории, на которые опираются социологи, психологи или антропологи (они-то часто могут заимствовать техники исследования друг у друга) — психометрическое тестирование, социометрический мониторинг, этнографические описания, углубленные интервью и долгосрочные наблюдения. Как же в этом случае выбирать *путь* исследования? Что происходит в области методов, если историк опирается на теорию, разработанную для другой дисциплины, которая предполагает совсем иные возможности для работы с объектами в настоящем?

Историк имеет дело с текстами и визуальными материалами *прошлого*, значит, к «чужой» теории прилагается во многом другая система анализа, которая собственно и отличает историческую профессию. В случае междисциплинарного подхода многое определяется выбором объекта и источниковой базы, но успех или неудача зависят и от адекватности теории, и от применимости предполагаемых ей методов к материалу, с которым работает заимствующая наука, в данном случае история, и чаще всего — от возможности адаптации исторических способов исследования к «чужеродной» теоретической схеме.

Не все выборы приводили к позитивным результатам. Но определенно можно сказать, что *cultural history* сегодня представлена очень яркими и многочисленными примерами удачного использования «чужих» методов. В частности, применение методов семиотики, лингвистики, визуальных исследований позволило осуществить интересные исследования в области символических репрезентаций власти, проблематики империй, истории ритуалов, повседневности, отдельных событий и т. д. Использование указанных методов стало возможным, потому что речь в этих случаях идет именно о способах изучения *текстов* в широком смысле, будь то письменные источники или визуальные объекты.

Намного сложнее обстоит дело с использованием подходов, наработанных в теориях культурной антропологии, к идеям и выводам которой современные историки обращались особенно активно. По словам важнейшего для историков авторитета в области культурной антропологии Клиффорда Гирца, «понимание культуры как «контрольного механизма» начинается с предположения, что человеческая мысль в основе имеет одновременно общественный и публичный характер: естественная для нее среда обитания — это двор, рынок, городская площадь. Мышление состоит не из «случайностей в голове» (правда, случаться что-то непременно должно как в ней, так и за ее

пределами, чтобы мышление могло иметь место), а из постоянных движений того, что Д.Г. Мид и другие называли значимыми символами»<sup>18</sup>. «Обратная сторона нашей аргументации, стало быть, состоит в следующем: не руководимое моделями, поставляемыми культурой, — упорядоченными системами значимых символов, — поведение человека было бы практически неуправляемым (в самом деле, было бы просто хаосом бессмысленных действий и спонтанных эмоций), а его опыт — практически неоформленным. Культура, аккумулируемая совокупность таких моделей, представляет собой не простое украшение человеческого существования, но главную основу его специфичности и необходимое его условие»<sup>19</sup>.

Следуя по стопам Гирца, историки пытались применить метод «насыщенного описания» (позаимствованный Гирцем у философа Герберта Райла)<sup>20</sup> для культурной интерпретации социального опыта разных общественных групп прошлых эпох. О роли Клиффорда Гирца в культурной истории кто только не писал. Я хотела бы лишь отметить, что, например, один из прямых наследников Гирца в историографии Роберт Дарнтон не сильно преуспел на самом деле в применении методов своего наставника и коллеги (несмотря даже на «плотное общение» — они с Гирцем много лет вели совместный семинар в Принстоне). Достаточно задать два вопроса: «Что вы узнали о балийцах?» (из исследования Гирца «Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев»)<sup>21</sup> и «Что вы узнали о парижских ремесленниках 30-х годов XVIII века?» (из статьи Дарнтон «Рабочие бунтуют: великое кошачье побоище на улице Сен-Севрен»)<sup>22</sup>.

Гирц месяцами живет в деревне на Бали. Его методы: постоянное наблюдение, общение и плотное описание глубоких<sup>23</sup> и «неглубоких» игр. Результат исследования — достаточно подробные и достоверные наблюдения о балийцах: из книги Гирца можно узнать практически все, начиная от устройства повседневной жизни и практик коммуникации до организации общественной структуры и еще важнее — символического мира балийцев. В распоряжении Дарнтон — трехстраничный

<sup>18</sup> Гирц К. Интерпретация культур. (*Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays.*) / Пер. с англ. М., 2004. С. 56–57.

<sup>19</sup> Там же. С. 57–58.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же. С. 478–522.

<sup>22</sup> Дарнтон Р. Рабочие бунтуют: великое кошачье побоище на улице Сен-Севрен. М., 2002. С. 91–125.

<sup>23</sup> Понятие Бентама «глубокая игра» мы находим в его книге «Теория законодательства». Под ним он имеет в виду игру, в которой ставки настолько высоки, что, с его утилитаристской точки зрения, людям вообще неразумно в нее ввязываться». (Гирц К. Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев // *Он же*. Интерпретация культур. С. 478–522, С. 493).

рассказ очевидца, печатника Никола Конта<sup>24</sup>, который в конце 30-х гг. XVIII в. обучался ремеслу на улице Сен-Севрен в Париже и поведал о том, что «за всю историю книгопечатни Жака Венсана там не случилось ничего более уморительного, чем великое кошачье побоище»<sup>25</sup>. Рассматривая это повествование как художественный текст, Дарнтон использует его «для этнологического explication de texte»<sup>26</sup>. В дополнение к прямому, но более чем краткому источнику, привлекаются материалы огромного архива ТТН (Типографское товарищество Невшателя), по документам которого можно делать косвенные выводы («книгопечатное дело везде велось примерно одинаково»<sup>27</sup>) о корпоративной организации ремесленников, но не Невшателя (Швейцария), а Парижа, их повседневной жизни, ритуалах и ценностях. Для проникновения в «смыслы, которые вкладывала народная культура в кошек», автор обращается к сказкам народов Европы, записанным (или написанным?) в XIX в. Не сказку ли мы получаем в итоге? Дарнтон в итоге опирается на идею Бахтина о раблезианской смеховой культуре и сам не очень уверен в своих выводах: «Возможно, когда типографы судили, причащали и вешали множество полудохлых кошек, они хотели высмеять систему правового и социального мироустройства»<sup>28</sup>.

Конечно, если иметь в виду объем и глубину информации, равно как и убедительность выводов, Дарнтон проигрывает Гирцу, и в его лице насыщенное описание в истории проигрывает социологии. Причина в том, что насыщенное описание историка не могло базироваться на включенном наблюдении, а подразумевало работу с источниками, которые к тому же в большинстве своем прямо не относились к описываемому инциденту.

Если все же «додумать мысль до конца» и оценивать возможности использования теории культурной интерпретации в самих исторических исследованиях, то следует признать, что обращение к ней необычайно расширило и тематические горизонты, и источниковедческие возможности, а в результате историками были получены важные исследовательские результаты.

Далее хочу остановиться на другой влиятельной теории, которая широко используется в культурной истории (и не только), но чаще всего имплицитно (имя Джорджа Герберта Мида еще можно встре-

<sup>24</sup> Кошачье побоище в изложении Конта. (*Nicolas Contat. Anecdotes typographiques où l'on voit des coutumes, moeurs et usagesingoliers des compaignons imprimeurs.* Oxford: Ed. Giles Barber, 1980. P. 51—53.)

<sup>25</sup> Дарнтон Р. Рабочие бунтуют: великое кошачье побоище на улице Сен-Севрен. С. 91.

<sup>26</sup> Там же. С. 96.

<sup>27</sup> Там же С. 98.

<sup>28</sup> Там же. С. 116.

тить, но другие — крайне редко). Я имею в виду символический интеракционизм, который стал важной методологической опорой исследований по культурной истории, но, по моему мнению, его интерпретативные возможности используются историками недостаточно (в двух смыслах: редко и поверхностно). Причины этого отчасти коренятся в неосведомленности, отчасти именно в очевидности разрыва в области методов исследования социологов, психологов и историков.

Символический интеракционизм — одна из авторитетных социологических теорий, используемая во многих областях социологии (прежде всего в микросоциологии), а также — в социальной психологии. Концепция символического интеракционизма ведет свое происхождение от философии американского прагматизма и в неявном виде была сформулирована американским философом, социологом и психологом Джорджем Гербертом Мидом, который постулировал, что индивидуальность людей является продуктом социальности, и в то же время индивид обладает целеполаганием и креативностью. За свою жизнь Мид опубликовал около сотни статей, но не написал ни одной книги. Известную книгу Мида, в которой сформулированы его теория *mind, self and society*<sup>29</sup>, как и остальные его книги, собрали и издали его ученики.

Теория Мида была развита Гербертом Блумером, учеником и интерпретатором Мида; он же ввел термин «*symbolic interactionism*»<sup>30</sup>. Блумер считал, что «Наиболее человеческая и очеловечивающая деятельность, в которую вовлечены люди, — это разговоры друг с другом»<sup>31</sup>. Соответственно, люди действуют по отношению к вещам (сущностям), основываясь на смыслах, которые эти сущности имеют для них, а эти смыслы в свою очередь извлекаются из социальных взаимодействий и модифицируются путем интерпретации, потому социальное взаимодействие лежит в основе всех наших действий. Если мы хотим понять причину действия, внимание надо концентрировать на социальном взаимодействии.

Важный вклад в развитие теории символического интеракционизма внесли также Ирве Энгестрём (Yrjö Engeström), Дэвид Миддлтон, Томас Парк, Джеймс Хортон, Чарльз Кули, Флориан Знанецки и др. Социологи, работающие в этой традиции, исследовали широкий круг тем с использованием разнообразных исследовательских приемов,

<sup>29</sup> Mead G.H. *Mind, Self and Society* / Ed. by Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1934.

<sup>30</sup> Blumer H. *Symbolic Interactionism; Perspective and Method.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969.

<sup>31</sup> Griffin E.A. *A First Look at Communication Theory.* Boston: McGraw-Hill, 2006. P. 60.

особенно методов качественного анализа, таких, как включенное наблюдение, чтобы изучать социальное взаимодействие и/или личностные свойства индивидов.

Ключевые тезисы символического интеракционизма, сформулированные в многократно издававшейся работе Джозеля Шэрона «Символический интеракционизм: введение, интерпретация, интеграция»<sup>32</sup>, предлагают, на мой взгляд, чрезвычайно перспективный путь для изучения прошлого. Ведь историк всегда знал, что он изучает *res gestae*, здесь же внимание переносится на **взаимодействия**.

Пять идей символического интеракционизма, выделенные Шэроном, можно суммировать в следующих положениях. Основной единицей изучения в символическом интеракционизме является взаимодействие. Индивиды формируются через взаимодействие, общество тоже создается благодаря социальным взаимодействиям. В свою очередь то, что мы делаем в настоящем, зависит от предшествующих интеракций с другими людьми и от взаимодействий, происходящих прямо сейчас. Лишь постоянное стремление к социальным взаимодействиям приводит нас к тому, что мы делаем то, что мы делаем (to do what we do).

При этом в теории символической интеракции человек может быть понят только как мыслящее существо. Человеческое действие представляет собой не только взаимодействие между индивидами, но и взаимодействие в индивидуальном сознании. Важны не столько наши идеи, установки или ценности, сколько постоянный непрекращающийся процесс размышления. Мы не просто обусловлены, мы не просто существа, на которых влияют окружающие, мы не просто продукты общества. Мы, по самой своей сути, мыслящие животные, всегда ведущие внутренний диалог, в то время когда мы взаимодействуем с другими. Если мы хотим понять причину действия или события, надо концентрировать внимание на (раз)мышлении человека. Прошлое влияет на наши действия прежде всего потому, что мы думаем о нем и обращаемся к нему для определения текущей ситуации.

Люди описываются как активные существа по отношению к окружающей обстановке. Такие слова, как обусловленный, реагирующий (*responding*), контролируемый, несвободный, формируемый (*formed*), не используются для описания человека в теории символической интеракции. И не менее важная для этой теории презумпция состоит в том, что люди не чувствуют окружающую обстановку непосредственно, напротив, люди определяют ситуацию, в которой

<sup>32</sup> Charon J.M. *Symbolic Interactionism: An Introduction, An Interpretation, An Integration*. Boston: Prentice Hall, 2009 (10th edition) [1979].

они находятся. Окружающая среда может существовать независимо от нас, но важно то, как мы ее определяем. И определение ситуации происходит не по воле случая, оно возникает в результате двух непрерывных и взаимосвязанных процессов: социального взаимодействия и размышления<sup>33</sup>.

Теория символического интеракционизма может с успехом использоваться для исследования той же проблематики в прошлом, для изучения которой она более всего применяется в социологии и социальной психологии: социальных сообществ, коллективных действий, социальных движений, эмоций, девиантного поведения. Особенно эвристически перспективна эта теория для воссоздания прошлого сообществ с ярко выраженной склонностью к «самокомментированию» и рефлексии (интеллектуалов, художников, ученых).

В то же время, используя теорию «символического интеракционизма», историк сталкивается с тем, что применить предполагаемый ей инструментарий к историческому материалу напрямую невозможно. Приходится адаптировать к этой теории методы исторического исследования, искать замену «включенному наблюдению», вычитываемые процессы социального взаимодействия и индивидуальных размышлений в имеющихся источниках и через них постигая «почему люди делали то, что они делали» и как производились социальные смыслы.

Примером удачного использования теории символической интеракции в исторических трудах являются исследования российских университетов, авторы которых отказались от функционалистского видения прошлого университета как институции и обратились к анализу сценариев жизни академических сообществ, дискурсов самоописания и культуре воспоминания<sup>34</sup>. В результате применения такой оптики история российского университета перестала быть историей механического заимствования западной модели образования или

<sup>33</sup> Charon J.M. (2004). *Symbolic Interactionism An Introduction, An Interpretation, An Integration...* P. 31.

<sup>34</sup> Университет для России: Взгляд на историю культуры XVIII столетия [Т. 1] / В.В. Пономарева и Л.Б. Хорошилова (ред.). М., 1997; Университет для России. Т. 2: Московский университет в Александровскую эпоху / В.В. Пономарева и Л.Б. Хорошилова (ред.). М., 2001; Вишленкова Е.А., Мальшева С.Ю., Сальникова А.А. *Terra Universitatis: два века университетской культуры в Казани*. Казань, 2005; Отечественные университеты в динамике золотого века русской культуры / Е.В. Олесюк (ред.). М., 2005; Кулакова И.П. *Университетское пространство и его обитатели: Московский университет в историко-культурной среде XVIII века*. М., 2006; Вишленкова Е.А., Галиуллина Р.Х., Ильина К.А. *Русские профессора: университетская корпоративность профессиональная солидарность*. М., 2012.

историей противостояния группы прогрессивных интеллектуалов бюрократическому механизму империи, а стала историей профессорского сообщества как *создателя* университетской жизни, ее традиций, репрезентаций, языка самоописания, практик взаимодействия, способов историзации и классикализации собственной деятельности.

Например, в книге «Сословие русских профессоров: создатели статусов и смыслов»<sup>35</sup> принципиально важным был учет когнитивной специфики объекта изучения — высоко рефлексивной группы (университетских преподавателей) по сравнению с менее «интеллектуально сопротивляющимися» группами, с которыми чаще всего работают, например, социологи и антропологи. Исследование фокусируется на способах порождения смыслов и удержания солидарности в условиях, когда профессорское сословие как социальная группа постоянно меняла во времени и пространстве свой состав, численность и конфигурацию. В свете ориентиров теории символического интеракционизма университетская жизнь предстала динамичной областью, в которой заключаются и перезаключаются конвенции относительно того, какие знания нужны российским подданным и какие государству, каким должно быть качество научного исследования, по каким критериям оценивать успех учебной работы, как ученое сообщество понимает свое служение и т. д.

Конечно, мы не должны забывать о том, что в поле гуманитарного и социального знания присутствует группа «странствующих» теорий (*vague theories*), с расплывчатым концептуальным ядром и нестрогим методологическим инструментарием, которые именно в силу этой своей «нестрогости» чрезвычайно легко находят себе место в самых разных дисциплинах, от этнологии до литературоведения (к числу таковых принадлежит, к примеру, концепция карнавала у М.М. Бахтина<sup>36</sup>). Чем теория менее строгая, тем более популярной и успешной она может быть. Символический интеракционизм существует, в том числе, как раз и как одна из таких теорий, недаром Мид известен как философ (один из основоположников философии прагматизма), социолог (один из основателей американской социологической традиции) и один из создателей социальной психологии. И, безусловно, сам Мид является классическим примером социального теоретика, чьи работы нелегко расклассифицировать по конвенциональным дисциплинарным зонам.

<sup>35</sup> Сословие русских профессоров: создатели статусов и смыслов / Вишленкова Е.А. Савельева И.М. (ред.). М., 2013.

<sup>36</sup> О научном и культурном генезисе карнавальной концепции Бахтина см. содержательную книгу: *Попова И.Л.* Книга М.М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. М., 2009

Наряду с *vague theories*, во «всеобщем пользовании» находятся еще и *vague ideas*, в культурной истории, например, очень востребованы многие интуиции Вальтера Беньямина, изложенные в манере, о которой Сьюзен Зонтаг пишет: «Фразы у него рождаются не так, как мы привыкли: одна не следует из другой. Любая возникает как первая — и последняя. (“В каждом предложении писатель должен ставить точку и начинать заново”, — сказано в предисловии к “Происхождению немецкой барочной драмы”). Движение мысли и истории развернуто как панорама идей, тезисы заострены до предела, от интеллектуальных перспектив кружится голова»<sup>37</sup>.

Конечно, интеллектуальные перспективы такого рода легко приживаются на любой дисциплинарной почве, не создавая напряжения между идеей и методом.

\* \* \*

Cultural history в разных версиях и теоретических изводах обнаруживает множество вариантов успешного использования теорий и методов разных социальных и гуманитарных наук, их синтеза и адаптации к нуждам исторического исследования. Одновременно в когнитивном поле культурная история демонстрирует и обратную сторону процесса междисциплинарного взаимодействия — необыкновенную устойчивость дисциплин. На этот феномен, несмотря на бум междисциплинарных исследований, совершенно преобразивших, в частности, историческую науку, обратили внимание представители «новой дисциплинарности» (new interdisciplinarity)<sup>38</sup>. Историки уже полвека присваивают, социологи больше века совершают интервенции, но посмотрите на структуру университетов, состав редколлегий журналов, состав секций на научных конгрессах — бастионы дисциплин по-прежнему крепки. С точки зрения представлений о новой междисциплинарности, науки сегодня имеют очень устойчивое дисциплинарное ядро, прежде всего, в когнитивном смысле — методологические ресурсы, язык и универсум вопросов. Кроме того, каждая дисциплина для своего представителя служит своего рода «верительной грамотой», удостоверяя его принадлежность к определенной науке, его профессию, квалификацию и т.д. Большинство ученых не испытывают сложностей с самоидентификацией по дисциплине, на каких бы междисциплинарных рубежах, пограничьях и территориях они ни работали.

<sup>37</sup> *Зонтаг С.* Под знаком Сатурна // *Зонтаг С.* Мысль как страсть: Избранные эссе 1960-70-х годов. М., 1997.

<sup>38</sup> *Marcovich A. & Shinn T.* Where is Disciplinarity Going? Meeting on the Borderland. *Studies of Science and Technology // Social Science Information.* No 50(3–4). P. 582 – 606, 589.



Начиная с Аристотеля, разделение между науками производилось по предмету и методу. Я полагаю, что в когнитивной области суверенность истории в век междисциплинарности обеспечивается не предметом (он у истории предельно широкий) и не теоретическими основаниями (теории успешно заимствуются), а более всего дифференциацией от других наук об обществе и человеке по критерию времени<sup>39</sup>. В свою очередь этот критерий во многом определяет устойчивость профессиональных методов: в области приемов исследования историческая наука во многом остается самодостаточной. Специфические для изучения прошлого методы в основном сосредоточены «за стенами», а теории в предложенной организаторами конференции метафоре играют как раз роль мостов.

## **«КАКОЕ, МИЛЫЕ, У НАС ТЫСЯЧЕЛЕТЬЕ НА ДВОРЕ?» ВРЕМЯ ЭПОХ И ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ПРИМИТИВ**

*В.А. Шкуратов*

Южный Федеральный университет  
г. Ростов-на-Дону

***Аннотация.** Для изучения связи между микро- и макроуровнями истории вводится понятие темпорального примитива, который определяется как распределение опыта в модальностях прошлого-настоящего-будущего. Воспроизводство Я в триединстве темпоральности является своего рода генетическим уровнем историогенеза. Предложенное понятие позволяет продвинуться в объяснении однотипности малой истории человека и большой истории человечества. Свою идею автор излагает на материале этнографии охотников-собирателей, древнегреческого эпоса и истории науки.*

***Ключевые слова:** время, исторические периодизации, современность, темпоральный примитив, сапиентный психотип, Венская школа В. Шмидта, охотники-собиратели, повествовательно-объяснительное пространство эпоса, хронометрия, теории времени.*

Стихотворение Б. Пастернака, строчка из которого стоит в названии статьи, написано летом 1917 г., когда в обозначении грядущей эпохи царила разногласия. Одни считали, что Россия вступает в эру буржуазно-демократических свобод, другие — хаоса и смуты, третьи — в полосу великого освобождения человечества от эксплуатации. Но даже среди социал-демократов нет единства во взглядах. Одна фракция уверена, что революция буржуазная, а другая — социалистическая. Интересно, однако, что поэт обращается не к оракулам и экспертам, а к детям, играющим во дворе, к простым, неученым существам, которым совсем неинтересно, как эпоха называется:

<sup>39</sup> Подр. см.: Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М., 1997.

«В кашне, ладонью заслонясь,  
Сквозь форточку крикну детворе:  
Какое, милые, у нас  
Тысячелетие на дворе?»<sup>1</sup>

Такой ход сделал стихотворение хрестоматийным примером вопроса не по адресу. Мы же понимаем, что наивность поэта (обучавшегося философии в Московском университете и в Марбурге у светил неокантианства) намеренная. Пастернак будет всю жизнь примерять к эпохам взгляд свободного от доктрин человека, и потому в контексте этой статьи его строки звучат вполне по адресу. Пока же стоит вспомнить, что распавшаяся связь времен (или в собственном переводе Пастернака — «дней связующая нить») достаточно быстро восстановится. Дети, игравшие в петроградском дворе летом 1917 г., к зрелости будут знать, что эпох пять: первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая, первую фазу которой они строят, и что по-ученому эпохи называются общественно-экономическими формациями. С этим представлением советский народ останется надолго, до самого конца советского времени. После очередного обвала макроисторической линейности в конце XX в. последовательный счет эпох никак не восстановится. Мы точно не знаем, какое тысячелетие на дворе. Похоже, что в нашу страну возвратился капитализм. Но капитализм этот неустоявшийся, зыбкий. А западный капитализм, по мнению его теоретиков, уже подходит к концу. Явно или неявно в большей части исторических градаций капитализм отождествляется с современностью, даже советско-марксистская историософия отводила коммунизму будущее, считая настоящее переходной эпохой титанической борьбы социализма с империализмом. Однако спор о том, живем ли мы в современности или уже в постсовременности, ничем пока не закончился. Неясна и нижняя граница эпохи. Начинается ли современность около 1500 г. или около 1400-го? Считать ли ее, как делала советская историография, с 1640 г.? Или, по Ж. Ле Гоффу, с 1789 г.? Может быть, начало современности датируется историческим дуэтом: индустриальной революции в Англии и политической революции во Франции? А вот английский антрополог Дж. Гуди уверен, что современность создана в бронзовом веке другим дуэтом: города и письменности. Все сообщества, одолевшие перевал письменности и урбанизации — современные, и обладают одинаковым набором признаков — хозяйственной предприимчивости, социально-политической самоорганизации, индивидуализма, рефлексии и т. д.<sup>2</sup> В долгой исторической длительности Запад не имеет никакой

монополии на указанные атрибуты современности. Мифом европоцентризма мы обязаны конъюнктурному циклу 1700–1900 гг., когда Старый континент получил преобладание над остальным миром, но сейчас этот цикл прошел, и свое лидерство восстанавливают азиатские гиганты, превосходившие Европу (во всяком случае, не уступавшие ей) до XVIII в.<sup>3</sup> Очевидно, что в свете такой «экуменической современности» заботы периодизации имеют местный характер, а человечество в целом идет вперед.

Есть и такие, кто выражает надежду на то, что машина периодизаций сломалась и больше не восстановится. Во-первых, постмодернисты, несколько десятилетий предсказывающие упадок больших нарративов и замену их малыми нарративами<sup>4</sup>. Во-вторых, неомарксисты. Они разделяют политэкономическую эсхатологию автора «Капитала» о конце исторического времени вместе с прекращением капиталистического производства<sup>5</sup>. Более скромным был либеральный конец истории по Ф. Фукуяме. В начале 1990-х гг. он предсказывал, собственно, не прекращение времени, а восстановление унилатерального прогресса после распада коммунистической системы<sup>6</sup>. Затем этот автор перешел к более крупным размерностям постчеловеческого будущего<sup>7</sup>.

В этой статье я не буду пытаться ответить на вопрос поэта. Речь пойдет об эпистемологии «эпохопроизводства», о том, как создаются периодизации. Моя цель — показать «темпоральный примитив», т.е. распределение опыта в модальностях прошлого-настоящего-будущего, как своего рода генетический уровень историогенеза, преобразующийся на уровне большой истории в периоды, эпохи, эры. Связь между микро- и макро- отнюдь не прямая, и чем ближе к нам, тем более опосредованная шкалами, концептами, символами. Однако она имеется, и для того, чтобы констатировать ее, мне придется использовать историко-этнографический материал, а затем обсудить теории времени.

## Современен ли современный человек?

В противоположность Дж. Гуди, наделяющему атрибутом современности все человеческие сообщества после бронзового века, американские исследователи Л. Космидес и Дж. Туби считают современного

<sup>3</sup> Pomeranz K. Putting Modernity in its Place(s): Reflections on Jack Goody's The Theft of History // Theory, Culture, Society. 2009. No 26 (32).

<sup>4</sup> См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.-СПб., 1998.

<sup>5</sup> См.: Meszaros I. The Challenge and Burden of Historical Time. New York, 2008.

<sup>6</sup> Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004.

<sup>7</sup> Он же. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. М., 2004.

<sup>1</sup> Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. М., 1987. С. 39.

<sup>2</sup> Goody J. The Theft of History. Cambridge, 2006.

человека существом древнего каменного века, запутавшимся в невероятно расширившихся сетях техники и организации<sup>8</sup>. Современны, строго говоря, техника, аппарат цивилизации, а не их создатель и пользователь. Школа Санта-Барбары (супруги — психолог Леда Космидес и антрополог Джек Туби — преподают в университете г. Санта-Барбара, Калифорния) развивает то, что может быть названо социокогнитивным эволюционизмом. Ученые из Калифорнии делают упор на предельной пластичности детской психики и устойчивости «когнитивной архитектуры», которая сформировалась и закрепились в культуре каменного века. Это и приводит их к высказываниям о том, что современный американец мыслит как первобытный охотник: «...наши современные черепа населяет ум каменного века. Чтобы получить ключ к работе современного ума, надо осознать, что его связи не были предназначены для того, чтобы решать повседневные проблемы современного американца — они были предназначены для того, чтобы решать повседневные проблемы наших предков охотников-собираателей. Эти приоритеты каменного века произвели мозг, более подходящий для решения одних проблем, чем других. Например, для нас легче иметь дело с маленькими по размеру группами охотников-собираателей, чем с тысячными толпами, легче научиться бояться змей, чем электропроводки, хотя электропроводка в большинстве американских населенных пунктов представляет большую угрозу, чем змеи. Во многих случаях наш мозг *успешнее* в решении ряда проблем, с которыми наши предки сталкивались в африканских саваннах, чем с теми, с которыми мы сталкиваемся в классной комнате или современном городе. Высказывание, что наши современные черепа населяет ум каменного века, не означает предположения, что наши умы неученые. Совершенно напротив: они — высокоученые компьютеры, схемы которых элегантно сконструированы для того, чтобы решать проблемы, с которыми повседневно сталкивались наши предки»<sup>9</sup>.

Высказанная с бихевиористской прямолинейностью идея американских исследователей оставляет в стороне вопрос о том, как сам первобытный охотник справлялся с хитросплетениями своей, не такой отчужденной и технизированной, как наша, но все-таки весьма слож-

<sup>8</sup> См. *Tooby, J. & Cosmides, L. The psychological foundations of culture // Barkow J.H., Cosmides L. & Tooby J. The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford, 1992; Cosmides, L. & Tooby, J. Evolutionary psychology. New perspectives on cognition and motivation // Annual Review of Psychology. 2013. No 64. P. 117–132.*

<sup>9</sup> *Cosmides L. & Tooby J. Evolutionary Psychology: A Primer. URL: <http://www.ucsb.edu/primer>, 1997. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.*

ной человеческой цивилизации. Тема ужаса истории им не чужда, но в их схеме отсутствует директория рефлексивного опыта, которая и позволяет человеку регулировать свое самочувствие в потоках времени. Разумеется, то, что входит в контур действий, регулирующих контакты организма со средой, действительно составляет набор общечеловеческих свойств. Но только его часть. Американские исследователи готовы наблюдать, как рецептура элементарных решений применяется к сложнейшим реалиям современности. Отсюда напрашиваются ламентации о первобытном существе, копошащемся под грудой культурных хитросплетений, которые как-то сплелись и умножились на его голову. Однако остается ответить на вопрос: как же простейшее существо создало сложнейшую цивилизацию? Неужели, наподобие паучихи, выделяющей из железы паутину? Этот образ, хоть и метафорическим манером, низводит нас по эволюционной лестнице еще ниже нижнего палеолита. Он апеллирует к инстинкту, хотя бы и с эпитетом «социальный». Застопорившийся морфогенез влечет за собой и остановку психогенеза. Сформировавшийся мозг сапиенса фиксирует в себе структуры неизменного сапиентного ума. Такой подход противоречит психокультурному историзму, который рассматривает психологию и культуру во взаимопорождении. Сапиентный психотип не сводится только к минималистской схеме «ума». Резонно включить в него и сложные рефлексивные диспозиции, которые действуют на разных площадках и уровнях культуры, но действуют постоянно. Они образуют символическую среду, связывающую нас с предками в качестве существ, наделенных смыслами и ценностями, т. е. в качестве личностей. Эти диспозиции так или иначе выводят к нашему персоналистическому холизму, по-разному называемому Я, самостью, сознанием, который исключается бихевиоризмом из адаптивного набора как ненужный антигомеостатический рудимент картезианского дуализма в современной позитивной науке.

Теперь уместно обратиться к этнографическим примерам, к современным охотникам-собираателям, ведь поздний палеолит кое-где сохранился на планете в XX и даже начале XXI в. Я буду привлекать материал в той степени, в какой это возможно в ограниченных рамках статьи и в какой он послужит обсуждению темпорального примитива. Бесписьменные языки, лишённые грамматических категорий времени — излюбленный предмет этнолингвистики. Аборигены Австралии стали своего рода полигоном для отработки историогенеза понятий пространства и времени. Эта тема освещена в классическом труде Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни, тотемическая система в Австралии». Но основатель французской социологической школы выводит категории познания из организации первобытных кланов, опуская собственно опыт индивидов. Другой хресто-

матийный пример — гипотеза лингвистической относительности Э. Сепира — Б.А. Уорфа — построена на материале языка индейцев хопи, в котором нет обозначений прошлого и будущего. Правда, хопи не охотники и не собиратели, а оседлые земледельцы.

Я обращусь к менее известным изысканиям, которые в советские времена считались крайне одиозными и упоминались разве что в плане критики. Католический священник В. Шмидт в начале прошлого века посвятил себя поиску наидревнейших и примитивнейших племен Земли и этнографическим описаниям их культур. Патер Шмидт был миссионером особого склада. Наряду с непоколебимой верой в истину Библии он обладал талантами выдающегося исследователя и был прекрасным организатором. Папский престол с восторгом поддержал изыскания венского священника. В джунгли Малакки, в дождевые леса Конго, в буши Южной Африки отправлялись экспедиции, предводительствуемые братьями Шмидта по Обществу божественного слова. Одними из первых среди европейцев они добрались до пигмеев Итури, обследовали негритосов Юго-Восточной Азии и огнеземельцев Южной Америки. Собранные данные Шмидт клал в основу своего учения о прамонотеизме, изначальной религии единого Бога. Эрудиция патера подавляла, и, кроме того, у него обнаружилась способность к построению всеобъемлющей теории. Пик деятельности венской школы приходится на десятилетия перед Второй мировой войной, время тяжелое для Европы. В Германии воцарилась доктрина расового превосходства арийцев. Отметим, насколько выгодно сравнительно с ней выглядит прамонотеизм венской школы. Идеологи рейха считали неарийские народы мусором истории. В этом странно и неожиданно им поспособствовал эволюционизм. Конечно, он не призывал к уничтожению «расово неполноценных» людей и народов, но рекомендовал выдерживать их в рамках, соответствующих темпам эволюционного развития. На другом идеологическом полюсе советская культурно-историческая теория предлагала доразвить примитивные народы до современности быстрыми революционными темпами. У пастора Шмидта подобных идей нет и в помине. Низкорослые обитатели джунглей и буша, которых эволюционисты иногда ставили между обезьянами и человеком, для католического священника — несомненные люди. Более того, они будут лучше развитых, современных европейцев по своим личным качествам, потому что правильно понимают Бога, хотя и не знают еще подлинного его имени. Вера их бесхитростна, наивна, но истинна, не замутнена демоническими выдумками магии, тотемизма, фетишизма. Они верят в единого создателя мира, чисты душой, беззлобны и бесхитростны.

Посредством исторического метода патер хотел бы создать что-то вроде духовной археологии, преобразовав культурные круги (поня-

тие, заимствованное из этнологии Л. Фробениуса и Ф. Гребнера) в культурные слои. Это необходимо для науки, «..потому что в нынешнее состояние культуры включены и еще работают века и тысячелетия, так что невозможно знать настоящее, не познавая самым тщательным анализом, чем было прошлое»<sup>10</sup>. Духовная археология, давая срез культурных слоев, имеет ориентиром пракультуру, ещё располагающую в глухих уголках планеты своими представителями.

Будучи выдающимся знатоком первобытных языков, Шмидт, конечно, был прекрасно осведомлен об их безразличии к абстрактному времени и его периодизациям. Но это не может являться в глазах патера изъяном, так как распространение таких классификаций как раз и служит признаком падения в историю, что для верующего переводится как грехопадение. Теория прамонотеизма не связана принципом развития, наоборот, движение цивилизации от пракультуры для нее — утрата и забвение первичного состояния, которое в Библии называется райским. Современный человек, по уму, увы, — не палеолитический охотник-собиратель. Его ум соткан из предрассудков, сквозь которые с трудом пробивается исходное отношение к вечности.

Комплексные исследования экономики охотников-собирателей, начатые западной наукой с 1960-х гг., довольно быстро выяснили, что она далека от балансирования на грани выживания и в обычных условиях обеспечивает достаток без непрерывного изнурительного труда. «Охотничьи и собирательские народы мира — эскимосы, австралийские аборигены, африканские бушмены и подобные группы — представляют древнейшую и, возможно, наиболее успешную человеческую адаптацию»<sup>11</sup>, — пишет авторитетный представитель указанного направления. В нашем случае существенно установить, что такой образ жизни оставляет достаточно много времени для неадаптивной культурно-символической деятельности. Обеспечение пропитания занимает у бушменов 3—4 часа в день. Столько же и больше они тратят на свое главное культурное времяпровождение — коллективные пляски.

Оставляя в стороне руссоизм, движение зеленых, христианский теизм и другие идеологические течения, питающиеся от изучения первобытности, отмечу, что духовная археология В. Шмидта профессионально рассматривала рефлексивные структуры доисторического сознания в тот период, когда этнография могла уделить им внимание мимоходом, на полях своих эволюционно-исторических построений.

<sup>10</sup> *Schmidt W.* The Origin and Growth of Religion. London, 1935.

<sup>11</sup> *Lee R.* Foreword // Limited wants, limited means. A reader on Hunter-Gutherer Economics and the Environment. Washington, 1998. P. IX.

Польский лингвист Р. Стопа придумал теорию, выводящую язык бушменов из звуковой сигнализации шимпанзе. Он спорил с утверждением Ж.П. Сартра, что язык самых примитивных бушменов так же символически развит, как язык современного француза. С фактами в руках лингвист опровергал знаменитого экзистенциалиста, речи обитателей Калахари не знавшего.

Дело не только в пресловутом шелканье. Физиологически и фонематически простейшим из гласных звуков является а(е). У шимпанзе он звучит в 50% их коммуникативных вокализмов. Р. Стопа обнаружил примерно такое же (47%) присутствие звука в наиболее употребительных лексемах койсанской речи. Указанные звуки вокализуют непосредственные экспрессивные состояния, они являются эмоциональными реакциями в определенных ситуациях, которые у шимпанзе и охотников-собирателей примерно сходны. Восклицания непосредственно, спонтанно, но звуки воспринимаются другими как сигналы. «И становясь экспрессивными паттернами соответственных ситуаций, они начинали функционировать как коммуникативные знаки речи»<sup>12</sup>.

Живая жестикуляция — наиболее отличительная черта бушменской коммуникации. «Жесты выступают у бушменов не как стилистическое средство, но как интеграл коммуникации»<sup>13</sup>. Многие высказывания бушменов просто непонятны без жестикуляции.

Прилагательных и наречий нет, как и форм времени, которые заменены обозначениями пространства, причем, ориентация иногда дается жестом, а не словом.

Главный морфологический механизм — «двойное слово», очень несложный метод, который ведет к простой структуре предложения, где применяются противопоставление, а не соподчинения. В некоторых койсанских диалектах отсутствует род. Различие между первым и вторым лицом иногда выражается тоном. Высокий тон выражает близость, доступность для говорящего, низкий — удаленность и недоступность.

Весьма умножившиеся в последние десятилетия исследования этнографических сообществ сан вносят изменения в трактовку их вербальной коммуникации. Однако и при самом модернизирующем подходе койсанские языки в структурно-лингвистическом разборе представляются упрощенным прообразом полных грамматических систем. Другое дело, если брать бушменскую речь в ее живом контексте и в связи с другими составляющими аборигенной культуры.

<sup>12</sup> *Stopa R.* Structure of Bushman and its Traces in Indo-European. Wrocław, 1972. P. 36.

<sup>13</sup> *Op. cit.* P. 65.

Приведу впечатления современного западного исследователя: «Собиратели, понятно, не имеют письменной традиции, а только устную. Это так, тем не менее, устный дискурс собирателей не соотносится прямо с нашим пониманием языка.... Нынешние сан, или бушмены, Южной Африки, чьи предки создали наскальное искусство, имеют язык, беспрецедентный по своей сложности. Использование тона, регистра, одного-пяти щелкающих звуков дает им возможность не только очень точно обозначать слова, объекты и т. д., но так же точно выражать тона, текстуры, предчувствия и двусмысленные смысловые поля. В этом отношении сан приближаются к тому, что Витгенштейн называл невысказываемым, или трансцендентным, к чему наш язык уже почти неспособен»<sup>14</sup>.

Чувствуется, что западный автор теряется в подборе слов для описания человеческих звуков, как будто пришедших из каменного века. Улавливая в щелкающей речи трансцендентные интенции, он объединяет себя с братьями по общечеловеческому разуму, которые вообще-то по историческому возрасту — братья наши старшие.

Отлет к трансценденции от предельно конкретного сообщения соответствует дихотомии профанного-сакрального, выделенной Э. Дюркгеймом как исходный признак религии. Охотники-собиратели не создают периодизаций эпох, хотя, как все люди, ориентируются в последовательности событий и определяют моменты времени для проведения обрядов, хозяйственной деятельности и других событий социальной жизни. Л.Н. Гумилев относит их способ времяисчисления к фенологическому календарю<sup>15</sup>, хотя, строго говоря, устоявшейся шкалы нет. Моменты событий, продолжительности, интервалы определяются конкретно и по случаю, на основе некоторых индикаторов среды. К тому, что человек европейской современности называет временем, туземец равнодушен. Возраст, год, время года, месяц, часы его не интересуют. Главным и, по существу, единственным прообразом эпохи в его культуре является время предков, противопоставляемое обыденной жизни. Хорошо изученное на примере австралийских аборигенов, оно может обозначать сон, историю о предках и всякую выдумку. У племени валбири словом «джугурба» называется все, что выходит за пределы непосредственной, наблюдаемой жизни людей. Парный термин «йидьяру» относится к миру живущих и к их текущим обстоятельствам. «Джугурба — категория, относящаяся к особому способу включения субъекта, который существует в йидьяру, термин,

<sup>14</sup> *Ouzman S.* Towards of mindscape of landscape: rock-art as expression of world-understanding // Chippindale Ch., Taçon P. (eds). The Archaeology of Rock-Art. Cambridge, 2002. P. 30.

<sup>15</sup> *Гумилев Л.Н.* Этнос и категория времени // Доклады Географического общества СССР. 1970. Вып. 15. С. 143–157.

обозначающий актуальность, или правду, реальность бодрствования и текущее настоящее...»<sup>16</sup>. Не углубляясь в семантические нюансы, можно констатировать древнейшее представление об эпохе, которое прямо вытекает из непосредственного опыта. Настоящее противопоставлено тому, что настоящим не является. Полюс ненастоящего синкретически совмещает прошлое и будущее, ведь время предков хоть и прошло, еще будет возвращаться в ритуале. Связь между зачаточной социальной шкалой времени и дифференциацией личного опыта несомненна. Мифология австралийских аборигенов пополнялась за счет сновидений в буквальном значении слова. Пробудившись, люди рассказывают, что они видели во сне и после обсуждения включают некоторые сюжеты в рассказы о предках. Темпоральный примитив — отделение настоящего момента Я от его прошлого и будущего — здесь равноценен способу существования сознания.

Человеческая психика гетерохронна. Можно сказать, что ее принцип — не здесь и теперь, а здесь и там<sup>17</sup>. Человек не может надолго оставаться мыслями там, где он находится. От своего телесного и социального здесь-присутствия он совершает постоянные путешествия в свое там-присутствие; сознание соткано из воспоминаний, раздумий, предчувствий, планов и надежд. Мозаика текущих впечатлений и действий покоится на основе дальнего целеполагания, которое в своих предельных ориентирах выходит за край отмеренного человеку срока. Сознание стереоскопично, оно сразу создает картину того, что есть, было и будет и в таком качестве существует как сознание. Оно сохраняется в своих перемещениях непространственно, темпорально, но логика объективации преобразует время в порядок мест. Это противоречие действует, как в эпической мысли, так и современной науке. В первых «настоящих» периодизациях время отчуждается в последовательности эпох, но воссоединяется в личности эпического певца-исполнителя, в науке оно заменяется хронометрией, что иногда приводит к выводу о ненужности временного измерения для объективного познания.

### Эпос и наука в борьбе со временем

Древнейшие мифологии показывают нам, что жители разных «времен» обитают вместе, хотя, конечно, их общение затруднено и обиталище поделено перегородами. В политеизме между верующим и божеством еще не существует абсолютного трансцендентного разрыва, как в монотеистических религиях. Люди и боги существуют

<sup>16</sup> Munn N.D. *Walbiri Iconography. Graphic Representation and Cultural Symbolism in a Central Australian Society*. Ithaca, 1973. P. 115.

<sup>17</sup> См.: Шкуратов В.А. Историческая психология. Изд. 2-е. М., 1997.

в едином объяснительно-повествовательном пространстве; такую картину дает древнегреческий эпос Гомера и Гесиода. В поэме последнего «Труды и дни» выделены пять веков человечества — золотой, серебряный, век героев, бронзовый и железный.

Люди первого поколения богоравны, не знают болезней и уходят из жизни, как засыпают. Они превращены богами в добрых демонов — покровителей людей. Люди следующего, серебряного, века недалеки, ребячливы, горды и не почитают богов. За это они удалены с лица земли и стали жителями подземного мира. Жители медного века, могучие и воинственные, перебили друг друга в сражениях. Упоминание об их местонахождении в поэме Гесиода отсутствует. Далее идет поколение полубогов-героев. Они погибли в Фиванской, Троянской и других войнах. Им позволено обитать на краю земли, на блаженных островах. Теперешнее поколение — железный век. Жить им плохо, а будет еще хуже. Когда землю покинут совесть и стыд, дети начнут рождаться седыми — тогда придет конец этому поколению.

Проблема времени для мифопоэтической мысли не в том, что все проходит, а в том, что сообщение между разными частями сущего затрудняется, перестает быть простым и непосредственным для каждого его обитателя, мир из простого и ясного становится двусмысленным и запутанным. Поколение героев еще имеет с богами и сказочными существами общее, эпическое пространство. Мир, нарисованный в «Илиаде» и «Одиссее», качественно единообразен, небесная и земная его части сообщаются, рождаются между собой. Но это пространство быстро перегораживается барьерами. Герой «Илиады» и «Одиссеи», мудрый Нестор, успел поцарствовать над тремя поколениями. В юности он чуть не пал от руки Геракла, сражался против кентавров и участвовал в походе аргонавтов. Увидев под Троей гибель греческих героев, он возвратился домой, где подрастает уже четвертое поколение.

«При устойчивом единообразии мира не удивительна и реализованная возможность перехода одного предметно-чувственного, сущностного состояния в другое. В век первого, по Нестору, поколения героев такой переход представлялся естественным. Ниоба, родная бабка Агамемнона, дочь Тантала, внучка Зевса, вместе со всем народом, свидетелем ее богоборчества, была обращена в камень...

Нечто подобное, но уже воспринятое как «великое знамение»... случилось и на глазах уже третьего поколения, в Авлиде. Когда, на глазах у ахейского ополчения, готового к отплытию под Тройю: дракон, разорив воробьиное гнездо, пожрав 8 птенцов и воробьюху-мать (число лет осады Трои), обратился в камень (на десятый год Троя будет взята).

Но чудеса сходят на нет, и в последующее десятилетие осады Илиона не повторяются вовсе, если, конечно, не принимать в расчет божественную способность олимпийцев менять свой облик...

В свою очередь для поколения «Одиссеи», подобная размытость границ вещных переходов (исключение — божественные превращения) предстает уже неким нелепым анахронизмом...»<sup>18</sup>.

Возможно, что сам рисунок межпоколенных отношений вызван изменениями в поэтике эпоса от «Илиады» к «Одиссее» и от Гомера к Гесиоду. Разрастание внутрионтологических барьеров (просто онтологическим они так и не стали) сопровождается затруднениями в понимании происходящего и в увеличении страдательности (и статусной, и рефлексивной) для персонажа. Лишенный возможности прямо обратиться к источнику — богу, он прибегает к знамениям и толкованиям, но редко удовлетворяется ими и склонен сомневаться в справедливости судьбы.

Гесиодовские поколения уходят в прошлое не так, как современные люди. Просто они расселяются по разным местам. Первое поколение боги оставляют там, где оно жило. Героев — на теплую окраину. Строптивых и безбожных — под землю. В исследовании Ж.П. Верна показано, что эпохи у Гесиода соподчинены пространственно, как труднодоступные территории. Большинство людей не могут преодолеть барьер времени. Однако это под силу специалисту, певцу эпических преданий. Он становится посредником между нынешним поколением, изолированным в своем времени — обитании, и его предшественниками. Когда сказитель повествует о прошлом, то как бы отправляется в путешествие туда, чтобы увидеть его обитателей и рассказать о них своим слушателям. «Мы покинули наш человеческий мир, чтобы открыть позади него другие области сущего, другие космические уровни, обычно непостижимые: ниже — подземный мир и все, кто его населяет, выше — мир олимпийских богов. Прошлое есть интегральная часть Космоса, исследовать его — значит открыть то, что скрыто в глубинах бытия... Привилегия, которой наделяет Мнемозина аэда — в возможности контакта с другим миром, возможности войти в него и свободно возвращаться назад. Прошлое представляется измерением потустороннего мира»<sup>19</sup>.

Сказитель еще способен преодолеть отчуждение времен от естества человека, воссоединив их в себе непосредственным образом. Поэт в XX в. уже так не может. Он должен прибегать к уловкам, чтобы сохранить время как собственное Я мимо работающих на производство эпох идеологий и науки, для которой личный опыт становится помехой в хроноизмерениях.

<sup>18</sup> Шмаль И.В. «Одиссея» — героическая поэма странствий. М., 1978. С. 13.

<sup>19</sup> Vernant J.-P. Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique. Paris, 1971. P. 58.

Теперь перейду к науке. Набором счетных календарно-хронометрических единиц умеет пользоваться всякий нормальный взрослый человек. Но... Наука о пространстве, геометрия, стара как цивилизация, а кто слышал про науку о времени? Если допустить, что таковой является хронометрия, то возникают вопросы, почему она так раздроблена, привязана к техническим процедурам и специальным областям знания, не обзавелась столь мощной теоретической опорой и таким исследовательским аппаратом, как искусство измерения площадей? Я не имею возможности предпринять сопоставление наук о пространстве и времени и ограничусь несколькими предположениями в развитие темы статьи.

Во-первых, замеры пространства имели более непосредственный практический интерес и требовали большей точности, чем замеры времени. Не забудем, что главным социальным заказом ранней геометрии было измерение земли. В обществе, где земля служит основным богатством, вокруг её переделов кипели бесконечные тяжбы, и к исчислению площадей предъявлялись повышенные стандарты достоверности, очевидности, проверяемости. Исчисление же сроков не требовало такой рациональности и столь выверенной эмпирической шкалы.

Во-вторых, приоритет геометрии как агента рационализации закреплён наглядностью ее объекта и «дневным» характером ее психоментальных инструментов — экстероцепции, предметных действий, логических рассуждений.

Исчисление сроков осуществляется над процессуальностями и происходит в текучих субстратах. В их числе — ощущения человеком своего тела, «темное» органическое чувство, интероцепция, динамика эмоциональных состояний.

В-третьих, пространство инсталлировано в мир как его видимое профанное измерение, время как «невидимое» — в качестве конструкта мифологических, религиозных, художественных и других систем, охватывающих и опекающих «сокровенную сущность человека» — душу, индивидуальность, Я. Ближайшими подобиями времени в культуре считаются музыка, рассказ. Указанные эстетические формы обладают повышенной экспрессией, они издавна приспособлены к совершению ритуалов, обрядов, всяких внушающих воздействий. Профанная специализация пространства и сакральная времени относительноны, но весьма стойки в культуре. Если пространство участвует в сакральном в качестве символического пространства, оно должно преодолевать обыденность узнаваемых фактур, так или иначе апеллируя к отсутствующему, невидимому. Если время праксеологизируется, оно становится наглядным, индексированным временем циферблатов, табло, календарей, но это «внешнее время» не устраняет невидимой сути субстанции всех перемен.

Мои замечания относятся лишь к определенной линии оформления пространственно-временной дихотомии, в которой конструкт времени подвержен опространствливанию (спатиализации). Время как срок человеческой жизни и мерило ее событий имеет для личности первостепенный интерес. В древности искусство предсказаний охватывает и частную жизнь, и дела государственной важности. Римский полководец, не озаботившийся провести перед началом битвы установленные правилами гадания, совершал должностное преступление. Однако при широчайшей распространенности гадательные практики уклонялись от однозначности предсказаний, они уходили в тень метафорической расплывчатости и эзотерики.

Неопределенность будущего ставит предел рационализации времени. Аспекты устойчивости и повторяемости, отщепляемые от его своенравного потока, отходят к занятиям большей доказуемости и наглядности. Для описания мира в науке, начиная с древних греков, существуют три метаязыка: количественный формализованный (математический), качественный формализованный (философский) и качественный (гуманитарный). Хронометрия подверстывается к искусству исчислений, к физико-математическим наукам, где главную роль первоначально играет геометрия. Время представляется линией — прямой, а в древности — замкнутой, кругом. Собственно, единое понятие времени очень долго отсутствует. Ученые (геометры) говорят о хроносе, но в греческом языке имеется еще слово «кайрос», означающее важный, насыщенный смыслом момент жизни. Два словоупотребления использовались разобщенно, и связывать их не пытались.

Более того, в начале греческой философии возникает учение, подвергающее сомнению время как принцип объяснения природы. Основоположник подхода Парменид выступает с онтологическим тезисом о нерожденном мире, являющим собой геометрическую фигуру — шар. Бытие едино и неизменно, называть его в формах времени ложно:

«...нерождённым должно оно быть и негибнущим также,  
Целым, однородным, бездрожным и совершенным.  
И не «было» оно, и не «будет», раз ныне всё сразу  
«Есть», одно, сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья»<sup>20</sup>.

Парменидова идея едино-неподвижного бытия находится в конкуренции со знаменитым «все течет» его современника Гераклита. Заметим, что два мыслителя являются антагонистами не только по

<sup>20</sup> Парменид. О природе // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических космогоний до возникновения атомистики. М., 1989. Фр. 8, 2–6.

философским взглядам, но по стилистике их писаний, образу жизни, социальным позициям. Диалектические периоды Гераклита Темного тяготеют к эзотерике пророческих речений о судьбе мира. Парменид — человек светский, государственный, судя по диалогу Платона «Парменид» — искусный логик, и к мистике он никак не склонен. Его последователь Зенон, отрицая движение, показал, как можно рассуждать о вещах природы, используя пространственные меры и не используя кинематические. Путь стрелы в его апории разлагается на отрезки, время полета заменяется суммой пройденных расстояний. Элейская школа озадачила европейскую мысль первыми логическими парадоксами. Но в ее проблемах проглядывает и вполне утвердительная методологическая посылка. Апоории показывали, что знание о природе можно непротиворечиво строить и без введения координаты времени, что время, в сущности, создает помехи для строгого рассуждения. На защиту здравого смысла стал Аристотель, но ход его размышлений также ведет к парадоксам.

В современной науке попытки избавиться от времени нередки. К наиболее известным рефутациям времени относится статья Дж. Мак-Таггарта «Нереальность времени»<sup>21</sup>. Совсем недавно аргументацию своих предшественников со стороны физики и космологии развил П. Линдс<sup>22</sup>.

Два главных вкладчика в так и не построенную пока науку о времени, натурализм и экзистенциализм, полемически заостряют отдельные стороны сложного темпорального бытия. В первом случае последовательности и хроношкалы даны как бы сами по себе, «объективно», без человека; во втором — время растворено в его человеческом переживании. Существует и компромиссный подход, предложенный А. Бергсоном. Время коренится в природе, но целеустремленной и активной (творческая эволюция). Темпоральность разделяется на собственно время (качественное, длящееся) и квазивремя (количественное, измерительное), которое, на самом деле, пространство. Сведёние под рубрикой времени двух темпоральных видов, один из которых, на самом деле, лишь как бы время, не очень способствует прояснению сути дела. Путаница усугубляется тем, что как бы время, а на деле пространство, у Бергсона называется «время» (*le temps*), его же антипод, подлинное время, носит не очень удачное название длительности. Самопереживание-длительность и хроноизмерение-время представлены изолированно, между тем как стоило бы подумать о связи отдельных моментов темпорального явления.

<sup>21</sup> McTaggart J.M.E. The Unreality of Time // Mind. 1908. No 17.

<sup>22</sup> Lynds P. Time and Classical and Quantum Mechanics: Indeterminacy vs. Discontinuity Foundations of Physics Letters? 2003. Vol. 16. Issue 4.



### Вместо заключения

Этот параграф можно было бы поместить и в начало статьи, потому что в нем содержатся не выводы, а положения к анализу связи между микро- и макроуровнями истории. Надеюсь, они станут более обоснованными после экскурса в состояние проблемы. На соответствии большой истории человечества и малой человека основаны взаимодействия социально-исторических и антропсихологических наук. Однако сама однотипность планов макро- и микро- обычно берется как данность, а если объясняется, то в однонаправленных схемах интериоризации индивидами социальных представлений или, наоборот, создания ими таковых. Аналогом нашей проблемы в природе может служить рекапитуляция, т. е. быстрое повторение эмбрионом предковой морфологии. Но применение биогенетического закона в психологии едва ли можно назвать успешным. Возможно, потому, что оно не дошло до «генетического» уровня. Я взял слово в кавычки, потому что совсем не имею в виду биологической молекулярной передачи наследственности. Моя цель состояла в том, чтобы показать «темпоральный примитив», т. е. воспроизводство опыта в модальностях прошлого-настоящего-будущего, как своего рода генетический уровень историогенеза. Ученые, работающие внутри больших машин воспроизводства социальной наследственности, разумеется, более отдалены от него, чем поэты, передающие оттенки феноменологического Я в словах. Однако исторические обобщения из-за близости к естественному языку и нарративному складу историографического изложения все равно сохраняют связь с этими исходными разделениями жизни. Так, современность — темпоральная форма, и, как бы ее ни насыщали социальным, политическим, культурным и т. д. содержанием, она остается подобием человеческого теперь, противопоставленного прошлому и будущему.

Преобладающая практика периодизации состоит в том, что эпоха определяется некоторыми содержательными критериями, которые мы ей приписываем. Я же стремлюсь действовать по-другому. Моя цель состоит в том, чтобы показать темпоральную конструкцию вполне формально, но с такой подробностью составляющих ее элементов, чтобы содержание как бы генерировалось этими элементами. Темпоральный примитив — тот уровень антропокультурной репликации, который наподобие генного механизма воспроизводит человеческое Я и в локальном контексте его индивидуальной жизни, и в общечеловеческой судьбе. Иначе говоря, он является инвариантом, соединяющим малую историю человека и большую историю человека. Его описание будет продолжением попыток построить историческую психологию — науку о психологическом микрокосме человека в большой истории.

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ И ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

## ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ

*Н.В. Иллерицкая*

Российский государственный гуманитарный университет  
г. Москва

*Аннотация.* В статье показывается, что между объектами исследования истории и политологии существует давняя и глубинная связь через политическую историю, которая всегда представляла собой центральное направление исторических изысканий. Поэтому теоретические и методологические наработки исторической науки могут быть заимствованы политологами для совершенствования методологических и теоретических оснований собственно политологических исследований.

**Ключевые слова:** история, политическая история, политология, методология, конструирование, информационная теория источника.

Историческое познание развивалось в тесном взаимодействии с другими социальными науками, постоянные контакты с которыми модифицировали облик истории, дали ей возможность проникнуть в новые области знания, применить инновационные исследовательские методики. Благодаря такому взаимопроникновению история всегда соответствует своему времени, т.е. несет в себе все основные научные парадигмы эпохи. Совершенно очевидно поэтому, что наиболее плотные контакты сложились у исторического знания с социальными науками, занимающимися современностью, и в первую очередь с политологией через их общее основание — политическую историю и историографию. Взаимодействие проявляется в единстве предметов и методов исследования. Наиболее ярким проявлением связи истории и политологии стало первенствующее положение, которое в исторической тематике заняли политические сюжеты.

В Новое время история в конструировании образа прошлого оказалась генетически связанной прежде всего с политическими процессами, поскольку выполняла функцию обществоведения и добывала знания для настоящего, а стало быть и участвовала в решении проблем современности.

Однако уже в XIX в. отношения между социальной теорией и политической историей радикально изменились: в период, когда история только становилась наукой, настоящее с его идеологическими и социально-политическими факторами играло для исторического дискурса решающую роль. В историографии утвердился вариант политических исследований, в которых обосновывалась положительная роль государства и власти. Изменился и баланс между социальными и политическими компонентами: политическая история стала бесспорным лидером историографии, при этом власть настоящего момента являлась определяющей для трудов историков<sup>1</sup>.

Подъем политической науки во второй половине XIX в. объясняется в первую очередь политическими факторами, такими как становление национальных государств, оформление национального самосознания и актуализация национализма. Политическая теория стала одним из первых элементов в фундаменте историзма, что позволило разработать его современные принципы: проблемы традиции и преемственности как фактор стабильного развития государства и нации. Политическая доминанта в исторической темпоральности привела к тому, что именно политические события определяли связь времен. Представления из сферы политической теории сконструировали формы исторического детерминизма, такие как причинно-следственные связи.

Свое классическое выражение политическая история обрела в немецкой исторической школе XIX в. Высокий статус «политики» и «государства» привлек внимание историков к новым историко-государственным документам.

В XX в. начинается постепенное изменение положения политической истории в интеллектуальном пространстве. В 1960-е гг. политическую историю столь же категорично относили к самой теоретически отсталой отрасли исторического знания, в то время как век назад считали самой передовой.

К 70-м гг. XX в. потребуется полное методологическое переосмысление политической истории: применение методов социального анализа и исторической антропологии для того, чтобы политическая история смогла присоединиться к «новым» субдисциплинам. В результате в конце 1980-х гг. внимание историков вновь привлекут механизмы

<sup>1</sup> Подробнее см.: Савельева И.М., Поletaев А.В. История и время: в поисках утраченного. М., 1997. С. 97–99.

власти, но уже на новых основаниях<sup>2</sup>. В политической истории появились совершенно новые направления: политический символизм, политическая ментальность, политические компоненты в истории культуры и религии, политическая историография и микрополитология в истории. Микроанализ в политической истории оказался связан с применением социологических моделей, например, с изучением феномена коммуникации.

Таким образом, между политической историей и политологией просматривается теснейшая связь: политология существует в историческом пространстве и только в историческом измерении приобретает смысл ее аргументы. Политологи активно используют эмпирические данные, добытые и сконструированные историками, поэтому корректность этой взаимосвязи и взаимообогащения приобретает особую актуальность. Для истории и политологии характерна редкостная общность в обоюдных нарушениях условной границы между прошлым и настоящим. При этом историки активно рефлексируют проблему презентизма, осознают неизбежность его присутствия при формировании образа прошлого, ищут пути минимизации негативного воздействия презентизма на историческое конструирование.

Для политологов проблема презентизма гораздо более насущна, чем для историков. Однако политологи, как представляется, вплотную осмыслением плюсов и минусов презентизма для своей науки не занимаются. А если какая-либо наука не предпринимает теоретических усилий по осмыслению собственных методов познания, то ее данные и выводы, а тем более прогнозы не могут претендовать на научную значимость. Со своей стороны считаю возможным подчеркнуть, что все достоинства и недостатки презентизма, характерные для исторического знания, полностью экстраполируются и на политологию, но у последней возникают и свои собственные трудности.

Осознание пристрастности и политизированности истории стало отличительной чертой историографии Нового времени, когда было признано, что по мере дистанцирования и в соответствии с требованиями настоящего изменяется и прошлая социальная реальность: прошлое в ретроспективе интерпретировалось по-разному и становилось порождением настоящего. Стало очевидным, что способы членения прошлого, настоящего и будущего определялись не одним выбором познавательных методов, но и идейно-политическими взглядами и пристрастиями исследователя.

В этом контексте конфигурация исторической концепции Нового времени приобрела свои особенности: история была прогрессивна, а это означало, что для исследователя и, естественно и обязательно

<sup>2</sup> См.: Дюби Ж. Развитие исторической науки во Франции после 1950 г. // Одиссей: Человек в истории. [1991]. М., 1992. С. 57.

было занимать определенную партийную позицию, дающую возможность действовать политически и, соответственно, отстаивать интересы определенных социальных групп. Однако историки-современники, даже строго соблюдая эти принципы, в результате создавали разную историю, в которой всегда присутствовал идеологический подтекст. Так на первом месте оказалась партийная, идеологизированная история. Приоритет настоящего актуализировал создание национальных историй и идеологических направлений, что еще больше сблизило историю и политологию.

Все идеологии, как известно, имеют свою картину социальной реальности и активно используют ее и как идеал, и как источник аргументации. Представители самых разных идеологических концепций полагают, что социальная реальность может быть изменена, если целенаправленно воздействовать на сознание общества и соответственно манипулировать политической активностью различных страт. И хотя все идеологии — либеральная, консервативная, социалистическая — признают неизбежность социальных изменений, но они по-разному оценивают их желательность, темпы и способы.

На идеологическую составляющую социальной реальности огромное влияние оказывает соответствующее представление о настоящем и будущем. Достижение искомого социального идеала предполагает необходимость движения в будущее. В такой интерпретации социальных целей политическая деятельность конструируется как конфликт. Поэтому идеологически предначертанное будущее становится основой для постоянной смены интерпретаций прошлого для историка и политолога.

Однако в последнее десятилетие XX в. в связи с постмодернистским смешением времен очевидно ослабевает значение классических форм идеологии в конструировании социальной реальности, в результате чего будущее уже не рассматривается как линейное прогрессивное развитие в исторической перспективе. Будущее стало чем-то непрограммируемым для всегда изменяющейся реальности.

В 1960-х гг. изучение будущего приобрело форму «философии будущего», которую пытались противопоставить идеологии. Прогнозы, особенно политические, стали весьма почетным занятием. В начале 1980-х гг. они получили значительное распространение на Западе в виде «науки о будущем», которая тщила монополизировать прогностические функции всех научных дисциплин<sup>3</sup>. Однако в условиях постмодернизма была сознательно утрачена способность видеть будущее в контексте историзма. Такие исторические понятия, как

<sup>3</sup> Подробнее см.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: в 2-х т. Т. 2. Образы прошлого. СПб., 2006. С. 362–363.

«необходимость», которые доминировали в эпоху прогресса, стали заменяться психологическими терминами «выбор» или «сценарий», что означало переход от века прогрессизма к постмодерности.

Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что постмодернистские новации не принесли желаемых результатов: утрата исторической ретроспективы и перспективы оказалась совершенно пагубной для любого прогнозирования, а для политического особенно. Ни оптимистические, ни алармистские прогнозы не сбылись: в мире сложились совершенно неожиданные для прогнозистов геополитические конфигурации. Это еще раз подчеркнуло ущербность для социальных наук любых попыток уклониться от власти исторического контекста.

Презентизм жестко постулирует представление о том, что прошлая социальная реальность (т.е. история) не может быть «реконструирована», ее можно только заново сконструировать. Это создавало трудности для историков, поскольку в рамках презентизма, в противоположность позитивистскому подходу, история рассматривается не как познание прошлой объективной реальности, а как мысленная картина, создаваемая в настоящем и становящаяся частью настоящего, ибо реально только настоящее. Иными словами «прошлое... возникает лишь в силу того, что к нему обращаются»<sup>4</sup>. Б. Кроче, один из первых последовательных теоретиков презентизма, трактовал историю как органическую связь прошлого и настоящего. По его мнению, индивид, творящий историю, стремится «пережить и переосмыслить прошлое в настоящем»<sup>5</sup>. Неаполитанский философ определял свои теоретические позиции как «абсолютный историзм», одним из постулатов которого стал тезис о современности истории: всякая подлинная история всегда современна, поскольку мы «познаем ту историю, которую важно знать в данный момент»<sup>6</sup>.

Тогда встает вопрос: где же проходит водораздел между прошлым и настоящим и чем исторические исследования отличаются от политической аналитики. Такая интерпретация воспринималась как угроза для исторических исследований, но оказалась весьма плодотворной для политологии. В 1960-е гг. активизировалась дискуссия о современности и современной истории. Именно в это время исследователи начали говорить об изменении отношения к настоящему, реализацией чего стала «история современности».

«Время историка» весьма специфично: историческое исследование всегда представляет собой синтез прошлого и настоящего. Какое бы событие ни интересовало историка, он хорошо представляет себе, что

<sup>4</sup> *Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004 [1992]. С. 31.

<sup>5</sup> *Кроче Б.* Теория и история историографии. М., 1998. С. 9.

<sup>6</sup> Там же. С. 10.

было до него и какие наступили последствия. Часто с течением времени пределы осведомленности о событии прошлого расширяются, особенно в связи со знанием последствий. В любом случае эти изменения меняют и интерпретацию событий.

Современник обладает некоторыми преимуществами перед исследователем прошлого — он является очевидцем событий. Перед историком стоит задача изучения отсутствующего предмета. Даже самый изощренный исследователь не может полностью погрузиться в атмосферу описываемого прошлого. Кроме этого, всегда возникают проблемы с идеологическим подтекстом, неустранимо присутствующим в любом тексте. Но во всех случаях преимущества историка перед современником столь велики, что перевешивают все сложности. В итоге историк всегда «умнее» современника: он видит прошлое вместе со всеми последствиями, ибо история уже свершилась. Преимуществом историка является и его профессионализм, разработанность источниковедческого, историографического и теоретико-методологического аппарата исторической науки. Все это позволяет историку понять прошлое.

У профессиональных историков, конструирующих прошлую социальную реальность и самостоятельно добывающих эмпирические данные, всегда есть ощущение дистанции и понимание уникальности любого исторического времени и события. Однако историк находится в настоящем. В связи с этим его интересы предопределяются насущными вызовами современности. Историкам никогда до конца не удавалось забыть о настоящем, даже тогда, когда их исследовательские интересы были очень далеки от настоящего. Эти обстоятельства смущали и смущают историков, потому что они понимают свою невольную ангажированность.

В определенном смысле презентизм следует рассматривать как стремление к «объективации» исторического знания, что сформулировал Б. Кроче, который считал, что презентистский подход дает возможность отвести сомнения «относительно правдоподобия и пользы истории. Может ли быть неправдоподобным то, что сейчас рождено нашим духом? Может ли быть бесполезным знание, разрешающее проблемы самой жизни?»<sup>7</sup>.

Однако одним из самых распространенных следствий презентистского подхода в науках политических, является понимание исторического прошлого как источника опыта. Причем к опыту политические науки обращаются в первую очередь при необходимости определения и оправдания политической линии и принятия политических решений.

<sup>7</sup> Там же. С. 11.

Презентистский подход инициирует использование исторического опыта и при конструировании будущего. При этом привлечение прошлого для обоснования будущего характерно не для текстов профессиональных историков (они благоразумно воздерживаются от прогнозов), а для публицистических и политологических дискурсов. Для политологов привычно прибегать к выстраиванию моделей прошлого, к которым якобы следует вернуться в периоды кризисов, когда общество оказывается в ситуации сложного политического выбора. Но это спекулятивная позиция, поскольку политологи не задаются вопросом, насколько в методологическом и эмпирическом плане репрезентативна та интеллектуальная конструкция, которую они определяют как исторический опыт и, следовательно, как социальный идеал.

Существует и более сложная модель презентистского обращения к прошлому: стремление придать обществу чувство уверенности. Именно эту цель и преследует «история современности», которая в последние десятилетия XX в. стала способом историзации настоящего. Интересами настоящего руководствуются и представители контрфактической истории, которая чрезвычайно активизируется, когда происходит переоценка недавнего прошлого. Но поисками альтернатив в прошлом, рассуждениями на тему «что было бы, если бы...» особенно увлекаются политические публицисты и политологи, историки соблазняются альтернативной историей редко и воспринимают ее как непрофессионализм. Современные историки сознательно стараются избегать переноса понятий и явлений настоящего в прошлое, стремятся показать уникальность тех или иных феноменов прошлого, что является своеобразной борьбой с негативом презентизма.

Одним из вредных последствий презентистского подхода следует считать поиски в прошлом тех следов, которые якобы должны напрямую привести к настоящему, того, что иначе определяют как ретроспективный метод. К этому методу обычно прибегают при конструировании национального прошлого в политической истории<sup>8</sup>.

Таковы следствия для социальных наук презентистского подхода, доминирующего в современной историографии. Однако основным итогом стало то, что исследователи уже согласились с тем, что современная интеллектуальная ситуация выводит за грань научности реконструкцию, оставляя нам только конструктивистский подход как к прошлому, так и к настоящему и будущему.

<sup>8</sup> Подробнее см.: *Савельева И.М., Полетаев А.В.* О пользе и вреде презентизма // «Цепь времен»: проблемы историографического сознания. М., 2005. С. 78–88.

Конструктивистский подход в отношении высказываний о прошлом сейчас весьма популярен среди профессиональных историков. Термин «конструктивизм» вошел в активное употребление в конце 70-х гг. XX в. для обозначения теоретических и методологических установок в гуманитарных науках, подчеркивающих роль социальных ценностей и познавательных мотивов в построении «картины мира» данной культуры<sup>9</sup>. Согласно методологическому принципу конструктивизма знания не содержатся непосредственно в «объективной действительности» и не извлекаются из нее «в ходе движения от относительной к абсолютной истине», а строятся (конструируются) познающим субъектом в виде различных моделей<sup>10</sup>. В этом плане конструктивизм стоит на позиции плюрализма или множественности истины.

Понятие «конструктивизм» не имеет четких смысловых границ. Это — отрицательная реакция на наивный реализм<sup>11</sup>. В рамках конструктивизма принято говорить не об истинности или ложности модели, а об ее соответствии или несоответствии научной картине мира.

История как наука обладает своими методами установления научной истины как результата согласия — в этом смысле история похожа на любую другую науку. Конечно, предмет истории ей непосредственно не дан, историку доступны лишь оставленные в настоящем следы прошлого. Но у историков есть профессиональные способы отсеять выдумки, предвзятые оценки и восстановить последовательность событий. Поэтому история способна дать достаточно взвешенную и адекватную картину прошлого<sup>12</sup>, другой вопрос — как понимать разрыв между тем, «как история делается», как она описывается историческими памятниками и документами, и тем, как она конструируется самими историками.

С этой точки зрения хотелось бы остановиться на проблеме информации, приобретающей в наше время огромное значение. В философии формируется мнение о необходимости объединения всего научного знания в единую систему, где каждая наука должна занять свою нишу в зависимости от особенностей передачи, хранения и переработки информации. Для историков проблема информации приобретает специфическое звучание: есть мнение, что необходимо создать «информационную версию» исторического источниковедения,

<sup>9</sup> Подробнее см.: *Петренко В.П.* Конструктивизм как новая парадигма в науках о человеке // Вопросы философии. 2011. № 6. С. 76.

<sup>10</sup> Там же. С. 77.

<sup>11</sup> Там же. С. 78.

<sup>12</sup> Подробнее см.: Знание о прошлом в современной культуре: материалы круглого стола // Вопросы философии. 2012. № 2. С. 7.

которая позволит включить исторические изыскания в контекст современных междисциплинарных исследований. И в этом направлении есть уже определенные наработки<sup>13</sup>.

Впервые о возможности приложения теории информации к историческим исследованиям еще в начале 1980-х годов высказался И.Д. Ковальченко, который предположил, что исторический источник — это прежде всего источник информации, а источниковедение — это отрасль исторической науки, занимающаяся извлечением и изучением информации, содержащейся в источнике<sup>14</sup>. Точка зрения И.Д. Ковальченко не нашла широкой поддержки среди историков, поскольку тогда принять естественно-научную теорию как методологическую основу исторических исследований было невозможно<sup>15</sup>.

Ситуация стала меняться в начале XXI в., когда в современной науке был провозглашен курс на интегративные исследования. Гуманитарные науки оказались в ситуации поиска общенаучных оснований для междисциплинарных исследований. Так, в качестве общенаучной методологии для исторического исследования оказалось возможным привлечь теорию информации, которая существенно видоизменяла основной объект исторического исследования<sup>16</sup>. Каждый исторический источник с точки зрения этой теории представлял собой источник информации. Ранее в качестве объекта рассматривался источник как носитель открытой информации, теперь же основным объектом изучения становится вся информация, в том числе скрыто присутствующая в источнике.

Информационная теория источника понимает исторический источник как систему, которая выглядит следующим образом: «информация — создатель информации — носитель информации». Историк в предложенной модели отсутствует. Но очень важно, что сторонники информационной теории источника задумались о месте историка, отчетливо понимая, что историк выступает и как интерпретатор прошлого и как создатель новой информации. Поэтому историк появляется в новой модели, связанной с историографическим источником (или историческим источником 2), в которой фиксируется интеллектуальный контекст историописания. Тогда формула «исторического

<sup>13</sup> Подробнее см.: *Хвостова А.К., Бородкин Л.И.* Роль информации в историческом прошлом // Роль информации в формировании и развитии социума в историческом прошлом. М., 2004. С. 5–8.

<sup>14</sup> Подробнее см.: *Ковальченко И.Д.* Исторический источник в свете теории об информации: к постановке проблемы // История СССР. 1982. № 3. С. 3–18.

<sup>15</sup> См.: *Можжаева Г.В.* Информация как историческая категория: к вопросу об информационном источниковедении // Роль информации в формировании и развитии социума в историческом прошлом. М., 2004. С. 63–64.

<sup>16</sup> Там же. С. 63–69.

источника 2» или историографического источника — носителя исторического знания выглядит следующим образом — «информация 1 — создатель источника — исторический источник 1 — информация 2 — историк — исторический источник 2»<sup>17</sup>. Для истории историописания предложенная модель историографического источника представляется наиболее плодотворной и должна быть востребована современными специалистами-историографами.

В политологии методологическая сторона науки разработана слабо, поэтому особенно страдает обоснование эмпирической стороны исследований. Нет нужды объяснять сколь необходима уверенность как самого исследователя, так и его оппонентов в достоверности фактов и данных, на которых базируются научные выводы исследования. Пока что политологи не особенно заботятся об обосновании репрезентативности эмпирической базы своих трудов, в связи с чем научность их выводов часто вызывает сомнение.

В этой ситуации для повышения научного уровня своих исследований политологам придется обратить внимание на разработку проблемы источников и тут им пригодится опыт исторической науки. Разумеется, у политологов нет необходимости столь углубленно погружаться в источниковедческие штудии, как это делают историки, однако наиболее современные разработки теоретического источниковедения будут полезны и для них. Имеется в виду информационная теория источника как междисциплинарное методологическое основание гуманитарного знания. Решение практических вопросов исследования информации требует особого внимания к проблеме осмысления роли информации в развитии социума.

В контексте такого подхода любой источник — это результат информационной деятельности, включающей отбор, накопление и переработку информации, ее хранение и передачу. В настоящее время все существующие классификации исторических источников с точки зрения теории информации представляют собой классификацию носителей информации по видам<sup>18</sup>; и навыками анализа видовой принадлежности источников с целью интерпретации их содержания политологам следовало бы овладеть профессионально. Тогда в поле зрения исследователей окажутся все необходимые им виды информации и информационные процессы в обществе. Выявление механизмов информации, источников и каналов ее распространения, определение роли информации в различных ситуациях дает возможность выявить информационную природу развития общества и определить ее результаты<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Там же. С. 67–68.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Там же. С. 77.

Поэтому именно информационное понимание источника продуктивно, с моей точки зрения, для политологии, вследствие чего заимствования из интеллектуального арсенала исторической науки вполне оправданы и даже необходимы. Поскольку сам политолог-исследователь выступает и как интерпретатор событий, и как создатель новой информации, то, на мой взгляд, для политологии должна быть востребована информационная модель источника 2 или историографического источника, которая фиксирует как информацию о времени самого исследователя, так и свидетельства о времени источника.

Историки понимают, что устранить презентизм из исторической науки невозможно. Они пытаются найти способы его ограничения, через категорию Другого, которую полностью игнорирует презентизм. Именно понимание прошлого как Другого накладывает жесткие ограничения на профессионального историка. Политология же естественно обосновалась в пределах презентизма и, похоже, не осознает его угроз. Представляется, что это следствие определенного теоретико-методологического нигилизма политологии, который необходимо преодолевать, а для этого, в первую очередь, разработать основы политического источниковедения и методологии. Конечно, это задачи будущего, но это те задачи, решением которых нельзя пренебречь, не нанося ущерба научному образу политологии.

## СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: ОТ ДИСЦИПЛИНАРНОСТИ К ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНОСТИ

*С.И. Маловичко*

Московский государственный областной  
гуманитарный институт

*М.Ф. Румянцева*

НИУ «Высшая школа экономики»  
г. Москва

*Аннотация.* В статье авторы анализируют проблему понятийного аппарата сложной структуры исторического знания, представленного историческими дисциплинами, направлениями исторической науки и предметными полями. Процесс нарастания междисциплинарности в структуре исторического знания рассматривается в контексте классической, неклассической, и постнеклассической моделей науки.

*Ключевые слова:* структура исторического знания, историческая дисциплина, направление, предметное поле, классическая, неклассическая, постнеклассическая модели исторической науки.

Современное историческое знание имеет сложную структуру, которая практически неотрафлексирована, о чем свидетельствует неустойчивость понятийного аппарата. Получившее дисциплинарную определенность на протяжении XIX в., историческое знание в течение XX в. проходит ряд эпистемологических поворотов, из которых можно выделить антропологический, лингвистический, культурный, пространственный, вещественный и др. Каждый из таких поворотов способствовал наращиванию междисциплинарности, а затем и полидисциплинарности гуманитарного знания вообще и исторического в частности.

*Проблема*, которую авторы намереваются если не решить, то обосновать в настоящей статье состоит в том, что сложная структура исторического знания при неразработанности понятийного аппарата способствует полной путанице в употреблении таких понятий как: «историческая дисциплина», «направление исторической науки» (речь не идет об «идейных» направлениях типа либерализма, консерватизма etc и. т. д), недавно добавившееся — «предметные поля исторического знания».

Мы считаем, что наиболее методологически удобно рассматривать процесс нарастания междисциплинарности в структуре исторического знания в соотношении дисциплин, направлений и предметных полей с классической — неклассической — постнеклассической моделями науки. Говоря о структуре исторического знания, мы будем вести речь лишь о научной истории, не останавливаясь на вопросе о ее соотношении / сосуществовании с социально ориентированным типом исторического знания.

Становление научной дисциплинарности происходило в контексте классической модели рациональности. Соответственно в **классической европейской модели исторической науки** оформляются **дисциплины** исторической науки — историографически сложившиеся области научного исторического знания, имеющие собственный объект исследования — какую-либо специальную область человеческой деятельности (например, аграрная история, военная история, история религии). Такие дисциплины дополняют линейную модель истории и фиксируют ее ограниченность.

В классической модели исторического познания в качестве единого объекта исторического познания выступает инвариантная реальность прошлого человечества, в качестве источниковой основы — письменные исторические источники, в качестве результата — линейная модель исторического процесса, а в качестве формы презентации — исторический нарратив. Нужно отметить еще один важный аспект, — здесь пока еще не ставится проблема синтеза знаний, поскольку базовой синтезирующей структурой выступает сама «объективная» действительность.

Линейная модель исторического процесса лучше всего работает на идентичность, где в качестве субъекта исторического действия выступает государство. Хорошо известно, что наиболее последовательно и успешно этот тип знания реализован в метанарративах XIX в., обеспечивавших национально-государственную идентичность. Они включают в себя всю известную историю того или иного народа-государства или значительную часть этой истории, выстраиваемой в линейной перспективе. Исторический рассказ об истории государства построен как четкая хронологическая последовательность логически выявляемых

периодов, имевших в своей структуре сеть, состоящую из княжеских, королевских, царских и т.д. династий, войн, завоеваний, перемен в структуре управления государством и пр. Субъектом истории здесь выступает государство, представленное как единое целое с коллективным героем — народом (нацией).

Европейские историки второй половины XVIII — XIX в. выполняли важную задачу конструирования национальных историй, заключающуюся в создании непрерывного повествования о прошлом своих народов (от истоков до настоящего времени). Несмотря на различия в языках, конфессиях, наличие территориальных споров и неразрешенность многих культурных вопросов, национально-государственные нарративы связывали «свои» народы невидимыми нитями, а чаще просто «исторической судьбой». Показательными в этом плане стали истории немецкого самосознания и русского (великорусы, белорусы, малорусы) единства. По замечанию С. Бергера, метанарративы помогали (и помогают) строить национальные традиции, которые в свою очередь оправдывали существующие этнические государства и требовали создания несуществующих государственных образований, формулировали представление о «законности» превосходства одних стран (народов) над другими и т.д.<sup>1</sup> В наиболее законченной институциональной форме строительство национально-государственной идентичности проявилось в *политической истории*. Расширение проблематики вело к отпочковыванию от политической (национально-государственной истории) отдельных дисциплин. Рассмотрим одну из них, — военную историю.

*Военная история — дисциплина исторической науки.* Она выполняла значительную роль не только в конструировании национальной идентичности, но и в поддержании уверенности в ее героической составляющей. Эта дисциплина стала изучать такие практики существования человеческого общества, как ведение войн, строительство и развитие вооруженных сил и само прошлое развития военного дела.

В XVIII в., в период становления европейской исторической науки, предпринимались попытки сделать последовательные описания войн, отдельных походов, прошлого полков, военных кораблей и т.д. Военной истории уделялось большое внимание в исторических нарративах, т.к. прошлое и настоящее всех европейских государств было тесно связано с войнами. Военная история играла важную роль в обучении будущих офицеров, поэтому работы по истории войн имели

<sup>1</sup> Berger S. The Invention of European National Traditions in European Romanticism // The Oxford History of Historical Writing. New York, 2011. Vol. 4: 1800–1946. P. 22.



практическое значение. Однако в самостоятельную дисциплину исторической науки она превращается во второй половине XIX в., когда были определены понятие военной истории, ее предмет и цель, методы изучения, источники и историография, а также значение самой дисциплины<sup>2</sup>. В конце XIX — начале XX в. в теорию военной истории были привнесены новые правила проверки уже имеющихся представлений о событиях прошлых войн: соотношения таких сведений с теорией военной науки, с топографическими данными, физиологическими и техническими возможностями воевавших сторон<sup>3</sup>.

В России военная история стала одной из наиболее развитых дисциплин исторической науки. Она была представлена многочисленными военно-историческими описаниями, дополнявшими общеисторические труды по вопросам внешней политики и войн. Историки уделили большое внимание методам анализа источников по военной истории и выделили разделы: военная историография, военное источниковедение, военная археография<sup>4</sup>.

Военная история кроме изучения конкретных войн и военных событий стала изучать их цели и причины, итоги и значение, исследовать историю строительства вооруженных сил и комплектования армий, их оснащение, принципы выделения видов и родов войск, полководческое искусство и историю военной мысли, форму и тактику военных действий<sup>5</sup>.

В неклассической модели исторической науки происходят известные «повороты» — психологический, социологический, антропологический. Расширяется предметное пространство исторического знания, модифицируются исследовательские проблемы, изменяются исследовательские стратегии, что приводит к институализации **направлений** исторической науки (например, социальная история, региональная история, культурная история и др.). Научные направления предполагают особый ракурс рассмотрения исторической реальности, поэтому, преодолевая линейность историописания, историки прибегают к практике междисциплинарных подходов.

<sup>2</sup> Голицын Н. С. Всеобщая военная история древних времен: в 4 ч. СПб., 1872–1875; Он же. Всеобщая военная история средних времен. СПб., 1876; Он же. Всеобщая военная история новых времен: в 3 ч. СПб., 1872–1874; Он же. Всеобщая военная история новейших времен: в 2 ч. СПб., 1872–1875; Он же. Русская военная история: в 5 ч. СПб., 1877–878.

<sup>3</sup> Delbrück H. Die Perserkriege und die Burgunderkriege. Zwei kombinierte kriegsgeschichtliche Studien nebst einem Anhang über die römische Manipuliertaktik. Berlin, 1887.

<sup>4</sup> См., например: Бескровный Л. Г. Очерки по источниковедению военной истории России. М., 1957; Он же. Очерки военной историографии России. М., 1962; Он же. Очерки советской военной историографии. М., 1974.

<sup>5</sup> Black J. Rethinking Military History. London; New York, 2004.

Одним из самых популярных научных направлений, возникших в неклассической модели исторической науки, стала *социальная история*.

*Социальная история* — направление исторической науки. Оно возникло в конце XIX в. в ее неклассической модели как исследовательская практика, противопоставившая себя традиционной политической (национально-государственной) истории. Первоначально социальная история изучала историю социальных структур и социальных процессов. В 1920–1930-е гг. эта дисциплина старалась найти принципиальные различия между собственным направлением и *политической, экономической* и появившейся *культурной историей*<sup>6</sup>. Социальная история исследовала условия труда и быта, особенности образа жизни, элементы материальной и духовной культуры. Однако уже после Второй мировой войны историки отметили, что понятие «социальная история» стало очень неточным по отношению к реальным исследовательским практикам, в которых часто рассматривались не чисто социальные, а экономические или социально-экономические вопросы, а термин «социальная история» нередко использовали из желания продемонстрировать «прогрессивность» исследования<sup>7</sup>. Расцвет социальной истории как ведущего направления исторической науки связан с интенсивным процессом обновления методологического арсенала и движением к аналитической междисциплинарной истории. В русле этого широкого интеллектуального движения возникла в 1960–1970-х гг. т.н. «новая социальная история», которая первоначально выдвинула задачу интерпретации исторического прошлого в терминах социологии, описывающих внутреннее состояние общества, его отдельных групп и отношений между ними<sup>8</sup>. Новая социальная история стала изучать социальные отношения в рамках историко-социологических исследовательских практик и ориентировалась на идею школы «Анналов» об исследовании общества как целостности (тотальная история), но уже с рубежа 1970–1980-х гг. она проявила интерес к культурной антропологии, переориентируя свое внимание на обыденное сознание людей прошлого, на символические системы и ценности, на психологические установки, стереотипы восприятия и модели поведения. В 1980-х гг. новая социальная история становится ведущим *направлением* в структуре «новой исторической науки». Подход, получивший название «история снизу», способствовавший изучению народных

<sup>6</sup> Conze W. Social History // Journal of Social History. 1967. Vol. 1. No. 1. P. 7–16.

<sup>7</sup> Stearns P. Some Comments on Social History // Journal of Social History. 1967. Vol. 1. No. 1. P. 3–6.

<sup>8</sup> Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009. С. 13–82, 305–316.

низов в противоположность традиционной истории, изучавшей историю известных государственных лидеров и национальных героев, сыграл решающую роль в выделении таких *научных направлений и предметных полей*, как «новая рабочая история», *гендерная история*, *микроистория*, а затем и *новая локальная история*. Этот подход способствовал выработке методики *устной истории*.

Под влиянием лингвистического и культурного поворотов, усвоив уроки эпистемологического кризиса 1990-х гг. и критики постмодерна, новая социальная история сумела ассимилировать свежие идеи и выйти на новое исследовательское пространство, сместив исследовательские стратегии в направлении социокультурного анализа. Обновленная социальная история стала применять процессуальный подход к анализу форм социальной жизни и социальных групп, рассматривая их сквозь призму непрерывной интерпретации, поддержания или преобразования в практической деятельности взаимодействующих индивидов. В настоящее время сосуществуют несколько версий социальной истории: (1) социологическая, выявляющая условия деятельности различных социальных групп и социальные процессы; (2) антропологическая, исследующая сферу сознания социальных групп и действующих лиц; (3) социокультурная, изучающая социальное как культурные практики, рассматривает процесс формирования социального в деятельности культурных субъектов<sup>9</sup>.

Другое *направление* неклассической исторической науки — *экономическая история* возникло на стыке исторической и экономической наук. В начале XX века экономическая история выступила как исследовательская область, удобная для перехода от традиционной политической истории к неклассической модели исторической науки. В это же время ее начали преподавать в ряде американских и западноевропейских университетов.

Ранние работы по экономической истории в основном носили описательный характер, их авторы старались реконструировать историю хозяйственной жизни в определенный период, при этом, еще не проявляя интереса к теории, позволяющей исследовать механизмы происходивших в истории экономических перемен. С середины XX в. экономическая история стала овладевать новыми методами, в том числе количественными, заимствуя их у экономической науки, начала изучать явления и процессы с точки зрения теории экономического роста. Известными периодическими изданиями по проблемам экономической истории стали: «The Economic History Review» (с 1927 г.), «The Journal of Economic History» (с 1941 г.).

<sup>9</sup> *Репина Л.П.* Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и исследовательская практика. М., 2011. С. 61–118.

В 1960–1970-е гг. в структуре новой исторической науки формируется новая экономическая история, теоретическую и методологическую основу которой составляет моделирование экономических процессов и количественный анализ. Актуализация последнего привела к выделению в рамках экономической истории нового научного направления — клиометрики, в сферу которой вошли не только историко-экономические вопросы, но и социальные и политические процессы<sup>10</sup>.

При переходе от неклассической к **постнеклассической модели исторической науки** (особенно начиная с лингвистического поворота) возникают *предметные поля*, составляющие структуру современного научного исторического знания (например, история ментальностей, история повседневности, интеллектуальная история, новая локальная история и др.). В предметных полях происходит целенаправленное конструирование исторического объекта, который, будучи сконструированным, выступает в качестве самостоятельного предмета исследования. Предметное поле современного научного исторического знания преодолевает классическую дисциплинарную модель науки, поскольку имманентно предполагает полидисциплинарность, т. е. конструирование своего предмета / проблемы средствами разных научных дисциплин, и междисциплинарность, т. е. использование исследовательских практик различных гуманитарных и социальных наук.

Знаковой для постнеклассической исторической науки конца XX века становится проблематика социальной / исторической памяти, истории как памяти, поэтому, неслучайно одним из наиболее актуальных предметных полей современного исторического знания становится интеллектуальная истории, о которой мы скажем несколько слов.

*Интеллектуальная история* является предметным полем актуального исторического знания и изучает одну из сфер человеческой деятельности (так же, как экономическая, политическая, социальная и др. истории) — исторические аспекты всех видов творческой деятельности человека (включая ее условия, формы и результаты) в общем интеллектуальном пространстве и долгосрочной исторической перспективе.

<sup>10</sup> *Бородкин Л.И.* Клиометрика: pro et contra (виртуальный диалог) // Экономическая история: обозрение. М., 2001. Вып. 7. С. 114–132; *Саломатина (Ломова) С.А.* Экономическая история и клиометрика: самоопределение научных направлений у нас и за рубежом // Новая и новейшая история. 1997. № 5. С. 3–20; *Ланской Г.Н.* Отечественная историография экономической истории России начала XX в.: автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. М., 2011.

Долгое время (начиная с XIX в.) такие понятия как «интеллектуальная история» и «история идей» фактически означали одно и то же и связывались главным образом с историей философии. Однако в первой половине XX в. утверждается представление, что интеллектуальная история изучает разные формы человеческой мысли («методическую» мысль — философскую и научную; а также «неметодическую» мысль — литературу, поэзию, искусство и др.) в их историческом измерении<sup>11</sup>.

В 60–70-е гг. XX в. интеллектуальная история оказалась на обочине историографии. Ее критиковали за сосредоточенность на «высоких» теориях и доктринах, за игнорирование социального контекста идей и социальных функций науки, за «буржуазную элитарность», исключительный интерес к великим мыслителям и каноническим традициям, за отсутствие внимания к локальным традициям и народной культуре.

На рубеже 80–90 гг. XX в. под влиянием истории ментальностей и социальной истории идей произошло обновление интеллектуальной истории, которая учла критику господствовавшей в западноевропейской и американской историографиях социальной истории. Основной отличительной чертой интеллектуальной истории был признан широкий *контекстуализм*, связь изучаемых ею идей с культурным и социальным контекстами (взаимосвязь «внутреннего» и «внешнего»)<sup>12</sup>, в которых они рождались, развивались, транслировались, видоизменялись или прерывались. Новой осознанной позицией интеллектуальной истории стало требование не ограничивать спектр возможных теоретико-методологических перспектив какой-либо одной научной концепцией.

В настоящее время принципиальным становится учет взаимодействия между движением идей и их исторической средой — теми социальными, политическими, религиозными, культурными контекстами, в которых идеи рождаются, распространяются, развиваются. Историки уже давно отмечают близость исследовательских полей интеллектуальной и культурной историй<sup>13</sup>, а особенно новой культурной истории. При выстраивании культурного контекста интеллектуальная история становится внутренней частью культурной истории, а культурная история служит внешней стороной интеллектуальной истории, поэтому историки обращают внимание на обе эти стороны — внутреннюю и внешнюю.

<sup>11</sup> *Baumer F.L.* Intellectual History and Its Problems // The Journal of modern history. 1949. Vol. 21. No. 3. P. 191–203.

<sup>12</sup> *Kramer L.* Intellectual History and Philosophy // Modern Intellectual History. 2004. Vol. 1. No. 1. P. 81–95.

<sup>13</sup> См.: *Barnes H.E.* An Intellectual and Cultural History of the Western World. New York, 1937.

В такой перспективе исследователи стали вести речь о реализации проекта «новой культурно-интеллектуальной истории», которая видит свою основную задачу в исследовании интеллектуальной деятельности и процессов в сфере гуманитарного, социального и естественнонаучного знания в их социокультурном контексте. Неотъемлемой территорией предметного поля интеллектуальной истории стали история знания, история науки, историческая память и так называемая дисциплинарная история<sup>14</sup>.

Процесс нарастания междисциплинарности мы постарались представить посредством ряда выбранных нами исторических дисциплин, направлений исторической науки и предметного поля современного исторического знания в структуре классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки. Отдельной проблемой остается трансформация *вспомогательных исторических дисциплин* в дисциплины исторической науки. Наиболее ярким примером здесь служит источниковедение, а также изменение функции исторической географии, которая после пространственного поворота превращается в метод исторического исследования. Еще одна проблема, требующая разработки, — структура исторического знания в *неоклассической модели исторической науки*. Пока можно лишь отметить, что одной из стратегий этой модели стала рефлексия о разных типах исторического знания — социально ориентированного и научного.

<sup>14</sup> *Репина Л.П.* Новая историческая наука. С. 240–269; *Она же.* Историческая наука на рубеже XX – XXI вв. С. 325–366.

## ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ. ОТВЕТ К. ЛАМПРЕХТА

**Н.В. Ростиславлева**

Российский государственный гуманитарный университет  
г. Москва

**Аннотация.** Сквозь призму биографии и творческого пути немецкого историка—позитивиста Карла Лампрехта в статье рассматриваются различные уровни освоения им полидисциплинарности. Междисциплинарность впервые была востребована ученым в рамках изучения региональной истории. Став профессором Лейпцигского университета, он создает междисциплинарные семинары и новые исследовательские институты, оказывается вовлечен в интенсивное междисциплинарное общение с коллегами. Вызов полидисциплинарности во многом был продиктован разделяемой ученым позитивистской методологией, исходящей из принципа единства гуманитарных и естественных наук. В рамках этой методологии был написан его главный восемнадцатитомный труд «История Германии», который был негативно воспринят историческим сообществом Германии и вызвал продолжительную методологическую дискуссию.

**Ключевые слова:** полидисциплинарность, К. Лампрехт, позитивизм, региональная история, междисциплинарные курсы

В 1915 г., в год смерти К. Лампрехта, когда полыхала Первая мировая война он, как и многие другие историки, писал что-то «патриотическое, восторженное, горячее». В связи с этим Е.В. Тарле на страницах журнала «Северные записки» отметил, что многое может быть прощено его памяти: «А есть область, где этой памяти прощать нечего, где она долго будет сиять неомраченным светом: это область исторической науки. Здесь еще много и долго будут с ним советоваться те, которые его, как публициста, совершенно забудут»<sup>1</sup>.

Действительно, если даже иметь в виду только отечественную историографию, то можно назвать немало работ: это выпущенная в 1995 г. статья А.И. Патрушева «Взлет и низвержение Карла Лампрехта»<sup>2</sup>, защищенная в 2002 г. в Воронеже кандидатская диссертация Светланы Лесных «Жизненный путь и историко-культурная концепция Карла Лампрехта»<sup>3</sup>, также написанные ею на основе материалов диссертации ряд статей о нем<sup>4</sup>. Упомянуты К. Лампрехт в обобщающих трудах по историографии И.П. Дементьева<sup>5</sup>, О.Л. Вайнштейна<sup>6</sup>.

Среди зарубежных авторов можно назвать крупные работы о Лампрехте 70–80-х гг. XX в. — это книги М. Виикари и Л. Шорн-Шютте<sup>7</sup>.

В обобщающем ключе сквозь призму творчества Лампрехта рассматривается кризис классического историзма в работах Иггера<sup>8</sup>. Последний сравнивает его с американскими историками «прогрессивной эры» Фредериком Джексоном Тернером (Frederick Jackson Turner) и Джеймсом Харви Робинсоном (James Harvey Robinson), которые, также как и Лампрехт, призывали к тому, чтобы история стала междисциплинарным знанием<sup>9</sup>.

Именно Карл Лампрехт стал в Германии первым историком, выступившим за пересмотр самого предмета истории, за ее обогащение методами смежных наук. Это был в полном смысле слова вызов современному ему историческому сообществу Германии. По мнению историков Германии XIX в., без изучения государства истории как науки и нет вовсе. Они активно исследовали различные политические институты, прежде всего государство, а основу единения немцев видели в единстве политической культуры. Это стало краеугольным камнем изучения прошлого исторической школой Ранке и историками-малогерманцами.

<sup>2</sup> Патрушев А.И. Взлет и низвержение Карла Лампрехта (1856-1915) // Новая и новейшая история. 1995. № 4. С. 179-193.

<sup>3</sup> Лесных С.В. Жизненный путь и историко-культурная концепция Карла Лампрехта: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2002.

<sup>4</sup> Он же. Нация как объект исторического познания в научном наследии Карла Лампрехта // Проблемы этнической истории в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в новое и новейшее время. Воронеж, 2002. С. 254–270.

<sup>5</sup> Дементьев И.П. Историография истории нового времени стран Европы и Америки. М., 1990. С. 268-270.

<sup>6</sup> Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография. М., 1964.

<sup>7</sup> Viikari M. Die Krise der «historischen» Geschichtsschreibung und die Geschichtsmethodologie Karl Lamprechts. Helsinki, 1977; Schorn-Schütte L. Karl Lamprecht. Kulturgeschichte zwischen Wissenschaft und Politik. Göttingen, 1984

<sup>8</sup> Iggers G. Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Göttingen, 1996. S. 26–28.

<sup>9</sup> Ibid. S. 29.

<sup>1</sup> Тарле Е.В. Карл Лампрехт // Северные записки. 1915. Май-июнь. С. 231.

По иронии судьбы Лампрехт закончил ту же школу в Тюрингии (Schulpforte), что и Ранке, затем изучал историю, экономику, историю искусств в университетах Геттингена, Лейпцига, Мюнхена. В 1879 г. он сдал государственный экзамен на право преподавания истории. Но еще до экзамена, в 1878 г., в Мюнхене защитил диссертацию «История хозяйственной жизни во Франции в IX в.», где уделил внимание прежде всего социально-экономическим факторам, а не политическим.

Через короткое время Лампрехт переехал из Мюнхена в Кельн. Там он получил место учителя в доме кельнского банкира Дайхмана. Вскоре К. Лампрехт заключил контракт с Боннским университетом и начал изучать экономическую и культурную историю рейнских земель. По его инициативе было основано «Общество по изучению рейнской истории». Лампрехт по сути стоит у истоков региональной истории.

Роль регионов в Германском союзе связана с их социально-психологическими и экономическими особенностями<sup>10</sup>. Немалое внимание культурным региональным различиям в Германии уделяют сейчас зарубежные и отечественные географы<sup>11</sup>. Исторические корни сложившихся в Германии культурно-географических различий рассматриваются в работах В.Н. Стрелецкого<sup>12</sup>. Именно изучение Рейнской области заставило Лампрехта обратить внимание на синтез географических, экономических и культурных особенностей данного региона.

Велик интерес Лампрехта к истории культуры региона. На основе изучения средневековых рукописей в архивах и библиотеках Рейнской области он в 1882 г. написал работу «Инициальная орнаментика VIII—XIII вв.», где представил периодизацию орнаментики германских племен и рассмотрел особенности каждого периода. В дальнейшем эта работа станет одной из основ разработанного им универсалистско-исторического метода.

<sup>10</sup> См. об этом подробнее: *Kiesewetter H.* Region und Nation in der europäischen Industrialisierung // Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit. Deutscher Bund und deutsche Frage 1815–1866 / Hg. H. Rumpfer. Bd.16/17. S. 162–163.

<sup>11</sup> *Blotvogel H.H., Heinritz G., Popp H.* Regionalbewusstsein. Bemerkungen zum Leitbegriff einer Tagung // Berichte zur deutschen Landeskunde. 1986. Heft 1. S. 103–114; *Pohl J.* Regionalbewusstsein als Thema der Sozialgeographie: Theoretische Überlegungen und empirische Untersuchungen am Beispiel Friaul. Kallmünz, 1993; Regionale politische Kultur / Hrsg. H.-G. Wehling. Stuttgart, 1985; *Werlen B.* Sozialgeographie. Bern [etc.], 2000.

<sup>12</sup> *Стрелецкий В.Н.* Культурный регионализм в Германии: опыт историко-географического анализа // Известия РАН. Серия географическая. 2000. № 6. С. 63–75; *Он же.* Культурный регионализм в Германии и России // Регионы и регионализм в странах Запада и России. М., 2001. С. 26–39.

В 70–80-е гг. XIX в. ученый проявлял повышенный интерес к изучению экономических и культурных фактов, к проблемам права, топографии, исторической географии и картографии. Междисциплинарность проникла в его научный кругозор еще в начале карьеры как историка. Это вело к отказу от политической трактовки истории. Политическое все-таки оставалось в его творчестве, но оно обрело форму символа, что проявились уже в период его интенсивных занятий по изучению Рейнской области. Своеобразным итогом его рейнских штудий стала работа «Skizzen zur Rheinischen Geschichte» (Эскизы рейнской истории)<sup>13</sup>, изданной в 1887 г. в Лейпциге. В этом труде он рассматривал Рейнскую область как место памяти старой культуры, уделял внимание праву и хозяйству франкской эпохи, выяснял роль городов и их населения (бюргертум) к началу имперского периода. Любопытно, что он репрезентировал Рейнскую область сквозь призму Кельнского собора. Ученый видел в нем величайший памятник готического стиля, но также и символ немецкого освобождения и «нашего национального единения»<sup>14</sup>. Лампрехт писал: «... Только с 30-х гг. нашего столетия (имеется ввиду XIX век) начали рассматривать собор как символ ожидаемого политического единства»<sup>15</sup>, — и добавил в конце, — «что эти 38 лет (когда шло достраивание собора — Н.Р.) с их исходящей от немецкого народа неутомимой строительной деятельностью являются выражением волевого, никогда не утомляющегося стремления нации к национальному единству и национальному миру»<sup>16</sup>.

Это было написано еще до создания знаменитой «Истории Германии». В 1886 г. вышла в свет «Хозяйственная жизнь Германии в средние века»<sup>17</sup>, где был представлен анализ материальной культуры Мозельской долины, части Рейнской области. Материалы региональной истории Лампрехт использовал для создания обобщающей картины развития немецкого народа. К работам такого плана принадлежит и многотомная «История Германии». Большое влияние на создание этих работ оказали труды специалистов по экономике В. Рошера и Б. Хильденбрандта и творчество историка культуры Г. Фрейтага.

В год выхода первого тома этого сочинения (1891 г.) Лампрехт получил должность ординарного профессора Лейпцигского университета. Он возглавил кафедру средних веков и нового времени, руководил историческим семинаром. Этот университет слыл тогда

<sup>13</sup> *Lamprecht K.* Skizzen zur Rheinischen Geschichte. Leipzig, 1887.

<sup>14</sup> *Ibid.* S. 215.

<sup>15</sup> *Ibid.* S. 216.

<sup>16</sup> *Ibid.* S. 245.

<sup>17</sup> *Lamprecht K.* Deutsches Wirtschaftsleben in Mittelalter. Untersuchungen ueber die Entwicklung der materiellen Kultur des platten Landes auf Grund der Quellen zunaechst des Moselandes. 3 Bde. Leipzig, 1885–1886.

средоточием позитивизма и тяготел к единству гуманитарного и естественно-научного знания. В стенах университета Лампрехт тесно общался с профессором химии В. Оствальдом, с председателем союза монистов, основателем физиологической психологии В. Вундтом, а также географом и антропологом Ф. Ратцелем, который больше известен как основатель геополитики<sup>18</sup>. Это междисциплинарное общение, безусловно, нашло отражение в его новаторском 18-томном труде «История Германии».

Прежде чем охарактеризовать новаторский междисциплинарный потенциал этого труда, необходимо заметить, что в Лейпциге Лампрехт продолжал заниматься региональной историей, теперь уже саксонской, поскольку в ее рамках можно было более пристально исследовать культурные, географические, экономические особенности региона. По его инициативе была создана Саксонская историческая комиссия. Его ученик Р. Кецшке с 1906 г. вел семинар по региональной истории и топографии. В 1898 г. вместе с географами Ф. Ратцелем и В. Зиглином он создал историко-географический семинар в Лейпцигском университете, а в 1904 г. возглавил отделение средневековой и новой истории историко-географического семинара. По его инициативе происходила систематическая обработка и публикация географических карт.

В 1909 г. Лампрехт независимо от исторического семинара создал институт культуры и всеобщей истории. Бесспорно, все эти предпринимаемые им шаги в Лейпцигском университете стали отражением методологической дискуссии, развернувшейся в Германии по поводу его труда «История Германии».

Ученый создавал этот труд с 1891 по 1905 гг. с целью «показать плодотворное влияние материальных и культурных потоков на немецкую историю и определить совокупность материальной и духовной культуры как единую основу и ступени прогресса»<sup>19</sup>. Автор изобразил историю немецкого народа как единый процесс развития с помощью категорий «символический», «типический», «традиционный», «субъективный», как процесс причинности, где для каждого времени материальные и духовные предпосылки имели бы определенное значение<sup>20</sup>. Другая методологическая парадигма работы — эволюция социальной психологии. История Германии рассматривается как последовательная

<sup>18</sup> *Лесных С.В.* Жизненный путь и историко-культурная концепция Карла Лампрехта. С. 16.

<sup>19</sup> Цит. по: *Steinberg H.-J.* Karl Lamprecht // *Deutsche Historiker* / Hrsg. von H.-U. Wehler. Göttingen, 1973. S. 59.

<sup>20</sup> См. об этом подробнее: *Viikari M.* Die Krise der «historischen» Geschichtsschreibung und die Geschichtsmethodologie Karl Lamprechts. Helsinki, 1977. S. 206–208.

смена культурно-исторических эпох, поскольку изменение социальной психологии обусловлено, по мнению Лампрехта, саморазвитием самой психологии, в результате чего и происходит формирование новых социальных и политических институтов<sup>21</sup>. Но основой этого процесса является народная душа, национальное сознание и их развитие, что и стало для ученого истинным предметом истории. Отдельные эпохи представляют определенные фазы этого развития, что делает необходимым создание новой научно обоснованной периодизации истории. Учение о культурно-исторических эпохах — исходный пункт концепции универсальной истории Карла Лампрехта<sup>22</sup>.

Лампрехт воспринимал проблему немецкого единства иначе, чем историки школы Ранке: он искал истоки немецкой нации в общности культурной и хозяйственной жизни. «Нация, — отмечал он, — вышла из бесконечной борьбы без государственного идеала, без силы какого-либо политического убеждения, и только национальное сознание более ранних времен действовало объединяюще и успокоительно на культурную и духовную жизнь»<sup>23</sup>.

Таким образом, «История Германии» Лампрехта — это своеобразный вызов ранкеанству и утверждение в немецкой исторической науке культурно-исторического синтеза на позитивистской базе.

Сочинение Лампрехта было доброжелательно встречено широкой публикой<sup>24</sup>. Однако научное сообщество немецких историков откликнулось на него резко отрицательно: в нем было обнаружено немало фактических ошибок и неточностей, но главное неприятие вызвала методология работы, направленная на поиск нового опыта и новых исследовательских областей. Критика «Истории Германии» зачастую принимала агрессивный характер. Критиками Лампрехта стали ученики

<sup>21</sup> *Ibid.* S. 207.

<sup>22</sup> Лампрехт подчеркивал, что решающие движущие силы истории лежат в психогенетических факторах, которые создают для каждой из культурных эпох специфическое общее духовное состояние, которое он называл «культурным диапазоном». Психогенетические ступени культуры легли в основу предложенной им периодизации истории немецкого народа. Первая эпоха — эпоха коллективного хозяйствования (анимизм). С возникновением собственности и индивидуальной формы хозяйства наступила эпоха «символизма» (до X в.). В развитие средневековья Лампрехт включил две эпохи — «типизма» (X–XIII вв.) и «конвенционализма» (XIII–XIV вв.), характеризующиеся разнообразными формами натурального хозяйства. С XV в., с появлением денежного хозяйства, наступила эпоха «индивидуализма», которую с середины XVIII в. сменил период «субъективизма», а примерно с 1830–1840 гг. началась стадия «раздражимости», т.е. способность организма адекватно реагировать на вызов внешнего мира и окружающей среды. (*Лампрехт А.И.* Указ. соч. С. 190).

<sup>23</sup> *Лампрехт К.* История германского народа. М., 1894. Т. 1. С. 17.

<sup>24</sup> *Iggers G.* Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Göttingen, 1996. S. 26.

Ранке (Г. фон Зибель), неоранкеанцы (М. Ленц, Ф. Рахфал, Г. Онкен, Ф. Майнеке), историки права (Г. Фон Белов), католические историки (Г. Финке). Наиболее резкими критиками ученого являлись Белов, Ленц, Майнеке, Рахфал, Хинтце, которые публиковали на страницах *Historische Zeitschrift* в течение 1890-х гг. свои критические заметки о труде Лампрехта<sup>25</sup>. Главный объект критики, как уже отмечалось, — ошибки, которые допускал автор, выстраивая событийный ряд.

Методологические споры сводились к обвинению Лампрехта в позитивизме и материализме, без того чтобы обсуждать методологические различия между Лампрехтом и немецким историческим сообществом. Один из самых жестких критиков Лампрехта Белов — историк права консервативного толка — упрекал его в материализме, так как тот отождествлял «прогресс с экономическим развитием. Хотя он не марксист, но его взгляды каждый раз материалистические»<sup>26</sup>. Никаких более глубоких доказательств приверженности Лампрехта материализму Белов не приводил.

Но главное — историческое сообщество Германии не поняло, что, несмотря на ошибки в деталях, методология Лампрехта открывала новое направление в развитии исторической науки. Белов в статье «Новый исторический метод» отказывался признавать за Лампрехтом освоение новой методологии. Он утверждал, что фактически идею развития ввел в практику исторической науки Гердер, она выкристаллизовывалась в борьбе с рационализмом, а Лампрехт просто находился в плену наивных представлений, что идея развития пришла в историю из учения Дарвина<sup>27</sup>.

В позитивном плане принять участие в методологическом споре с Лампрехтом сумел только Фридрих Майнеке, который в своих статьях поднимал вопрос об альтернативности методологических подходов. Сначала он опубликовал краткие соображения по поводу метода Лампрехта. Майнеке объяснял противоречия старого и нового направлений в исторической науке противоположным пониманием предпосылок исторического процесса, которые «новое направление стремится понять с точки зрения биологического объяснения жизни индивидуума». Основы нового направления Майнеке искал в принципе причинности и в объяснении индивидуальных действий всеобщими мотивами, тогда как старое направление определяло их единичными

<sup>25</sup> См.: *Below G.v.* Besprechung von Karl Lamprechts Deutsche Geschichte // *Historische Zeitschrift*. 1893. Bd. 71 (Neue Folge 35. Bd.); *Idem.* Die neue historische Methode // *Historische Zeitschrift*. 1898. Bd. 81 (Neue Folge 45. Bd.); *Lenz M.* Karl Lamprechts Deutsche Geschichte, 5. Bd. // *Historische Zeitschrift*. 1896. Bd. 77 (Neue Folge 41. Bd.).

<sup>26</sup> *Below G.V.* Die neue historische Methode. S. 265.

<sup>27</sup> *Ibid.* S. 197–198.

и конкретными целями отдельного индивидуума<sup>28</sup>. На опубликованные *Historische Zeitschrift* возражения Лампрехта он сумел доказательно и логично ответить. Ф. Майнеке — единственный из критиков, признавший, что аргументы, с помощью которых доказывался материализм Лампрехта, по сути аргументами и не являются: «Само собой понятно, — отмечал он, — что сильное акцентирование экономических мотивов еще не материализм»<sup>29</sup>.

Разделяемые Лампрехтом принципы закономерного развития, необходимости, причинности в применении к истории также вызвали неприятие. Немецкие историки-ортодоксы строго отделяли естественные науки от гуманитарных и в Лампрехте видели историка, который применяет методы другой науки в историческом исследовании, что, по их мнению, противоречит сути истории. Лейпцигский профессор в свою очередь отвергал позицию ортодоксального исторического знания о том, что историческое исследование должно быть не типическим, а индивидуальным, и что в этой связи естественные науки отделены от гуманитарных глубокой пропастью. По мнению Лампрехта, индивидуум — это объект для художественного осмысления, а наука должна исследовать типическое (всеобщее)<sup>30</sup>.

Не могли простить Лампрехту его нападки на Ранке. Белов в своей программной антилампрехтовской статье подробно разбирает упреки лейпцигского историка в адрес Ранке. По его мнению, со стороны Лампрехта присутствует грубое непонимание знаменитого кредо главы берлинской школы «как это собственно было»<sup>31</sup>. В условиях признания историописания Ранке образцом и высшим достижением немецкой исторической науки важно было защитить его от критики и поддержать принципы эмпирического исторического знания. Странники политической истории не могли равнодушно воспринимать внимание Лампрехта к истории культуры, так как такой подход лишал, по мнению критиков, историю важнейших идеологических и воспитательных моментов<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> *Meinecke F.* Notiz über einen Aufsatz Lamprechts // *Historische Zeitschrift*. 1896. Bd. 76 (Neue Folge 40. Bd.). S. 530–531.

<sup>29</sup> *Idem.* Notiz über Aufsatz Lamprechts «Zum Unterschiede der älteren und jüngeren Richtungen der Geschichtswissenschaft» // *Historische Zeitschrift*. 1896. Bd. 77 (Neue Folge 41. Bd.). S. 265–266.

<sup>30</sup> Автор «Истории Германии» вступил с Беловым в полемику и отстаивал единство естественных и гуманитарных наук; предметом исследования историк называл типичные явления, подчеркивая второстепенную роль индивидуума, а в истории культуры видел основу исторического знания. См.: *Lamprecht K.* Die historische Methode des Herrn von Below. Eine Kritik. Berlin, 1899.

<sup>31</sup> *Below G.v.* Die neue historische Methode. S. 197.

<sup>32</sup> См. сноски 9–13, а также: *Viikari M.* Op. cit. S. 218–223; *Steinberg H.-J.* Op. cit. S. 60–65; *Czok K.* Karl Lamprecht // *Bedeutende Gelehrte in Leipzig*. Karl-Marx-Universität Leipzig, 1965.

Историческое сообщество было несогласно и с тем, что Лампрехт рассматривал психологию в качестве одного из методов исторической науки<sup>33</sup>.

Ситуация для Лампрехта была настолько сложной, что даже в родном Лейпцигском университете у него обнаружили противники, и их было немало. Среди них коллеги Э. Леман, Э. Маркс, Г. Зелигер. И Э. Бранденбург. Хотя находились и те, кто хвалил «Историю Германии»: среди них — Г. Винтер, сотрудники редакции «Журнала истории культуры» (*Zeitschrift fuer Kulturgeschichte*) во главе с Г. Штейнхазеном, нашли теплые слова для Лампрехта и у Г. Финке<sup>34</sup>. Последний назвал Лампрехта «одним из значительных наших молодых историков»<sup>35</sup>. Однако как католический историк он не мог согласиться с интерпретацией Лампрехтом немецкого Средневековья, полагая, что он неверно изобразил религиозно-политические и церковные отношения, но, возможно, замечания Финке были направлены и не против Лампрехта, а против протестантской церкви вообще.

В ходе методологической дискуссии Лампрехт проявил себя настоящим бойцом: он обратился к исследованию немецкой исторической мысли и проблем становления германского права. Именно в результате данной дискуссии появились такие его методологические работы как «Культурно-исторический метод» (1900), «Об универсалистско-историческом методе» (1908), где изложены методологические взгляды историка. Определяя место исторического знания в системе наук, Лампрехт полагал, что оно находится во взаимодействии с этнологией, психологией и физиологией.

Междисциплинарный характер научной парадигмы Лампрехта отразился и на его представлениях об особенностях развития образования. Он был уверен в необходимости интенсивного взаимодействия учебных предметов всех гуманитарных наук. Ученый выступал за активное международное сотрудничество между университетами. Так, он стремился наладить научный обмен с американскими университетами<sup>36</sup>.

До ноября 1914 г. в Лейпцигском университете возникли исследовательские институты региональной истории, правовой истории, психологии, ориенталистики, географии, истории и истории искусств, истории культуры и всеобщей истории, этнографии, экономики.

<sup>33</sup> В своих более поздних работах Лампрехт утверждал: «Современная историческая наука — это в первую очередь социально-психологическая наука» (*Lamprecht K. Moderne Geschichtswissenschaft. Freiburg, 1905. S. 1.*)

<sup>34</sup> Viikari M. Op. cit. S. 420–421.

<sup>35</sup> Цит по: Viikari M. Op. cit. S. 421.

<sup>36</sup> *Лесных С.В.* Жизненный путь и историко-культурная концепция Карла Лампрехта. С. 18–19.

В этом также сказывался междисциплинарный настрой мировоззрения ученого и организатора науки и образования. Лампрехт как позитивист исходил из единства науки вообще, из единства методов естественных и гуманитарных дисциплин.

Творчество Лампрехта оказало плодотворное влияние на развитие исторического и гуманитарного знания в целом. Можно провести параллели с творчеством выдающегося интеллектуала Германии первой половины XIX в. В. фон Гумбольдта. Вся история, по Гумбольдту, «является лишь осуществлением идеи»<sup>37</sup>, а роль языка в познании истории существенна<sup>38</sup>. Именно в контексте языка им была поставлена проблема индивидуального и всеобщего в истории. Так, полагая, что человеческий род — это феномен природы, он видел индивидуализацию в генетической связи языка и народа. Однако в рамках гумбольдтовской антропологии изучение индивидуума всегда было сопряжено с утверждением общегуманистических идеалов.

Говорить о полностью сформировавшейся исторической концепции Гумбольдта, наверное, не стоит. Э. Трельч обращал внимание на более чем неоднозначное восприятие его исторических штудий: указывая как на историков, видевших в Гумбольдте теоретика принципов органического развития, воплощением которых стало творчество Л. фон Ранке, так и на исследователей, акцентирующих разрыв между ними<sup>39</sup>. Неоранкеанец Ф. Майнеке более склонен подчеркивать разрыв между Гумбольдтом и Ранке<sup>40</sup>. Такое сравнение позволяет еще более выпукло показать значение творчества К. Лампрехта для развития исторического познания.

Лампрехт, по сути, стоял у истоков новой социальной истории, куда следует отнести и применение в дальнейшем количественности, и развитие социальной истории школой Анналов с ее историческим временем (*longue durée*). Неприятие историческим сообществом Германии его главного труда «История Германии» во многом затормозило становление немецкой социальной истории и утверждение междисциплинарной парадигмы в осмыслении прошлого.

<sup>37</sup> *Гумбольдт В. фон.* О задаче историка. С. 305.

<sup>38</sup> См. подробнее об исследовании языка как одного из методов понимания социального бытия: *Шнем Г.Г.* Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта. М., 2009.

<sup>39</sup> *Трельч Э.* Историзм и его проблемы. М., 1994. С. 538–543.

<sup>40</sup> *Майнеке Ф.* Возникновение историзма. М., 2004. С. 234.



## ОБ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ТЕНДЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА\*

Е.А. Долгова

Российский государственный гуманитарный университет  
г. Москва

**Аннотация:** *Статья посвящена проблеме становления междисциплинарных исследований в российской науке рубежа XIX — XX вв. Изучается один из сюжетов — синтез истории, социологии и психологии в практике работы ряда образовательных и научных центров: Русской высшей школы общественных наук в Париже, Высших курсов П.Ф. Лесгафта, Психоневрологического института. Автор приходит к выводу о том, что междисциплинарный подход был реализован более последовательно в преподавательской работе (учебных программах) изучаемых центров и не получил полного развития в их научной деятельности.*

**Ключевые слова:** *история науки, междисциплинарность, комплексные исследования, гуманитаристика.*

В конце XIX—начале XX в. процессы растущей профессионализации и становления системы гуманитарных наук были сопряжены с противоречиями внешнего и внутреннего порядка.

С конца 60-х гг. XIX в. широко распространяется энциклопедическая формула О. Конта, согласно которой новая наука об обществе — социология — представляя собой синтез всех высших и конечных результатов гуманитарных наук, должна была заниматься конструированием «абстрактных и всеобщих законов»<sup>1</sup>. Как писал М.М. Ковалевский:

\* Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта № 12-31-01232 а2.

<sup>1</sup> *Голосенко И.А.* Русская социология: ее социокультурные предпосылки, междисциплинарные отношения, основные проблемы и отношения // Из истории буржуазной социологической мысли в дореволюционной России. М., 1986. С. 14.

«...со времени выхода в свет «Курса положительной философии» Огюста Конта открылась возможность построения цельной науки об обществе и указан тот индуктивно-дедуктивный метод, с помощью которого она может быть создана...»<sup>2</sup>.

По словам Н.И. Кареева, «самые слова «социология» и «социологический» все больше и больше делались с 80-х годов популярными...»<sup>3</sup>. При этом восприятие нового термина было неоднозначным. «В нынешнем своем виде, — писал Е.В. Тарле, — социология есть груда описательных материалов, частично разобранных, частично весьма мало тронутых научной критикой, да такая же груда слов, гипотез, теорий, имеющих целью в этих материалах разобраться, вывести из них систему аргументированных обобщений»<sup>4</sup>.

В начальный период формирования социологического знания большое значение для становления новой науки имел опыт смежных с ней дисциплин; участие в этом процессе представителей сопредельных гуманитарных наук. Важную роль в формировании социологического знания играли представители исторической науки. Фактически, они диктовали механизм формулирования знания, его задачи и предмет исследования, предложив новый принцип построения научного исследования — идею открытого, не ограниченного никакими дисциплинарными рамками, взаимопроникающего и взаимодействующего гуманитарного знания.

Что же представляла из себя предложенная концепция? Прежде всего, важным было понимание единства, цельности и неразрывности знания: «каждая частная идея утрачивает жизненный характер свой ...тогда, когда вырывается из того мира мысли, в котором она живет сама, составляя часть великого целого. Нет единичных общественных идей, которые не примыкали бы к цельному общественному мирозерцанию, в свою очередь связанному с мирозерцанием моральным, предполагающим далее известное общее мировоззрение»<sup>5</sup>.

Основополагающей в концепции являлась, прежде всего, попытка обосновать взаимодействие и взаимовлияние подходов и методов таких наук, как история, социология, психология. В основу понимания данного синтеза были положены три компонента: личность,

<sup>2</sup> *Ковалевский М.М.* О задачах Русской высшей школы общественных наук: речь, произнесенная в Парижской высшей русской школе общественных наук при возобновлении занятий в 1902 году // Вестник воспитания. 1903. № 6. Сентябрь. С. 12.

<sup>3</sup> *Кареев Н.И.* Основы русской социологии / под ред. И.А. Голосенко. СПб., 1996. С. 115.

<sup>4</sup> *Тарле Е.В.* Из истории обществоведения в России // Литературное дело. СПб., 1902. С. 34. Цит. по Голосенко И.А. Указ.соч. С. 14.

<sup>5</sup> *Кареев Н.И.* Что такое общее образование. Одесса, 1895. С. 38.

общество и их история, — «три понятия, сблизившие между собой отдельные социальные науки и придавшие им действительно гуманитарный характер»<sup>6</sup>.

Помимо того, что концепция была последовательно раскрыта в серии публикаций Е.В. де Роберти, Н.И. Кареева, М.М. Ковалевского, представителями «синтетического» направления была предпринята попытка реализации данной концепции на практике: в образовательных программах ряда учебных заведений, в исследовательской практике научных обществ и объединений.

Не имея возможности осуществить свои планы в правительственных учреждениях, исследователи обратились к иной сфере — частным университетам. Неправительственные и вольные высшие учебные заведения являлись особой, автономной частью образовательной сферы начала XX в.<sup>7</sup> В основу образовательного процесса в неправительственной школе были положены принципы общедоступности образования для слушателей и свободы преподавания для лектора.

Попытка построения образовательного процесса на основе единства социальных наук была предпринята в Русской школе высших общественных наук в Париже (далее — РВШОН, Школа), основанной в 1901 г. и работавшей до 1906 г. в Париже под руководством и при участии И.И. Мечникова, М.М. Ковалевского, Ю.Н. Гамбарова, Н.И. Кареева.

Хотя история РВШОН уже становилась предметом специального исследования<sup>8</sup>, однако образовательная концепция Школы, в основу

<sup>6</sup> Кареев Н.И. О сущности гуманитарного образования // Сборник в пользу недостаточных студентов Университета Святого Владимира. СПб., 1895. С. 282 — 307.

<sup>7</sup> Иванов А.Е. Высшая школа России конца XIX — начала XX в.: состав и юридический статус учебных заведений // Историографические и исторические проблемы русской культуры. М., 1982. С. 182.

<sup>8</sup> Воробьева Ю.С. Русская высшая школа общественных наук в Париже // Исторические записки. Вып. 107. М., 1982. С. 332-344; *Она же*. «Слушателей будет много...»: Русская высшая школа общественных наук в Париже по письмам М.М. Ковалевского. 1901-1905 гг. // Исторический архив. 1993. № 6. С. 171-179; Гутнов Д.А. Русская высшая школа общественных наук в Париже (1901-1906 гг.) // История и историки: историографический ежегодник. М., 2001. С. 242-260; *Она же*. Русская высшая школа общественных наук в Париже (1901-1906 гг.). М., 2004; «Ввиду крайне вредного влияния Ковалевского на студентов...»: из официальной переписки о работе Высшей школы общественных наук в Париже, 1901-1904 гг. / подгот. Е.А. Долгова // Исторический архив. 2011. Т. 3. № 3. С. 9-25; Ермакович Ю.М. Из истории Русской высшей школы общественных наук в Париже // Российская социология: историко-социологические очерки. М., 1997. С. 170-180; Корников А., Селезнева Н. Русский университет в Париже // Вестник РАН. 1995. Т. 65. № 4. С. 358-365.

которой был положен уникальный синтез общественных наук, специального внимания исследователей практически не привлекала<sup>9</sup>.

Школа задумывалась учредителями как учебное заведение, где осуществлялась бы общая гуманитарная подготовка слушателей. В основу учебного процесса в РВШОН было положено два принципа: 1) объединение в одно целое общественных наук, которые традиционно преподавались разрозненно на различных факультетах императорских российских университетов; 2) сознательный отказ учредителей от преподавания специальных и прикладных предметов и сосредоточение на наиболее общих и актуальных задачах социального знания<sup>10</sup>.

В печати отмечалось, что Школа «объединяет своей программой в одно целое многие научные дисциплины, преподаваемые с давних времен, в ущерб единству научного знания, по трем совершенно обособленным друг от друга факультетам: философскому, юридическому и филологическому. Условием этого объединения служат или необходимость тех или других научных дисциплин для изучения общественных наук, или непосредственное отношение их к тем или другим группам общественных явлений»<sup>11</sup>.

Задачи Школы виделись учредителям гораздо шире приобретения слушателями практических знаний: «...мы не обещаем сделать вас ни экономистами, ни финансистами, ни статистиками, ни юристами, ни моралистами, ни политиками, ни тем более историками, но мы надеемся поставить вас на ту дорогу, на которой, при состоятельном труде и позднейшей специализации занятий, вы в состоянии будете сделаться и экономистами, и юристами и историками и т.д. Из этой школы вы выйдете, по крайней мере, со знакомством с теми требованиями, какие предъявляет ко всякому специалисту современная научная постановка обществоведения. Вы ознакомитесь с теми приемами, которые обязательны для научного исследования...»<sup>12</sup>. По сути, образовательная концепция Школы предполагала обучение слушателей теоретическому методу, предоставляя возможность самостоятельного поиска эмпирических данных.

<sup>9</sup> Исключением является докторская диссертация: Гутнов Д.А. Русская высшая школа общественных наук в Париже и ее влияние на развитие образования в России в начале XX века: дисс...д.и.н. М., 2006; Долгова Е.А. Образовательная концепция Русской высшей школы общественных наук в Париже // Вопросы образования. 2011. № 2. С. 268-282; *Она же*. Преподавание социальных дисциплин в Русской высшей школе общественных наук в Париже: исторический опыт и перспективы изучения // Будущее нашего прошлого: материалы круглого стола, 5 апреля 2012 г. М., 2012. С. 58-68.

<sup>10</sup> Гутнов Д.А. Русская высшая школа общественных наук в Париже... С. 169.

<sup>11</sup> Русские лекции в Париже // Научное обозрение. СПб., 1902. № 7. С. 230.

<sup>12</sup> Ковалевский М.М. О задачах школы общественных наук... С. 16-17.

Идея об открытом, не ограниченном никакими дисциплинарными рамками гуманитарном образовании, последовательно реализовывалась на практике через учебные планы, программы лекционных курсов, специально разработанную систему практических занятий. В соответствии с концепцией учредителей учебная программа Школы на первый 1901-1902 учебный год была разбита на 11 разделов<sup>13</sup>: «Философия и методология физико-химических и биологических наук» (N.N<sup>14</sup>), «Философия и методология общественных наук. Общая социология» (Е.В. де Роберти), «Всеобщая история и описательная социология» (М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, И. Шукин, М.И. Тимашев), «Антропология и этнография» (Ф.К. Волков), «История религии» (Е.В. Аничков), «Эволюция экономического быта и экономических учений» (М.М. Ковалевский, Н.А. Карышев, А.А. Исаев, Г.Б. Иоллос), «История политических теорий и учреждений» (М.М. Ковалевский), «История доктрин и учреждений гражданского права» (Ю.С. Гамбаров, М.М. Винавер), «Социальная криминология» (И.И. Баженов), «Эволюция метафизических и моральных идей» (Е.В. де Роберти), «История литературы и изящных искусств» (Е.В. Аничков, С.А. Венгеро<sup>15</sup>).

Наряду с общеобразовательными предметами, в Школе читались и такие курсы, как «Введение в социологию» (Н.И. Кареев), «Общая социология» (Е.В. де Роберти), «Современные социологи» и «История сословий в России» (М.М. Ковалевский). Кроме упомянутых лиц, учредители Школы надеялись на участие в ее работе А.С. Лаппо-Данилевского<sup>16</sup>, Е.В. Тарле<sup>17</sup>, В.И. Семевского, М.И. Туган-Барановского, П.Г. Струве и др.<sup>18</sup>

Обширный и довольно пестрый учебный план Школы, недостаток денежных средств, само положение высшей школы за границей не позволяли организовать учебный процесс надлежащим образом. Отсутствие необходимых лекторских кадров приводило к тому, что в школе недостаточно читалось обобщающих систематических курсов, что вызывало недовольство слушателей. Словно отвечая на многочисленные упреки общественности, в предисловии к изданным в 1905 г. «Лекциям профессоров Русской высшей школы общественных наук» М.М. Ковалевский писал: «в пятый год своего существования... создано правильное преподавание совокупности тех конкретных наук, из которых слагается понятие обществоведения. Преподавание

<sup>13</sup> В (...) указаны фамилии лекторов.

<sup>14</sup> Лектор не определен.

<sup>15</sup> НИОР РГБ. Ф. 119. К. 47. Д. 42. Л. 1об.

<sup>16</sup> СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 191. Л. 1-2.

<sup>17</sup> НИОР РГБ. Ф. 119. К. 15. Д. 195-196.

<sup>18</sup> Там же. К. 47. Д. 42. Л. 1.

это в нашей школе, по примеру высших школ и факультетов Франции, никогда не носило характера того сообщения элементарных знаний по всем решительно вопросам, входящим в официальные программы, с которым, по-видимому, доселе связывают в России представление о полноте и систематичности образования»<sup>19</sup>.

В феврале 1905 г. (перед вступлением РВШОН в пятый год своего существования), подводя некоторые итоги пройденного ею пути, М.М. Ковалевский отмечал, что в результате деятельности Школы сформировалась наиболее удачная для того времени система преподавания общественных наук. В ее основу был положен «синтетический» подход к организации высшего образования, главным принципом которого стал принцип единства гуманитарного знания, отказ от узкой специализации, обучение единому научно-исследовательскому методу работы в контексте гуманитарных наук.

После закрытия РВШОН, учредителями (прежде всего М.М. Ковалевским) была предпринята попытка перенести отдельные элементы ее образовательной концепции в Народный университет имени А.Л. Шанявского (Москва); Высшие курсы П.Ф. Лесгафта, Частный психоневрологический институт В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург). В силу условий реализации в научно-образовательном пространстве Российской империи, специфики избранных институтов, изначальная концепция учредителей подверглась значительным изменениям.

Н.И. Кареев позднее писал в своих воспоминаниях: «тогда же, в конце 1905 и начале 1906 года<sup>20</sup>, возник в Петербурге Психоневрологический институт... Инициатором этого учреждения был известный психиатр Бехтерев, думавший создать нечто подобное, например, Институт Экспериментальной медицины, где могли бы изучаться явления мозговой, нервной и психической деятельности кончившими курс врачами, юристами и педагогами... видное участие в этом предприятии принял М.М. Ковалевский, увидевший в новых курсах как бы возобновление своей Парижской вольной высшей школы ...»<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Русская высшая школа общественных наук в Париже: лекции профессоров РВШОН в Париже / под ред. Е.В. де Роберти, Ю.С. Гамбарова, М.М. Ковалевского. СПб., 1905. С. 1.

<sup>20</sup> Датой основания Психоневрологического института считается 1907 г.

<sup>21</sup> Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 252–253. Как писал в своих воспоминаниях П.А. Сорокин, «я решил, после некоторых колебаний, поступить не в Санкт-Петербургский университет, а в недавно открытый Психоневрологический институт. Программа обучения в нем казалась мне более гибкой, чем в университете, притом что профессорско-преподавательский состав в институте был не хуже. Помимо прочего, институт предлагал курсы лекций по социологии, читаемые двумя учеными с мировой известностью, — М.М. Ковалевским и Е. де Роберти, тогда как в университете этой дисциплине не обучали», — Сорокин П.А. Дальняя дорога. М., 1992. С. 51.

Психоневрологический (Психологический) институт — научно-исследовательское и высшее учебное учреждение с широкой программой — был ориентирован на изучение и преподавание комплекса наук о человеке. В.М. Бехтерев обозначил задачи института в речи, произнесенной 3 февраля 1908 г. при открытии курсов института: «Как это ни печально, но следует отметить парадоксальный факт, что в нашем высшем образовании сам человек остается как бы забытым. Все наши высшие школы преследуют большей частью утилитарные или профессиональные задачи. Они готовят юристов, математиков, естественников, техников, путейцев и т.п. Но при этом упущено из виду, что впереди всего этого должен быть поставлен сам человек... вспоминая известные слова великого философа древности: «человек, познай самого себя», можно было бы сказать, что нарождающееся учреждение имеет своей задачей познать человека»<sup>22</sup>.

В отличие от несколько хаотичного энциклопедизма РВШОН, в основу комплексного изучения человека в Психоневрологическом институте была положена психология. По словам В.М. Бехтерева, «в этом отношении Психоневрологический институт заполняет существенный пробел знаний в наших высших школах, который до настоящего времени является особенно чувствительным. Возьмем такой основной предмет как общая психология, имеющая своей задачей изучение психики человека. Несмотря на огромное общеобразовательное значение психологии как науки, она читается как обязательный предмет лишь на историко-филологическом факультете университетов. Но и здесь она не составляет особой кафедры, а входит в предмет ведения кафедры философии...нельзя не отметить того интереса и того значения, которое должны иметь и другие отрасли психологии, особенно индивидуальная и общественная психология, иначе говоря, психология народных масс, а также сравнительная психология народов, которая стала выдвигаться за последнее время как особая научная дисциплина... руководствуясь этими данными, Психоневрологический Институт и имеет в виду дать всем желающим широкое психологическое образование, причем из общего курса, на котором сосредоточен, главным образом, ряд биологических, исторических и общественных наук»<sup>23</sup>.

Это стремление положить в основу обучения в Психоневрологическом институте психологию разделяли и преподаватели. В речи, произнесенной на «годовом акте Психоневрологического Института» 2 февраля 1912 г. Н.И. Кареев отмечал: «Институт называется

<sup>22</sup> Цит по: Справочная книжка о Психоневрологическом Институте на 1912-1913 учебный год с краткими сведениями о его деятельности. СПб., 1912. С. 121—129..

<sup>23</sup> Справочная книжка о Психоневрологическом Институте... С. 120—121.

психоневрологическим; в нем психологии принадлежит одно из центральных мест, и вместе с тем в его программу входят как науки биологические, к которым психология примыкает одною своею стороною, так и науки социальные, с которыми психология соприкасается другою своею стороною. Можно даже сказать, что психология занимает именно промежуточное место между изучением мира природы и мира человека в его духовных и общественных проявлениях, иначе мира человеческой культуры в ее прошлом и настоящем»<sup>24</sup>.

Возможность преподавания дисциплин, не относящихся к исследовательскому полю психологии, была заложена в Уставе института. Так, в статье 1 Устава института подчеркивалось: «Психо-Неврологический институт есть ученое и высшее учебное учреждение, имеющее целью разработку знаний в области психологии и неврологии, а также сопредельных с ними наук»<sup>25</sup>. Возможность широко трактовать эту формулировку Устава позволило В.М. Бехтереву за несколько лет создать учебное заведение с уникальной программой; уникальным научным и преподавательским составом.

Как писал В.М. Бехтерев в своей автобиографии: «В профессора института нами избирались наиболее прогрессивные ученые и в то же время крупные научные силы, как проф. П.Ф. Лесгафт, М.М. Ковалевский, Е.В. де Роберти, Бодуэн де Куртене, Д.А. Дриль, Н.А. Карасев, Андреев, Лучицкий и др. Наконец, и некоторые научные дисциплины, введенные в курс института, не были по сердцу министерству. Между прочим, в числе предметов общего высшего образования проскользнула и социология. Последнюю, по моему предложению, взял на себя читать социолог и член по избранию Государственного совета М.М. Ковалевский и не менее авторитетный ученый Е.В. де Роберти. И тот, и другой тогда только что вернулись из Парижа, где состояли профессорами бывшей Вольной высшей школы. И вот, когда при одном случае в кабинете Шварца случайно зашел вопрос о чтении у нас курсе социологии, министр не выдержал и с раздражением произнес: «Какая может быть социология. Такой науки нет, а если что и есть, то лишь одна болтовня»<sup>26</sup>.

Единственная в Российской империи кафедра социологии, открытая в Психоневрологическом институте, стала ярким явлением в российской научной и общественной жизни. В немалой степени это было обусловлено преподавательским составом кафедры.

<sup>24</sup> Кареев Н.И. О значении психологии для общественных наук // Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии. 1912. Вып. 1. Т. 9. С. 78—88.

<sup>25</sup> ЦГИА СПб. Ф. 2265. Д. 894. Л. 34.

<sup>26</sup> Бехтерев В.М. Автобиография (посмертная). М., 1928. С. 33.

К преподаванию социологии В.М. Бехтеревым были привлечены социологи Е.В. де Роберти, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, П. Сорокин<sup>27</sup>.

В Психоневрологическом институте Е.В. де Роберти разработал первую в российской науке программу по преподаванию социологии<sup>28</sup>. Можно выделить ее основные положения: «Науки естественные и науки гуманитарные. Условный характер такого деления», «Биология как ближайшая основа социологии. Сочетание биологического фактора с социологическим и образование психологических явлений. Огромное значение психологической среды в общественных науках... анализ космической среды и образование среды исторической. Первенствующее значение для социолога двух проблем: психологической и исторической», «социология как наука о духе в природе... общественность как специфическое изменение биологической энергии». Курс общественных наук, читаемых в Психоневрологическом институте во многом соответствовал тому, который читался в Высшей вольной Школе в Париже<sup>29</sup>.

Попытки реализации концепции в университетском пространстве, формы и возможности ее воплощения (авторские курсы лекций, образовательные программы и т.д.) накладывали определенную специфику на характер воспроизводимого знания. Иным вариантом реализации идеи являлась научно-исследовательская деятельность — прежде всего, работы научно-исследовательских обществ и объединений исследователей.

Как нельзя более ярко эту тенденцию отразило в своей работе Русское социологическое общество, основанное в память о М.М. Ковалевском<sup>30</sup>. Созданное в 1916 и с перерывами функционирующее

<sup>27</sup> П.А. Сорокин появился в Институте в 1909 году в качестве студента; позднее он станет личным секретарем М.М. Ковалевского и рецензентом социологической литературы в «Вестнике психологии, криминальной антропологии и гипнотизма». В 1916 г., после смерти М.М. Ковалевского, П.А. Сорокин займет место профессора кафедры социологии. В дальнейшем, вплоть до высылки из страны в 1922 году, он будет работать в Институте Мозга в лаборатории по рефлексологии социальных групп.

<sup>28</sup> Общая социология: программа курса, читаемого в Психоневрологическом институте на общеобразовательном факультете // Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии. Т. IX. 1912. Вып. 1; То же // Е.В. де Роберти. Новая постановка основных вопросов социологии: избранные труды. СПб., 2008. С. 479–483.

<sup>29</sup> Русская высшая школа общественных наук в Париже: 1901–1902 учебный год // Вестник знания. 1903. № 5. С. 144–152.

<sup>30</sup> Подробнее о работе общества см: Малинов А.В. Социология в творчестве А.С. Лаппо-Данилевского // Журнал социологии и социальной антропологии (далее ЖССА). 1999. Т. II. № 4. С. 33–47; Он же. А.С. Лаппо-Данилевский — первый председатель Русского социологического общества

в условиях революции и гражданской войны до 1922 года Русское социологическое общество имени М.М. Ковалевского во многом отразило в своем развитии основные проблемы существования отечественной науки в этот сложный и противоречивый период.

В первоначальный список членов Общества было внесено 62 фамилии. Среди участников заседаний Общества — представители исторических, экономических, юридических, психологических и биологических дисциплин.

Историки А.С. Лаппо-Данилевский, Н.И. Кареев последовательно являлись председателями Общества; их ученики, «первые профессиональные социологи», прошедшие школу исторических семинариев, П.А. Сорокин и К.М. Тахтарев выполняли функции секретарей общества. Среди членов общества значатся историки И.И. Луцицкий, П.Н. Милюков, Е.В. Тарле, А.Е. Пресняков.

Важно отметить участие в работе Общества представителей экономических (Н.Д. Кондратьев, А.А. Чупров, А.А. Кауфман), юридических (С.К. Гогель, Л.И. Петражицкий, Е.Н. Тарновский, М.Н. Гернет), психологических (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский), биологических (И.П. Павлов, В.А. Вагнер) дисциплин. Фактически, в работу Общества включились представители большинства гуманитарных дисциплин начала XX века.

Уникальный состав членов Русского социологического общества, поставленная задача «разработки вопросов социологии и других общественных наук, а также распространения знаний по этим наукам»<sup>31</sup>, последовательная реализация работы Общества через систему «докладов на темы о том, что каждая из соприкасающихся наук дала социологии»<sup>32</sup>, — все эти особенности работы Общества не могли не накладывать отпечаток на проблематику и характер воспроизводимого им социологического знания.

Уставной задачей Общества была «разработка вопросов социологии и других общественных наук, а также распространение знаний по этим наукам»<sup>33</sup>. В письме П.А. Сорокина А.С. Лаппо-Данилевскому

имени М.М. Ковалевского // ЖССА. 2013. Т. XVI. № 3. С. 8–16; Он же. // Клио: журнал для ученых. 2013. № 12. С. 62–65; Документы о деятельности Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского: [публикация док-ов] / подгот. Долгова Е.А. // СоцИс. 2011. № 6. С. 135–142; Долгова Е.А. Документы о деятельности Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского: [некоторые итоги архивной эвристики] // Клио: журнал для ученых. 2013. № 12. С. 62–65.

<sup>31</sup> Социологическое общество имени Максима Максимовича Ковалевского. СПб., 2001. С. 76.

<sup>32</sup> СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 2. Д. 87. Л. 34.

<sup>33</sup> Устав Русского Социологического общества им. М.М. Ковалевского / подгот. А.О. Бороноев; А.П. Прилипко // СоцИс. 1993. № 8. С. 147.

читаем такие строки: «...первым докладом поставить доклад о современном состоянии социологии; дальше — ряд докладов на тему: что дали специальные науки социологии и что дала она первым; зачем желательны доклады по основным социологическим проблемам и наравне с ними доклады по вопросам специальн[ых] наук, имеющие социальный интерес»<sup>34</sup>.

По воспоминаниям П.А. Сорокина, «деятельность Общества выражалась в регулярно устраивавшихся раз в две недели научных собраниях для прослушивания и обсуждения докладов по социологии. Доклады делались на общие и специальные социологические темы»<sup>35</sup>. Однако, несмотря на усилия А.С. Лаппо-Данилевского, Н.И. Кареева, П.А. Сорокина, Н.К. Тахтарева, В.А. Вагнера, деятельность Общества была короткой. В 1920 г. работа общества была прервана и частично стала осуществляться в Социологическом институте (вплоть до закрытия последнего в 1921 г.)<sup>36</sup>. В 1922 г. работа Общества была приостановлена в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 3 августа 1922 г. «О порядке учреждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и о порядке надзора за ними». История деятельности Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского в 1916-1923 гг., с одной стороны, иллюстрируют закономерность и поступательность развития социологического знания в России, а с другой — хрупкость его существования в социально-политических реалиях 1920-х гг. и зависимость от факторов субъективного характера.

Изучение работы выявленных образовательных и научно-исследовательских центров позволяет проследить реализацию на практике концепции синтеза гуманитарного знания (как открытого, не ограниченного дисциплинарными рамками, взаимопроникающего и взаимодействующего); определить основной принцип организации образовательного и научно-исследовательского процесса; выявить факторы интеграции и объединяющие элементы, положенные в основу идеи взаимодействия наук — истории, социологии и психологии — в поле отечественной гуманитаристики первой четверти XX века.

## ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ И ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

<sup>34</sup> Цит. по: Социологическое общество имени М.М. Ковалевского... С. 76.

<sup>35</sup> Сорокин П.А. Состояние русской социологии за 1918-1922 гг. // Сорокин П.А. О русской общественной мысли. СПб., 2000. С. 27.

<sup>36</sup> Там же. С. 26.

## ЦИФРОВАЯ ИСТОРИЯ (DIGITAL HISTORY): ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

А.Ю. Володин

МГУ им. М.В. Ломоносова  
г. Москва

**Аннотация.** *Цифровая история — направление в исторической науке, вырабатывающее принципы междисциплинарного сотрудничества по вопросам теории и методики оцифровки исторических источников и памятников историко-культурного наследия.*

**Ключевые слова:** *цифровая история, digital history, историческая информатика, информационные технологии в истории, ретроконверсия, цифровой переход.*

L'historien de demain sera programmeur ou il ne sera plus  
Emmanuel Le Roy Ladurie  
(Le nouvel observateur, 1968)

Цифровая история (или *digital history*) — это название направления, рассматривающего теоретические и методические вопросы перевода памятников историко-культурного наследия в цифровой формат и публикации результатов оцифровки в Интернете. По сути, цифровая история как уже вполне сложившееся в американской исследовательской практике историографическое направление отвечает за разработку теории и методики электронных публикаций и создания онлайн-ресурсов. В отечественной традиции данная проблематика разрабатывается в русле исторической информатики<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Бородкин Л.И., Гарскова И.М.* Историческая информатика: перезагрузка // Вестник Пермского университета. Серия «История». 2011. № 16. С. 5–12.

Цифровая история (хотя такой перевод «digital history» и вызывает критику<sup>2</sup>) сегодня часто рассматривается как область активной разработки инструментов обработки исторических источников для их адекватного представления в современных медиа-форматах (преимущественно онлайн). Термин “*digital history*” приобрел права гражданства в 1997 г., когда американские исследователи Э. Айерс и У. Томас основали Вирджинский центр цифровой истории (*Virginia Center for Digital History, VCDH*) при университете Вирджинии. Хотя один из пионеров разработки в этой области Р. Розенцвейг еще в 1994 г. открыл Центр истории и новых медиа (*Center for History and New Media, CHNM*) в университете Дж. Мейсона. Первые работы, посвященные осмыслению цифровой истории, были написаны на рубеже XX–XXI вв., в частности, необходимо отметить полемическую статью Э. Айерса «Прошлое и будущее цифровой истории»<sup>3</sup> и фундаментальную монографию Д. Козна и Р. Розенцвейга «Цифровая история: руководство по сбору, сохранению и представлению прошлого во Всемирной паутине»<sup>4</sup>.

Цифровая история все больше завоевывает внимание историков во всем мире, прежде всего, по той причине, что электронные ресурсы и сервисы становятся неотъемлемой частью профессии<sup>5</sup>. Ежедневно историки обращаются к полнотекстовым электронным библиотекам, библиографическим онлайн-каталогам, электронным архивам научных журналов. В последние годы начали активно развиваться и архивные онлайн-ресурсы, когда на экране компьютера или планшета можно получить доступ к оцифрованным документам (как письменным, так

<sup>2</sup> См. например: *Бородкин Л.И.* Digital history: применение цифровых медиа в сохранении историко-культурного наследия? // Историческая информатика. 2012. № 1. С. 14–21.

<sup>3</sup> *Ayers E.L.* The Pasts and Futures of Digital History (online essay) [1999]. URL: <http://www.vcdh.virginia.edu/PastsFutures.html>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения - 19.08.2013.

<sup>4</sup> *Cohen D., Rosenzweig R.* Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. University of Pennsylvania Press, 2002.

<sup>5</sup> Данная точка зрения ярко отражена в англоязычной а) научной и б) учебной литературе: а) *Weller T.* (ed.) History in the digital age. London; New York: Routledge, 2013; *Rosenzweig R., Grafton A.* Clío Wired: The Future of the Past in the Digital Age. Columbia University Press, 2010; *Schreibman S., Siemens R., Unsworth J.* (ed.) A Companion to Digital Humanities. Blackwell Publishing, 2008; *Vandendorpe C.* From Papyrus to Hypertext: Toward the Universal Digital Library (Topics in the Digital Humanities). University of Illinois Press, 2009; б) *Galgano M.J., Arndt J.C., Hyser R.M.* Doing History: Research and Writing in the Digital Age. Wadsworth Publishing, 2007; *Mintz S.* Digital history: using new technologies to enhance teaching and research. University of Houston, 2007; *Presnell J.L.* The Information-Literate Historian. Oxford University Press (USA), 2012.

и аудиовизуальным). Особое внимание к вопросам работы с электронными ресурсами можно связать с новым этапом развития таких ресурсов, когда они приобрели самостоятельное значение и функции, перестав быть лишь только цифровыми копиями аналоговых документов.

Несмотря на ряд очевидных преимуществ «цифрового взрыва» для профессионального сообщества — и в первую очередь, открывающуюся перед исследователями доступность архивных документов и научно-справочного аппарата, «цифровой переход» ставит целый ряд важных вопросов, ответы на которые возможно получить лишь в русле междисциплинарности.

### Цифровая история: стены и мосты междисциплинарности

Если рассматривать междисциплинарный вызов цифровой истории, то он оказывается крайне необычным для современной историографии. Этот вызов не предполагает простого творческого заимствования понятий или теорий из смежных наук или адаптации их методик. Это вызов требует поиска консенсуса в междисциплинарном поле, где, например, встречаются источниковедение и компьютерные науки (computer science)<sup>6</sup>. Поиск точек соприкосновения нужд исторической специальности и информационных технологий происходит во многих областях. Так, археография ищет пути взаимодействия с современными стандартами форматов электронных документов<sup>7</sup>, а дипломатика расширяет повестку дня вопросами цифровой дипломатики<sup>8</sup>. Принципиальным моментом в данном варианте междисциплинарности является не просто соприкосновение, а необходимое сотрудничество. В такой работе, помимо историков и специалистов по информационным технологиям, принимают участие архивисты, библиотекари, музейные работники. Основой сотрудничества становится освоение потребностей и возможностей, как содержательных, так и технических особенностей, встретившихся на перепутье дисциплин<sup>9</sup>. И вопрос, который можно

<sup>6</sup> Гарскова И. М. Источник в цифровом формате: концепции исторической информатики // Идеи академика И. Д. Ковальченко в XXI веке. М., 2009. С. 140–153; Гарскова И. М. Источниковедческие проблемы исторической информатики // Российская история. 2010. № 3. С. 151–161

<sup>7</sup> Тихонов В. И. Информационные технологии и электронные документы в контексте архивного хранения (статьи разных лет). М., 2009.

<sup>8</sup> В последние годы успешно проходят биеннале конференции «*Digital Diplomats*» в рамках проекта «Charters Encoding Initiative» (CEI) Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана. URL: <http://www.cei.lmu.de>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 19.08.2013.

<sup>9</sup> Володин А. Ю. История в цифровую эпоху: своевременные мысли // Историческая информатика. 2012. № 2. С. 88–91.

было бы написать на камне, стоящем перед историком на этой развилке: готов ли историк принимать участие в оцифровке необходимого для него корпуса источников и принимать участие в разработке историко-ориентированных информационных систем? Этот вопрос в реальной жизни усложняется тем, что историко-культурное наследие, архивные и библиотечные фонды имеют своих хранителей, которые каждый по-своему смотрят на цели и потребности т. н. ретроконверсии — перевода аналоговых источников в цифровые форматы.

Виртуальность как свойство цифровых форматов привлекала пристальное внимание историков в последние годы. Для того чтобы очертить спектр работ в этой области можно назвать два диссертационных исследования, в которых виртуальная реальность осваивалась разными путями. В 2005 г. в РГГУ К. В. Яблоковым была защищена диссертация «Компьютерные исторические игры 1990–2000-х гг.: проблемы интерпретации исторической информации», рассматривающая виртуальные миры со стороны, но в рамках профессионального интереса и поиска историчности в игровом жанре<sup>10</sup>. В 2013 г. в МГУ Д. И. Жеребятьев защитил диссертацию на тему «Методы исторической реконструкции памятников истории и культуры России средствами трехмерного компьютерного моделирования», развивая идею комплексного источниковедческого подхода и верификации для конструирования виртуальной реальности уже как метода исторического познания<sup>11</sup>. Таким образом, сделан шаг от лицемерия виртуального мира к его практическому освоению.

### Цифровой формат: от подхода к методу

Оцифровка документов и памятников прошлого воспринимается специалистами по-разному. Историки в оцифровке видят, прежде всего, облегчение доступа к нужным для исследований документам. Архивисты спорят о том, должны ли быть цифровые копии фондом пользования или сохранным фондом. Библиотекари часто видят в оцифровке возможности привлечь внимание к редким и любопытным коллекциям. Специалисты в области информационных технологий в оцифровке видят возможности и ограничения технических средств оцифровки и форматов сохранения результатов. Вероятно, эти разные точки зрения объединяет вопрос сохранности историко-культурного

<sup>10</sup> Яблоков К. В. Компьютерные исторические игры 1990–2000-х гг.: проблемы интерпретации исторической информации: дисс. ... канд. ист. наук. М., 2005.

<sup>11</sup> Жеребятьев Д. И. Методы исторической реконструкции памятников истории и культуры России средствами трехмерного компьютерного моделирования: дисс. ... канд. ист. наук. М., 2013.



наследия в цифровом формате. Как язвительно заметил Д. Ротенберг в 1995 г.: «Цифровая информация хранится вечно, или пять лет, смотря что наступит раньше»<sup>12</sup>. И если в 1990-е гг. речь шла именно о быстрой смене технологий, когда одни дискеты сменялись другими, дискеты — дисками, а диски — флешкартами, то сегодня становится все более актуальным вопрос длительной и качественной сохранности файлов при их неизбежной миграции (или даже просто перезаписи) на новые носители с использованием новых алгоритмов записи и обновленных форматов цифровых данных. Если 10 лет назад боялись того, что через 100 лет возникнут сложности с чтением данных с компакт-дисков, потому что и диски испортятся и аппаратуру пригодную для их чтения будет сложно найти в рабочем состоянии; то сегодня куда более серьезные опасения вызывает вопрос устойчивого хранения данных, чтобы данные не теряли своего качества при перезаписи и обновлении форматов<sup>13</sup>.

Так или иначе, обилие окружающих нас электронных ресурсов (стоит заметить, что понятие ресурса в данном контексте куда шире и точнее понятия документа) переносит нас в «эру данных». Данные меняют наш подход к исследовательским материалам, хотя бы потому, что они оказываются недоступными для человека без какого-то специального устройства-посредника (недаром долгое время данные называли машиночитаемыми). Надо заметить, что новые средства коммуникации стали влиять на информационную среду достаточно давно. К примеру, известный исследователь М. Маклюэн выделял «галактику Маркони», которая пришла на смену «галактике Гутенберга», уже больше века назад, ведь современная электронная цивилизация открывается изобретением телеграфа Морзе в 1844 г.<sup>14</sup>

Данные можно понимать и определять по-разному. Данные могут определяться как совокупность фактов и идей в формализованном виде, пригодном для передачи и обработки в некотором информационном процессе. В таком случае для данных ключевым свойством является их форма, или, как принято говорить, формат. Данные можно определить и как совокупность ячеек памяти, обладающих определёнными свойствами. Тогда первостепенным становится вопрос объема необходимой памяти для хранения данных и устойчивости

<sup>12</sup> *Rothenberg J.* Ensuring the Longevity of Digital Information. Santa Monica: Rand, 1999. P. 2.

<sup>13</sup> Важные наблюдения и рекомендации вырабатываются сегодня на методическом уровне, например: Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению полученным информационным массивом / Ю.Ю. Юмашева. М., 2012.

<sup>14</sup> См.: *Маклюэн М.* Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М., 2005.

носителей хранения. Данные также определяют через их номинальность, указывая на то, что в отличие от операций (действий, процессов) данные выражаются подлежащим (с возможными его определениями). И по этой причине данные пассивны до тех пор, пока исследователь не преобразует их в информацию, а затем в знания.

Тем не менее, «данные» как источник для исторического исследования меняют привычную источниковедческую перспективу. Мы начинаем смотреть на видовое разнообразие источников не как на объективное осязаемое различие (ведь наметанный глаз исследователя молниеносно отличает личное письмо от делопроизводственного документа, пусть и хранящихся в одном архивном деле), а как на дополнительное виртуальное свойство, которое может как быть показано (в электронной копии-изображении), так и просто указано в описании к оцифрованному распознанному документу.

Такой переход позволяет заметить и еще одну важную для профессии историка перемену — в «эру данных» тексты оказываются в одном ряду с изобразительными, аудиовизуальными и прочими мультимедийными источниками. И несмотря на сильное сопротивление исконного формата публикации результатов исторического исследования в виде монографии, современность требует возможного расширения книжных страниц за счет дисков или ресурсов с мультимедийным содержанием.

При этом, что интересно, несмотря на разнообразие оценок и перспектив развития «цифрового фонда» историко-культурного наследия человечества, вполне сложился метод организации таких данных — это база данных<sup>15</sup>. И вне зависимости от того, какие новые просторы отвоевывает себе цифровая история, ее метод оказывается достаточно универсальным для организации исторической информации в интересах исследователей.

## Ремесло историка в цифровую эпоху

Сегодня никого не удивит тем, что все историки пользуются электронными текстовыми редакторами, обмениваются находками по электронной почте, а поиск литературы ведут в электронных библиографических каталогах и реферативных онлайн базах данных. Вместе с этим всё более остро встают такие профессиональные вопросы: как правильно оцифровать исторический источник, как

<sup>15</sup> *Гарскова И.М.* Базы и банки данных в исторических исследованиях. М., 1994; *Таллер М.* Что такое «источнико-ориентированная база данных»; что такое «историческая информатика»? // История и компьютер: новые технологии в исторических исследованиях и образовании / Под ред. Л.И. Бородкина и В. Леврманна. Геттинген, 1993.

представить коллекцию электронных документов на сайте или каким образом оценить подлинность документа, имея в распоряжении только его электронную копию? Историки *volens polens* расширяют свой арсенал в условиях «цифрового перехода». Все шире в профессии распространяются такие понятия, как разрешение растровой и векторной графики, языки разметки и сценариев электронного документа (от html и xml до php и python), аутентичность и целостность мастер-копии документа<sup>16</sup>. Более того, начали реализовываться давние мечты об историко-ориентированном программном обеспечении. К такого рода разработкам вполне можно отнести уже приобретшие мировую известность продукты Центра истории и новых медиа имени Роя Розенцвейга. Программа *Zotero* позволяет сохранять и управлять найденными онлайн научными материалами, *Omeka* предназначена для создания специализированных электронных ресурсов — электронных коллекций и онлайн-выставок, онлайн-проект *Scripto* создан для облегчения совместной работы по расшифровке и установлению текстов по электронным копиям архивных документов.

Кардинальная смена парадигмы исследовательской стратегии, как отмечают авторы актуальных исследований, заключается в том, что «оцифровка» становится первым шагом фактически любого исторического исследования, ведь сегодня компьютер оказывается незаменимым инструментом анализа, совместной работы и обмена экспертными мнениями<sup>17</sup>. При этом речь, конечно, не идет о смерти бумажных носителей, книг или традиционных архивов. Вопрос в том, каким образом в самом ближайшем будущем будут сосуществовать в исследовательской практике объекты из аналогового и цифрового «миров».

С точки зрения историка, существенен и «парадокс Интернета», согласно которому вероятность наличия нужной информации в цифровом формате в Интернете возрастает, а возможность её найти уменьшается. И если это действительно так, то настает момент, когда важно посмотреть на ремесло историка в современных реалиях, чтобы найти подход и правила совместного использования цифровых возможностей. Если сообщество историков отнесется к этому вызову времени со вниманием, это позволит найти новые формы исследовательского творчества и станет важным этапом развития историографии, сопоставимым с количественным рывком в начале микрокомпьютерной революции.

<sup>16</sup> *Таллер М.* Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая информатика. 2012. № 1. С. 5–13.

<sup>17</sup> *Turkel W.J., Kee K., Roberts S.* A method for navigating the infinite archive // History in the digital age. London; New York: Routledge, 2013. P. 61–75.

Таким образом, отвечая на заглавный вопрос статьи, можно уверенно утверждать, что цифровая история становится активной исследовательской практикой. Базируясь на информационной технологии баз данных, цифровая история затрагивает широкий спектр междисциплинарного сотрудничества: от источниковедения и археологии до алгоритмизации и архитектуры информационных систем. Конечно, между историком и программистом больше различий (как и в 1960-е гг.), но распространение информационных систем и их активное включение в повседневную работу историка, выявляет и общий междисциплинарный интерес в вопросах организации, поиска и изучения информации. И сегодняшний день открывает перед историком широкие возможности освоения виртуальности для профессиональных исследовательских нужд.

## ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

**В.Л. Гайдук**

НИУ «Высшая школа экономики»  
г. Москва

**Аннотация.** В статье рассматривается влияние визуального поворота на исторические исследования. В работе также определяется область применения каждого из трех терминов *iconic turn*, *pictorial turn* и *visual turn*. Анализ работ историков, в которых главный акцент делается на визуальные источники, демонстрирует успешное применение визуального материала в исторических исследованиях.

**Ключевые слова:** визуальный поворот, *visual studies*, визуальные источники, смотрение, восприятие

В современных визуальных исследованиях сосуществуют три термина, обозначающих определенный сдвиг в области изучения визуальных образов: *visual turn*, *iconic turn*, *pictorial turn*. Оставляя за рамками данного исследования вопрос о правомерности употребления термина «поворот» в данных выражениях, обратимся к анализу каждого из трех вышеприведенных понятий.

Термин *iconic turn* был предложен швейцарским искусствоведом Готфридом Бёмом в статье «Повторяющееся изображение»<sup>1</sup>. Г. Бёма, по мнению И. Инишева, интересовала, прежде всего, «внутренняя структура образа, его связь с материальным носителем, потенциал образа как ресурса познания»<sup>2</sup>. Главным для Г. Бёма становится понимание образа как «логоса, как процесса генерации смысла»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Boehm G. Wiederkehr der Bilder // Was ist ein Bild. München, 1994. S. 12–45.

<sup>2</sup> Инишев И. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Логос. 2012. № 1 (85). С. 187.

<sup>3</sup> Boehm G., Mitchell W.J.T. Pictorial versus Iconic Turn: Two letters // Culture, Theory and Critique. 2009. Bd. 50 (2–3). P. 105.

Иконология, по мнению автора, является особой методологией истории искусства, которая интерпретирует логос изображения, вписывая его в исторический контекст; анализирует образ как объект, наполненный смыслом и ориентированный на зрителя.

Иконографический поворот, с точки зрения Г. Бёма, не вводит прямого противопоставления между словами и изображениями<sup>4</sup>. Г. Бём предлагает историкам искусства концентрироваться на анализе изображений, исходя из самих изображений, т.е. с минимальным применением текстовых источников. В свою очередь, Т. Митчел, являющийся автором понятия *pictorial turn*, предлагает рассматривать этот поворот с позиции смены парадигм, предложенной Т. Куном<sup>5</sup>. Условием для возникновения *pictorial turn* становится кризис мировоззрения, связанный с доминированием новых средств производства информации и с ее визуальным характером. По мнению автора, изменяется картина мира человека, она становится именно картиной, построенной на визуальных образах, отсюда вытекает и сам термин, употребляемый Т. Митчелом: «*pictorial turn*», т.е. «картинный поворот»<sup>6</sup>.

Главной целью исследований Т. Митчел считает изучение места распознавания как связи между идеологией и иконологией, которое перемещает обе отрасли знания с когнитивного эпистемологического основания (знание об объектах посредством субъектов) на этический, политический и герменевтический (знание о субъектах посредством субъектов) уровни<sup>7</sup>.

Визуальный поворот исходит из идеи визуальной культуры «как отличительной черты текущего этапа в развитии современного западного общества»<sup>8</sup>. В качестве примера можно привести работы современного американского исследователя медийной культуры Н. Мирзоева. Визуальная культура понимается им как культура, в которой потребитель ищет информацию в области визуальных технологий; под визуальными технологиями автором понимается все от живописи до телевидения и интернета<sup>9</sup>. Еще одной отличительной особенностью визуальной культуры, по мнению Н. Мирзоева, является современная тенденция к визуализации человеческого существования. По отношению к предшествующей традиции, в которой мир понимался как книга, современная ситуация представляет собой совершенно иное явление, в рамках которого мир понимается как изображение.

<sup>4</sup> Ibid. P. 107-109.

<sup>5</sup> Ibid. P. 115.

<sup>6</sup> Ibid. C. 114-115.

<sup>7</sup> Ibid. P. 120.

<sup>8</sup> Инишев И. Указ соч. С. 188.

<sup>9</sup> Mirzoeff N. What is visual culture // Visual culture reader. Routledge, 2002. P. 3

Visual и pictorial turn по-разному относятся к проблеме материального носителя образа. По мнению И. Инишева, теоретики визуальной культуры выдвигают на первый план «социальные и политические импликации образных содержаний»<sup>10</sup>, в то время как сторонники теории pictorial turn рассматривают сам «иконический медиум, обладающий особым модусом присутствия, оказывающим влияние на способы и эффекты восприятия образного содержания»<sup>11</sup>.

Таким образом, сторонники pictorial/iconic turn исходят из представления, что «образ является презентацией, истоком мощи, природа которого как объекта, наделенного бытием, требует, чтобы те, кто его анализирует, обращали пристальное внимание на способ, каким он воздействует своей магией на зрителя»<sup>12</sup>. Сторонники visual turn трактуют образ как культурную репрезентацию, значение которой связано по большей части с содержанием образа.

Активная разработка проблематики визуальных исследований в Европе и Северной Америке пришлось на 80–90 гг. XX в., в российской традиции визуальным исследованиям стали уделять внимание лишь в конце XX в. Хотя некоторые советские искусствоведы затрагивали отдельные вопросы, связанные с проблематикой образа и визуальности, гораздо раньше. Необходимо отметить, например, работы Б. Раушенбаха. В монографии «Геометрия картины и зрительное восприятие»<sup>13</sup> он исследует геометрические приемы, которые связаны с передачей пространственности<sup>14</sup>. Конечно, нельзя относить эту работу к области visual studies, но в ней присутствуют некоторые идеи, которые пересекаются с идеями западных коллег. Например, по мнению А.В. Венковой, процедура «разглядывания» картины, которая призвана извлечь дополнительную информацию из изображения, близка по своей сути «пристальному взгляду», предложенному Н. Брайсоном и Ф. Джеймисоном<sup>15</sup>.

В российской традиции прочно укоренился термин визуальный поворот; к сожалению, авторы не всегда понимают разницу между тремя вышеобозначенными терминами и рефлексиируют употребление именно этого понятия. В рамках размышлений о месте и роли

<sup>10</sup> Инишев И. Указ. соч. С. 188.

<sup>11</sup> Там же. С. 188.

<sup>12</sup> Мохей К. Visual Studies and the Iconic Turn // Journal of Visual Culture. 2008. No. 7 (2). P. 141.

<sup>13</sup> Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2002.

<sup>14</sup> Там же. С. 7.

<sup>15</sup> Венкова А.В. Видеть и говорить. О книге Дж. Элкинса «Исследуя визуальный мир» // Международный журнал исследований культуры. № 2(3). 2011. URL: [www.culturalresearch.ru/ru/archives/66-art2011](http://www.culturalresearch.ru/ru/archives/66-art2011). [Режим доступа: свободный]. Дата обращения - 31.08.2013.

визуального поворота необходимо остановиться на сборнике «Очевидная история»<sup>16</sup>, авторы которого стремились дать теоретическое осмысление визуального поворота и рассмотреть возможность применения методов визуальных исследований в исторической науке. В сборнике представлена теоретическая статья Б.А. Соколова<sup>17</sup>, в которой автор рассматривает три возможные предпосылки визуального поворота: социальные, теоретические и психологические. В качестве социальных предпосылок автор рассматривает изменение роли истории в современном мире, а именно стирание четких границ между «так называемой профессиональной историографией и историей для широкого читателя»<sup>18</sup>. Следует отметить, что на данном этапе намечается скорее увеличение разрыва между социально-ориентированной историей и научно-ориентированной историей<sup>19</sup>. Сближение двух этих областей практически недостижимо, т.к. перед разными видами истории стоят разные цели. Социально-ориентированное историописание имеет целью конструировать национальное прошлое, в то время как научно-ориентированная история стремится к достижению научной истины.

Вторая предпосылка визуального поворота, по мнению Б.А. Соколова, связана с влиянием лингвистического поворота, а именно с расшифровкой любого текста в рамках того дискурса, в котором он создавался<sup>20</sup>. Подобной стратегии работы с историческими источниками противопоставляется работа с историческими источниками как со «слепок реальности». Стремление проанализировать исторический источник как «отражение реальности» отсылает нас к ленинской теории отражения<sup>21</sup>, а вместе с ней и к классическому типу рациональности. Идея рассмотрения исторического источника, любого типа — письменного или визуального, — в рамках того исторического контекста, в котором он создавался (а в исторический контекст, безусловно, включается и дискурсивный контекст), возникает гораздо раньше лингвистического поворота. Развитие идей

<sup>16</sup> Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск, 2008.

<sup>17</sup> Соколов Б.А. Текст, образ, интерпретация: визуальный поворот в современной западной историографии // Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск, 2008. С. 10–24.

<sup>18</sup> Там же. С. 11.

<sup>19</sup> Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Социально ориентированная история в актуальном интеллектуальном пространстве: приглашение к дискуссии // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. М., 2012. С. 274.

<sup>20</sup> Соколов Б.А. Указ. соч. С. 11.

<sup>21</sup> См.: Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1968. Т. 18.

о важности анализа условий возникновения исторического источника можно найти, например, в работах А.С. Лаппо-Данилевского<sup>22</sup>, которые были созданы еще в начале XX в.

Таким образом, первые две предпосылки возникновения визуального поворота в гуманитарных науках являются спорными. Наиболее убедительной является третья предпосылка, связанная с введением Р. Арнхеймом категории «визуального мышления»<sup>23</sup>. Р. Арнхейм доказывает, что восприятие визуальных образов является не простым запечатлением предметов, а интеллектуальной познавательной деятельностью<sup>24</sup>.

Говоря о предпосылках визуального поворота, с моей точки зрения, необходимо остановиться на двух основных моментах, которые способствовали развитию визуальных исследований. Во-первых, это развитие технологий воспроизведения визуальных образов. Эту проблему впервые обозначил В. Беньямин в работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»<sup>25</sup>. Развитие средств технической репродукции изображений лишают наблюдателя возможности пережить «здесь и сейчас» искусства, т.к. он в большей степени сталкивается с копиями, а не с подлинниками. Кроме того, копии в процессе производства лишаются особой художественной ауры, которая присуща подлинникам. Размышления В. Беньямина о подлинности/копийности произведений искусства повлияли на разработку мотива материальности в современных визуальных исследованиях.

Второй важной предпосылкой визуального поворота можно считать изменение отношения к объекту исследования в рамках постнеклассической рациональности. Получаемые знания об объекте исследований необходимо соотносить не только с особенностями «средств и операций деятельности, но и ценностно-целевыми структурами»<sup>26</sup>. Вопрос об объекте визуальных исследований является одним из ключевых. В дискуссии<sup>27</sup>, посвященной проблемам изучения визуального, опубликованной в журнале *October* в 1996 г., проблема объекта визуальных исследований обсуждалась отдельным пунктом. В процессе дискуссии высказывались разные мнения, но практически все ученые констатировали факт конструирования объекта субъектом в процессе проведения исследования<sup>28</sup>.

<sup>22</sup> См.: Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Т. 2. М., 2010. С. 113.

<sup>23</sup> См.: Арнхейм Р. Искусство и зрительное восприятие. Благовещенск, 2000.

<sup>24</sup> Там же. С. 21.

<sup>25</sup> Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Учение о подобию. Мидиаэстетические произведения. М., 2012. С. 190–234.

<sup>26</sup> Философия науки: общие проблемы познания. М., 2005. С. 479.

<sup>27</sup> Visual Culture Questionnaire // *October*. 1996. Vol. 77. P. 25–70.

<sup>28</sup> *Ibid.* P. 65.

Правда, некоторые исследователи с этой точкой зрения не соглашались, например, М. Баль утверждает, что, во-первых, «объект визуальных исследований определяется не тем, что в него включено <...>, а тем как оно функционирует» (курсив М. Баль)<sup>29</sup>. Во-вторых, автор подчеркивает нематериальный характер объекта визуальных исследований, который не может быть сведен к отдельным объектам искусства<sup>30</sup>.

В исторических исследованиях мы имеем дело в большей степени именно с визуальным поворотом, т.к. именно этот термин включает в себя не просто исследование изображений, но исследование и интерпретацию изображений в том контексте, в котором они создавались. Нельзя однозначно сказать, на пересечении каких областей знания находится визуальный поворот. Специфика визуального поворота заключается в перемещении акцента с письменных источников на источники визуальные. Этот переход осуществляется не только в рамках исторических исследований, но и в рамках других областей знаний, таких как антропология, культурология, социология и др.

В исторических исследованиях, по мнению В.А. Кивельсон<sup>31</sup> и Дж. Ньюбергер, можно выделить четыре основных подхода к визуальным источникам: 1) использование визуальных источников для извлечения информации, не зафиксированной в письменных источниках; 2) декодирование символического значения изображений; 3) исследование режимов смотрения определенной эпохи; 4) изучение практик смотрения как образующих и преобразующих аспектов исторического опыта<sup>32</sup>.

Первые два подхода характеризуются использованием визуальных источников как вспомогательных материалов, которые помогают лучше понять и проанализировать текстовые документы. Последние две стратегии работы с изображениями определяют новые направления развития исторической науки: изучений визуального канона эпохи и его восприятия людьми.

В качестве примера работы историков с визуальными источниками можно привести исследования Е.А. Вишленковой<sup>33</sup> и Я. Плампера<sup>34</sup>. Авторы этих исследований по-разному используют стратегии анализа

<sup>29</sup> Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований // *Логос*. 2012. № 1 (85). С. 227.

<sup>30</sup> Баль М. Указ. соч. С. 219–220.

<sup>31</sup> Kivelson V. A., Neuberger J. Seeing into being: an introduction // *Picturing Russia. Explorations in visual culture*. Yale, 2008. P. 1–12.

<sup>32</sup> *Ibid.* P. 2.

<sup>33</sup> Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011.

<sup>34</sup> Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. М., 2010.

визуальных образов, но в каждом случае привлечение визуальных источников обогащает исследование. Обратимся к краткому анализу каждой из вышеуказанных работ.

Монография Е.А. Вишленковой «Визуальное народоведение империи»<sup>35</sup> посвящена анализу «соотношения этнического, национального и имперского воображения россиян в пространстве визуального»<sup>36</sup>. Исследование основывается на графических источниках дофилософского и дофотографического периода истории России — второй половины XVIII — первой трети XIX в.<sup>37</sup> Графические источники, безусловно, являются основными, но не единственными для автора. К исследованию привлекается большой корпус текстовых источников, которые помогают установить, как смотрели на изображение современники и как они его интерпретировали.

Перед автором стоит несколько задач: во-первых, «выявить нарративные и ненарративные ситуации, рождавшие в современниках фантазии и размышления на тему человеческой многоликости Российской империи»<sup>38</sup>. Во-вторых, реконструировать те художественные миры, которые порождались в процессе размышлений о национальном многообразии. В-третьих, «выявить используемые в исследуемой культуре способы апробации этих эфемерных созданий текстоцентричными системами»<sup>39</sup>.

Реализация поставленных задач успешно осуществляется на материале визуальных источников. Преимущество рисунков заключается, прежде всего, в их легкой и быстрой воспроизводимости на любых поверхностях, будь то фарфор, глина, картон или ткань; и их доступностью для рядового обывателя. Е.А. Вишленкова также отмечает, что первоначальное соглашение о художественном изображении различных национальностей было достигнуто именно в визуальных источниках, и лишь затем оно было переведено в текст и стало возможным его «бытование в вербальном языке в “заархивированном виде»<sup>40</sup>. Кроме того, автор подчеркивает, что визуальный язык изображений задавал единое видение до тех пор, пока проблема не приобретала политической окраски и не начинала выражаться в текстовых категориях.

Таким образом, в результате проведенного анализа визуальных источников автор приходит к выводу, что русская нация начинает осознавать себя как нация во время Наполеоновских войн: образ русского народа перерастает из статичного изображения, коим он

<sup>35</sup> Вишленкова Е.А. Указ соч.

<sup>36</sup> Там же. С. 9.

<sup>37</sup> Там же. С. 21.

<sup>38</sup> Там же. С. 19.

<sup>39</sup> Там же. С. 19.

<sup>40</sup> Там же. С. 296.

являлся до начала XIX в., в образ народа, ведущего войну против французов. Следует отметить, что в процессе исследования Е.А. Вишленкова стремится раскрыть весь потенциал визуальных источников. Этот тип исторических источников не используется автором только как иллюстративный материал, но как основной источник, который помогает четко определить время возникновения таких спорных понятий, как «народ», «нация», «национальное самосознание».

В работе Я. Плампера<sup>41</sup> исследуется процесс становления и функционирования культа личности И.В. Сталина. Этот процесс изучается на различном визуальном материале: фотографиях вождя на страницах газеты «Правда»; картинах (например, анализу полотна «Сталин и Ворошилов в Кремле» посвящена отдельная глава), в художественных фильмах и т.д.

Наибольший интерес представляет глава, посвященная анализу формирования культа личности И.В. Сталина на страницах газеты «Правда»<sup>42</sup>. Главной целью этой главы становится выявление визуальных репрезентаций, под которыми понимаются «фотографии, репродукции картин, портреты на обложках книг, изображение вождя в театральные постановках и пр.»<sup>43</sup>. Для достижения главной цели автор использует в основном количественный метод исследования изображений И.В. Сталина на страницах газеты.

В результате проведенного анализа автор приходит к выводу, что, во-первых, репрезентации И.В. Сталина на первой странице газеты преобладали над изображениями на остальных страницах, за исключением отдельных лет. Во-вторых, динамика развития одиночных репрезентаций такова: сначала преобладают совместные репрезентации, однако к 1937 г. число таких репрезентаций идет на спад и уступает место одиночным репрезентациям. В-третьих, косвенные репрезентации И.В. Сталина с 1929 по 1936 гг. почти не появляются на страницах газеты, но с 1937 г. ситуация резко меняется и число фоновых репрезентаций сначала равняется числу прямых репрезентаций, а затем резко увеличивается.

Я. Плампер не сводит результаты своих исследований только к количественным показателям, он также пытается дать объяснение тем выводам, к которым его приводит количественный анализ. Автор стремится вписать каждое изображение в определенный исторический контекст, но практически игнорирует текст газеты «Правда». Изображение в газете и текст неразрывно связаны друг с другом: невозможно анализировать одно без другого. Хотя Я. Плампер в других

<sup>41</sup> Плампер Я. Алхимия власти...

<sup>42</sup> Там же. С. 55–136.

<sup>43</sup> Там же. С. 56.

главах активно использует текстовые источники, чтобы грамотно интерпретировать визуальные изображения, однако при анализе «Правды» автор этот прием практически не использует.

Главное ноу-хау работы Я. Плампера заключается в перестановке акцента с текстовых источников на источники визуальные. Формирование образа И.В. Сталина дается главным образом не по письменным источникам, как это делалось ранее, а на основании визуальных репрезентаций вождя. Такой подход к материалу оправдан, т.к. «Правда» была центральной газетой СССР и рассылалась даже в самые отдаленные уголки страны. Если для чтения и понимания газеты требуется определенный уровень грамотности, то для восприятия изображений, напечатанных в газете, грамотности может не требоваться вовсе.

Оба автора вовлекают в поле своих исследований проблемы, имеющие обширную историографию: национализм и культ личности. Исследование именно визуального материала помогает авторам успешно решить поставленные задачи, во многом оспаривая выводы своих коллег, сделанные только на основании письменных источников. Визуальные источники позволяют Е.А. Вишленковой и Я. Пламперу изучать бытование визуальных образов именно в массовой культуре, для которой изображения являются более понятными и доступными, нежели письменные источники.

Таким образом, методы и практики, привносимые в исторические исследования визуальным поворотом, успешно применяются исследователями на различном историческом материале. Хотя многие теоретические вопросы, связанные с визуальными источниками, остаются по-прежнему не разрешенными, проблематика визуального становится все более и более востребованной в исторических работах

## «MEMORY STUDIES» КАК ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

*А.Н. Киридон*

Украинский институт национальной памяти,  
г. Киев

***Аннотация:** Современное состояние гуманитаристики характеризуется возникновением и эволюцией новых исследовательских парадигм, размыванием границ традиционных дисциплин, активным развитием междисциплинарных штудий, широким тематическим и методологическим разнообразием. Исследования исторической памяти требуют интердисциплинарного совмещения исследовательских компетенций (историков, социологов, психологов, филологов, культурологов, антропологов и др.); не имея своего обособленного поля, модифицируют, расширяют и одновременно углубляют уже имеющиеся предметные поля, позволяют подойти к разработке новых интерпретационных схем. Автором предпринята попытка лишь в первом приближении очертить подход к дальнейшему осмыслению предмета, методов, проблематики исследований памяти. В статье рассматриваются некоторые особенности становления «memory studies» в Украине.*

***Ключевые слова:** «memory studies», парадигма, память, междисциплинарные штудии, парадигма памяти.*

Гуманитарная наука проходит в последнее время сложный и неоднозначный период трансформации и поиска новой дисциплинарной идентичности. В силу нескольких «поворотов», изменивших и значительно расширивших предметное поле и методологический арсенал научного знания в XX в., мы наблюдаем фундаментальную перестройку всего корпуса социальных наук. Современное состояние гуманитаристики характеризуется возникновением и эволюцией

новых исследовательских парадигм, размыванием границ традиционных дисциплин, активным развитием междисциплинарных штудий, широким тематическим и методологическим разнообразием. «Так или иначе, — подчеркивает Л.П. Репина, — но совершенно очевидно, что многие выделившиеся было субдисциплины имеют общий теоретический, методологический и концептуальный арсенал, демонстрируют общее направление развития и различаются лишь по специальной предметной области, что в принципе создает предпосылки не только для плодотворного сотрудничества между разными внутродисциплинарными специализациями (как «старыми», так и теми, которые конституировались совсем недавно), но и для их последующей реинтеграции на новых эпистемологических основаниях»<sup>1</sup>. Отличительная черта нынешнего этапа развития научного знания состоит в том, что «дедуктивный подход к знанию заменяется представлением об интерпретации с позиции разных перспектив»<sup>2</sup>.

Одним из примеров междисциплинарных студий является «memory studies». Изучением тех или иных аспектов памяти занимаются историки, социологи, психологи, культурологи, антропологи, юристы, философы, лингвисты. Соответственно для «memory studies» характерно сочетание методов и подходов разных областей знания. Междисциплинарный характер находит проявление в том, что исследования проводятся в рамках различных наук, в зависимости от чего они (исследования) приобретают соответствующую теоретическую направленность. Если междисциплинарность понимать как «систему взаимодействий»<sup>3</sup>, необходимо различать разные уровни этой системы: от простого обмена идеями до взаимной интеграции концепций, методологий, исследовательских процедур, терминологических дискурсов<sup>4</sup>.

Целью статьи является попытка лишь в первом приближении очертить подход к дальнейшему осмыслению предмета, методов, проблематики штудий памяти.

<sup>1</sup> Репина Л.П. Интегративные исследовательские стратегии в современной исторической науке // Запад-Россия-Восток в исторической науке XXI в.: Матер. междунар. конф. в честь 100-летия СГУ (Саратов, 14–16 мая 2009 г.): В 2 ч. / Под общ. ред. Ю.В. Варфоломеева и Л.Н. Черновой. Саратов, 2010. Ч. 1. С. 9.

<sup>2</sup> Еришова Г.Г., Долгова Е.А. Историческая перспектива междисциплинарных исследований: вместо вступления // «Стены и мосты»: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: материалы междунар. науч. конф. М., 2012. С. 11.

<sup>3</sup> Раттур М.В. Междисциплинарные связи исторической науки: ретроспективный взгляд // Стены и мосты... С. 191.

<sup>4</sup> Василькова В.В. Междисциплинарность как когнитивная практика (на примере становления коммуникативной теории) // Коммуникация и образование: сб. ст. / Под ред. С.И. Дудника. СПб., 2004. С. 69.

Как правило, активизацию исследований в области изучения памяти связывают с лингвистическим и культурологическим поворотом<sup>5</sup>. Возрастание интереса к изучению памяти на постсоветском пространстве в начале 1990-х гг. вызвано также образованием национальных государств, проблемами «присвоения прошлого», создания его образов в контексте формирования национальной и культурной идентичности. После распада СССР в научный оборот были введены новые источники, расширился круг проблем, наблюдается постепенная переориентация внимания исследователей с проблем социально-экономического характера на массовое сознание и поведение. Началось сознательное конструирование прошлого и намеренное моделирование «исторической памяти». Реализация новых поставленных задач, естественно, потребовала новых категорий анализа.

Очевидно, первоначально «memory studies» как новое направление заявило о себе в культурологии и философии. По мере усиления интереса к этой проблематике (начиная с 1980-х гг.) наблюдается расширение проблемного поля (коллективная память, места памяти, образы прошлого, память и идентичность, ностальгия и др.).

Причиной появления нового направления стал кризис традиционной модели знания, различные повороты в условиях социокультурных трансформаций, невозможность объяснить многие процессы и явления в рамках существующей парадигмы. «Memory studies» можно рассматривать как вариант создания альтернативной модели изучения прошлого на основе применения междисциплинарных подходов, ориентированных на (ре)-конструкцию социокультурного пространства<sup>6</sup>. При этом «memory studies» нацелены на расширение предметного поля

<sup>5</sup> Среди всех методологических «поворотов», оказавших влияние, в частности, на современную историческую науку, Л.П. Репина обращает особое внимание на «культурный поворот» в гуманитарном знании, заявивший о себе в начале 1980-х гг. По ее словам, он стал «важным качественным сдвигом в мировой историографии», под воздействием которого «возникли новые формы изучения «социального» — быть может, менее амбициозные, но более гибкие и обладающие значительным эвристическим потенциалом». Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011. С. 550.

<sup>6</sup> Как подчеркивает М.М. Кром, междисциплинарность не была такой уж новостью в 50–60-х гг. XX в.: обращение к опыту смежных дисциплин практиковали еще отдельные исследователи конца XIX в.; к этому же настойчиво призывали основатели школы «Анналов» в 30-е годы. Разница, однако, заключается в масштабе такого междисциплинарного диалога и в выборе самих дисциплин «партнеров». До середины XX в. полидисциплинарный подход применяли лишь отдельные выдающиеся историки-энтузиасты, в послевоенный же период этот подход получает массовое распространение, постепенно становится «нормой» (парадигмой) серьезного исторического исследования. Кром М.М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу.



исследований, позволяют подойти к разработке новых интерпретационных схем, требуют интердисциплинарного совмещения исследовательских компетенций (историков, социологов, психологов, философов, культурологов, филологов, антропологов и др.). То есть, не имея своего обособленного поля, исследования памяти модифицируют, расширяют и одновременно углубляют уже имеющиеся предметные поля. Дальнейшего обоснования и мотиваций отбора требует вопрос источниковой базы нового направления. Работа в парадигмальном поле «memory studies» также актуализирует вопрос компетентности / эрудированности / профессионализма исследователя

В современной историографической ситуации, обусловленной глобальным методологическим кризисом, критическим пересмотром традиционной парадигмы развития исторической науки как науки о прошлом, появление «memory studies» позволяет по-новому подойти к рассмотрению исторического процесса. Сущность современной «парадигмы памяти», сформировавшейся в русле исторической антропологии, состоит в том, что предметом исследования становится не историческое исследование или явление как таковое, а память о нем, живущая в сознании общества.

Обосновывая причины, вызывающие интерес исследователей к этой проблематике, О.Б. Леонтьева подчеркивает: историческая память, интересующая по своей природе, является одним из важнейших структурных элементов групповой идентичности — семейно-родовой, национальной, конфессиональной, гражданской и др. Все это пробуждает интерес к природе исторической памяти, к различным способам ее формирования, сохранения и трансляции: изучение образов общего прошлого, сложившихся в коллективной памяти общества, может многое поведать о самом вспоминающем обществе, о его ценностях, внутренних конфликтах, ожиданиях, надеждах и страхах<sup>7</sup>.

Важно учитывать, что применение методов и результатов исследований одних наук в процессе исследования других не должно быть «автоматическим» и бездумным. К примеру, на необходимость внимательного отношения к применению методов психологии в исторических исследованиях указывал В.А. Шкуратов: «Следует понять, что существующие теоретические средства истории и психологии не станут автоматически основой исторической психологии». В то же время такое взаимодействие возможно, когда «понятия и приемы другой научной сферы могут братья «напрокат» для решения определенной исследовательской задачи, минуя громоздкую апробацию

СПб, 2000. URL: <http://www.countries.ru/library/antropology/krom/index.htm>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.

<sup>7</sup> Леонтьева О.Б. Дискурс, образ, миф: междисциплинарность в изучении исторической памяти // Стены и мосты... С. 152–153.

и сложную систему методолого-теоретических допусков». Как считает ученый, залогом успеха является «высокая исследовательская культура и полное понимание каждой стороной собственных задач и функций»<sup>8</sup>.

Вместе с тем, «memory studies» можно рассматривать как трансдисциплинарную область знания. Базисным для этого утверждения является определение Л.П. Репиной: «Современная история междисциплинарности <...> может быть условно описана через последовательный переход: от «интердисциплинарности» — через содержательно неразличимые «полидисциплинарность / мультидисциплинарность» — к «трансдисциплинарности»<sup>9</sup>. Концепт «трансдисциплинарности» предполагает подход, при котором сама проблема не может быть ни сформулирована, ни решена в границах любой традиционной дисциплины.

Опираясь на это определение, А.Г. Васильев подчеркивает: «memory studies» как дисциплина (а точнее — трансдисциплинарная область знания историко-культурологического характера) обладает своим предметом, то есть позволяет под определенным углом зрения рассмотреть всю совокупность явлений человеческой культуры, увидев их взаимосвязь с точки зрения того, как «образы-воспоминания» сохранялись, передавались, актуализировались, вытеснялись и использовались в той или иной культуре»<sup>10</sup>.

Солитаризируемся с А.Г. Васильевым относительно дискуссионности вопроса о степени зрелости «memory studies» и права претендовать на дисциплинарный статус. В этой связи небезинтересным является анализ взглядов исследователей различных наук. Так, американские социологи Дж. Олик и Дж. Роббинс в статье 1998 г. определили данное направление как «непарадигмальное, междисциплинарное, децентрированное предприятие»<sup>11</sup>.

Вместе с тем, по мнению американского историка В. Канштайна «успех memory studies не сопровождался существенными концептуальными и методологическими успехами в исследовании процессов коллективной памяти»<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Шкуратов В.А. Историческая психология на перекрестках человеческого знания // Одиссей: Человек в истории. М., 1991. С. 113–114.

<sup>9</sup> Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв... С. 29.

<sup>10</sup> Васильев А.Г. Memory studies: единство парадигмы — многообразие объектов. (Обзор англоязычных книг по истории памяти) // Новое литературное обозрение. 2012. № 117.

<sup>11</sup> Olick J.K., Robbins J. Social Memory Studies: From «Collective Memory» to the Historical Sociology of Mnemonic Practices // Annual Review of Sociology. 1998. Vol. 24. P. 105.

<sup>12</sup> Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies // History and Theory. 2002. Vol. 41. No. 2. P. 179.

Несколько иной взгляд, как подчеркивает А.Г. Васильев, сложился у немецких исследователей. Так, редакторы коллективного труда «Контексты и культуры воспоминаний: Морис Хальбвакс и парадигма коллективной памяти» Г. Эхтерхофф и М. Саар акцентировали внимание на следующем: когда мы говорим о «парадигме» коллективной памяти, «это не следует понимать в том «сильном» смысле, который изначально был придан этому понятию Томасом Куном в его исторической социологии науки. Введение понятия коллективной памяти, очевидно, не означает теоретической революции в том смысле, что старые проблемы оказались разрешены в рамках новой теории или же вообще потеряли смысл. <...> Напротив, парадигматическим (в «слабом» смысле) введение этого нового понятия или концепции является потому, что по-новому открывает целую область явлений и представляет в новом свете те феномены, которые до сих пор понимались совершенно иначе»<sup>13</sup>.

Направление «memory studies» в целом представляет особый исследовательский интерес в условиях произошедшего выделения, оформления и развития собственного предмета исследования, формирования историографии, переоценки и выработки новых критериев интерпретаций прошлого, а также необходимости переосмысления целого ряда методологических, источниковедческих, конкретно-исторических и терминологических аспектов. Возникает потребность подвергнуть компаративному изучению не только исторические, но и другие гуманитарные (культурологические, политологические, социологические) концепции. Это обусловлено спецификой научного, организационного и структурного оформления нового направления. К тому же наука пережила значительные изменения в области методологического, источниковедческого и терминологического инструментария.

Отличительная особенность исследований по исторической памяти — их поистине бескрайнее предметное поле. В сфере внимания специалистов по исторической памяти находятся:

- «коммуникативная память», охватывающая воспоминания трех-четырех живущих ныне поколений, — и «культурная память», соединяющая современность с давним прошлым<sup>14</sup>;
- память «мягкая» (личная, запечатленная в дневниках и воспоминаниях) — и память «жесткая» (закрепленная в форме разно-

<sup>13</sup> Kontexte und Kulturen des Erinnerns: Maurice Halbwachs und das Paradigma des kollektiven Gedächtnisses / Hrsg. G. Echterhoff, M. Saar. Konstanz: UVK, 2002. S. 14.

<sup>14</sup> Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 50–59.

образных «мест памяти», музейных экспозиций, календаря памятных дат)<sup>15</sup>;

- обыденные представления о прошлом и эволюция научных практик историописания<sup>16</sup>.

Но такое видение предметного поля, — подчеркивает О.Б. Лентьева, — потребовало и соответствующих изменений исследовательского инструментария историка, широкого использования методологического арсенала других гуманитарных наук. Исследователь, обратившийся к изучению исторической памяти, должен обладать способностью проследить внутренние взаимосвязи разных сфер культуры общества: от академической науки до исторических жанров искусства, от устных семейных преданий, овестьственных в памятных реликвиях и фотоснимках, до мемориального компонента городского пространства; от методики школьного преподавания истории до технологий «конструирования памяти» средствами масс-медиа<sup>17</sup>.

Междисциплинарная природа исследований исторической памяти связана со сложной, комплексной природой самого изучаемого феномена. С одной стороны, коллективная историческая память содержит в себе повествовательный, нарративный компонент, с другой — компонент образный, с третьей — совокупность разнообразных социальных практик коммеморации (не только «воспоминания», но и «забывания»). Безусловно, каждый из этих компонентов требует разных методик изучения. Содержательная сторона исторической памяти также включает в себя несколько уровней представлений о прошлом:

- информативный (конкретные сведения о том или ином историческом событии, лице, явлении);
- концептуальный (представление о ходе и смысле исторического процесса, о его факторах и движущих силах);
- аксиологический (оценка исторических событий и явлений с точки зрения ценностных приоритетов).
- наконец, исторические представления несут в себе эмпатическую составляющую, основанную на способности к сопереживанию и эмоциональному отклику на события давних лет.

<sup>15</sup> Эткинд А. Столетняя революция: юбилей начала и начало конца // Отечественные записки. 2004. №5. С. 46.

<sup>16</sup> Лоуэнталь Д. Прошлое — чужая страна. СПб, 2004. С. 6.

<sup>17</sup> Лентьева О.Б. Дискурс, образ, миф: междисциплинарность в изучении исторической памяти // Стены и мосты... С. 153–154.

— Таким образом, «memory studies» можно рассматривать как междисциплинарную или трансдисциплинарную область знания, со своей спецификой и подходами.

*Особенности «memory studies» в Украине.* С одной стороны, украинская историография «memory studies» (студии памяти) закономерно прошла и проходит те же этапы развития, что и историография в других странах, а с другой стороны, имеет свою логику развития, особенности, обусловленные, в первую очередь, самим предметом развития.

Хронологические рамки формирования нового направления «memory studies» стали складываться в западной историографии в 1960–1970-е гг., достигнув своего пика к 1980–1990-м гг. Во-первых, в гуманитарных науках начала формироваться тенденция необходимости конкретизировать предмет исследования. Во-вторых, во второй половине XX в. практически все социальные науки перестали стремиться к тому, чтобы создать некие универсально-всеобъемлющие системы знаний, и переориентировались на совершенствование собственного специфического научного пространства при помощи междисциплинарной методологии. И, наконец, третьей причиной является осознание значения так называемого «национального фактора» в истории государств и народов. Все вышесказанное, по мнению М.А. Штанько, привело к тому, что в системе гуманитарных наук происходит переосмысление мира, природы, действительности и места человека в этой действительности. Подобная трансформация с неизбежностью повлекла за собой необходимость сопоставления социокультурных, политических, экономических и ряда других условий, в которых развивалось мировое сообщество<sup>18</sup>.

Если существенные подвижки в развитии направления «memory studies» датируются второй половиной 1980-х гг., то в отношении современной украинской историографии более целесообразно говорить об ином временном рубеже — конце 1990-х–начале XXI в. Рассматриваемый период является весьма насыщенным по существу произошедших перемен. Он вместил в себя кризис методологических оснований исторической науки и гуманитарного знания в целом, «историковедческую революцию», «перестройку» исторической мысли, трансформацию научного сообщества. То есть маркирование границ и кристаллизация нового направления, слабо обоснованного методо-

<sup>18</sup> Штанько М.А. Компаративный анализ как междисциплинарный метод исследований в современной западной историографии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2012. № 9(23). Ч. 2. С. 210–213, 212.

логически, осуществлялась в условиях сложного построения или поиска многоуровневой системы координат украинского общества, переформатирования мировоззренческих установок научного знания в целом.

В эру лингвистического и культурного поворотов украинские и западные исследователи вошли с различным багажом. В силу этого наблюдается определенная зависимость от наработок западной историографии. С другой стороны, к сожалению, одной из проблем остается языковой барьер, а в силу этого — заметная зависимость от переводной литературы.

Формирование цеха исследователей исторической памяти также представляет проблему. Специализированных ученых советов по защите работ, выполненных в парадигме исследований памяти, нет. Точное определение границ различных дисциплин также представляет собой огромные трудности, которые с боем вынуждены преодолевать аспиранты и докторанты ради защиты диссертаций. Спектр исследований памяти включает языковые, поведенческие, телесные практики, рассмотрение истории и памяти как форм отображения исторической культуры, истории как искусства памяти и др. На наших глазах происходит активный процесс концептуализации мнемистики, как субдисциплины, ориентированной на включенность коллективной памяти в процесс осмысления связей между прошлым, настоящим и будущим.

В то же время исследования памяти актуализируют решение вопроса междисциплинарной составляющей конструирования понятий. Вряд ли выход проблемы памяти в междисциплинарное пространство упростил процесс ее категоризации и структурирования. Очевидно, что понятийно-категориальный аппарат в условиях нарастающего диалога гуманитарных дисциплин будет постоянно корректироваться, становиться более сложным и разнообразным, поэтому в ближайшее время ученым придется договориться о приемлемом определении употребляемых терминов.

К тому же неизбежно возникает вопрос о критериях достоверности и границах доказательности интеллектуального продукта исследований памяти, научная постановка вариативности интерпретационных концепций и др.

В целом, к началу XXI в. «memory studies» в Украине выделяются как общее направление исследований в гуманитаристике. В зависимости от сферы рассмотрения феномена памяти соответственно выстраивается содержание смыслового ряда или дефиниции.

Таким образом, «memory studies» рассматриваются как общее направление исследований, в пределах которого различают отраслевые конотативные структуры (в психологии, истории, философии,

политологии, социологии и т.п.) с различными векторами памяти, но в одной системе координат. Становление новой парадигмы социогуманитарного знания неминуемо влечет за собой необходимость дальнейшего осмысления направлений, подходов, методов, методологического инструментария, предметного поля и т. д.

## **ИСТОРИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН**

## ФРОНТИРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ: ОТ «ОГОРОДА» К «ПОЛЮ»

**И.П. Басалаева**

Новокузнецкий институт (филиал)  
Кемеровского государственного университета,  
г. Новокузнецк

***Аннотация.** Автор рассматривает преломление импульса методологической трансформации, полученного российской гуманитаристикой в начале 1990-х гг., в сфере исторических исследований, именуемых «фронтирными». Ставится вопрос, оказалась ли фронтирная концепция территорией действительных теоретических поисков в системе обновляющегося исторического знания. Сделан акцент на тех особенностях практикуемых фронтирных исследований, которые препятствуют их квалификации в статусе междисциплинарных.*

***Ключевые слова:** фронтир, сибиреведение, междисциплинарность, постсоветская историография.*

В постсоветской историографии в качестве одного из ключевых концептов утвердился термин *фронтир*, разработанный в англоязычных реконструкциях европейской колонизации. Популяризация фронтирного дискурса была сопряжена с артикуляцией методологического кризиса в отечественной исторической науке и с активными поисками ракурсов и инструментов нового исторического видения, которые позволили бы, в частности, реинтерпретировать идейный ландшафт сибиреведческих исследований. Функция «косметического ремонта» вполне традиционного историографического интерьера была делегирована концепции фронта в первых (1990-х гг.) попытках её применения к российскому (тогда преимущественно сибирскому) материалу. Употребление термина *фронтир* довольно быстро превратилось в маркер специфически понимаемой новизны исторического

исследования: при описании процессов социальной динамики как в страновом, так и в региональном масштабе отечественная история долгие десятилетия не выходила за рамки парадигмы колонизации в её различных изводах — от областнического до истматовского<sup>1</sup>. Около десятилетия понятие *фронтир* фиксировало принадлежность применяющих его авторов к когорте *современных* исследователей. Сегодня фронтирные штудии расширяются в предметном отношении и попутно утрачивают ауру академической «эксклюзивности».

С конца XX в. отечественная историческая наука в результате пережитых ею идеологических трансформаций и «инодисциплинарных интервенций» декларирует ориентацию не на интеллектуальную поддержку генерализующих концептов советской историографии, а на изучение культурного многообразия, причём методами, характерными для междисциплинарных исследовательских практик. Собственно, эта тенденция определила логику, в целом характерную для гуманитарной «передовой» с её выраженным движением от гипостазирования общих и фундаментальных структур к допущению вариативных, множественных и лимитированных порядков сущего. В это время менялось базовое научное представление об устройстве социального мира, а оптика гуманитарного исследования перефокусировалась с монологических «больших нарративов» на «полифонические» микроисторические штудии. Интеллектуальная история, история ментальностей, локальная история, история повседневности, регионология, историческая регионалистика, историческая география, городская история, новая биография, клиометрия, психоистория, история культурных зон, гендерная история, новая социальная история, новая история империи, а также ряд параисторических направлений (метафизика города, сакральная география, исследования городских текстов, топоэксфрагисов, образов территорий) — всё это подвижные и отчасти перекрывающие друг друга дисциплинарные поля, на которых происходят методологические поиски и обретения, так или иначе связанные с преодолением централистской перспективы гуманитарных исследований.

Примечательно, что деконструкция системы советской историографии протекала параллельно процессу регионализации постсоветского пространства. Одним из вызовов времени стал поиск подходя-

<sup>1</sup> В программной статье Д.Я. Резуна, одного из «отцов-основателей» фронтирного направления в постсоветской историографии, перечисление ряда «незыблемых постулатов», нуждающихся в тщательной критике, завершается выводом о том, что и сегодня «необходимо "вставить" эпизод присоединения и освоения Сибири в один общий ряд всемирной истории колонизационного движения» // Резун Д.Я. Люди на сибирском фронтире в XVII–XIX вв. URL: <http://history.nsc.ru/kapital/project/modern/003.html>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.

щей методологической рамки, в которой присоединение Сибири к Российскому государству получило бы новую трактовку. В результате актуализировалось понимание *приобретения Сибири* как факта, сопоставимого по значению с фактом Великих географических открытий, равно как и понимание того обстоятельства, что само это событие до сих пор должным образом не осознано<sup>2</sup>. Фронтальная теория обрела в связи с этим дополнительную актуальность.

Фронтальная концепция изучает формы социальности, вмещённые в то или иное локальное социокультурное пространство. Данный интерес свойствен целому ряду «региональных онтологий» постсоветского гуманитарного знания. В частности, именно этим занимаются реабилитированные исторический компаративизм и сибирский регионализм, а также активно формируемые субдисциплинарные пространства империологии, постколониальной критики и ориентализма, внутренней колонизации, регионологии, urban studies, социальных исследований границ. Но несмотря на смысловую смежность всех этих исследовательских тропов и парадигм в части описания социальной динамики, в дисциплинарном отношении они остаются значительно разобщёнными. Исследования сибирского фронта не являются исключением, поскольку носят узкоспециальный характер<sup>3</sup>, что существенно препятствует пониманию фронта как внутренне целостного социального процесса, зафиксированного в исторической событийности и детерминированного особенностями пространства разворачивания социального действия.

Отечественные исследования, выполняемые сегодня в логике фронтальной концепции, реализуются преимущественно историками, тем самым преодолевающими собственную цеховую замкнутость и методологический «монизм». Немаловажным в 1990-е гг. было то обстоятельство, что импорт методологии фронтальной концепции, как и некоторых других подходов (новой истории империи<sup>4</sup>, например),

<sup>2</sup> Вахтин Н. Русские старожилы Сибири. Социальные и символические аспекты самосознания. М., 2004. С. 16.

<sup>3</sup> И в этом смысле далеки от междисциплинарности в том ее виде, который зафиксировала И. Савельева как типичный для исторических исследований второй половины XX в., когда теория, заимствованная из неисторической дисциплины, сочеталась с историческими методами исследований. — Савельева И. Исторические исследования в XXI веке. Теоретический фронт: URL: <http://geftegr.ru/archive/8482#up66>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013. Некой «охранной грамотой» для историков, возможно, выступает тот факт, что фронтальная концепция возникла в XIX в. в поле исторического знания. Однако насколько внимательно прочитан Ф. Дж. Тернер современными «фронтальными» авторами, сказать сложно.

<sup>4</sup> Характерна следующая ремарка представителей данного направления: «именно в области изучения Российской империи наши специалисты вполне

предоставлял отечественным историкам также своего рода репутационно-статусный ресурс. Фронтальные исследования, первое время практиковавшиеся едва ли не исключительно сибирскими исследователями, являлись инструментом нового позиционирования региональной науки перед академическим сообществом центра, способом преодоления максимы о том, что наука делается в столице.

С содержательной точки зрения в современном сибиреведении все еще преобладают попытки «отстоять» саму теорию, фактуально насытить ее, легитимировать ее эвристичность и соответствие стандартам научной рациональности; при этом чаще встречаются опыты, свидетельствующие об «овладении» фронтальным подходом, но не методологическая рефлексия над основаниями самого подхода. Внутринаучная полемика по теоретическим аспектам концепции бедна. В узкоисторическом применении фронтальная тематизируется почти исключительно на историческом прошлом, без содержательного анализа «фронтального шлейфа» в новейшей истории Сибири и без выхода к серьезным теоретическим обобщениям. Исключения крайне редки. Разнесение исторических, археологических, философских и культурологических ракурсов фронтальности существенно редуцирует интерпретативные возможности теории в их применении к актуальным региональным сюжетам.

Бум сравнительно-исторического подхода и мода на фронтальные исследования в 1990-х гг. в целом дали интересные результаты, однако возможности собственно сравнения американской колонизации со всякой иной (российской, бразильской, канадской, аргентинской, австралийской и т. д.) уже давно резюмированы зарубежными историками: американский фронтальный опыт не тождествен аналогичному опыту других государств и не возвышается над ними, он просто *другой* — в силу существенных природных, ментальных и институциональных различий. Поэтому несходств обнаруживается гораздо больше, чем аналогий. Всё чаще в разных работах при сопоставлении американского и русских фронтов вывод делается о невозможности проводить прямые аналогии<sup>5</sup>. Вышеупомянутое применение

успешно и на равных интегрируются в мировую науку». — Сибирь в составе Российской империи. М., 2007. С. 10. Аналогий в других областях отечественного гуманитарного поля достаточно. Так, в российской географии все более значимое место занимает культурно-географическая проблематика, в разработке которой немаловажным фактором признаётся «освоение... опыта западной культурной географии» (В.Н. Калуцков). При этом «открытием» сегодня оказывается тот факт, что авторы русской антропогеографии первой четверти XX в. «были на уровне, а зачастую опережали зарубежных современников».

<sup>5</sup> См.: Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI—XX вв. / под ред. В.В. Алексеева и др. М., 2004.

фронтальной методологии с целью «инсталлирования» сибирской истории во всемирную выглядит при этом скорее как способ персоналистской интеграции отечественных учёных в «мировое научное сообщество».

Проблематика граничности уже около столетия рассматривается в дисциплинарных полях социальной истории, географии, геополитики, военного дела, мифологии, филологии, социальной психологии, этнологии и др. — но до сих пор без постановки задачи достижения сопоставимости результатов аналитики. «Ландшафтная рамка» сегодняшних гуманитарных исследований до сих пор производит впечатление теоретической новизны и свежести в силу табуирования пространственного аспекта исторического мышления в советское время (хотя ландшафтный подход в отечественной науке начинал разрабатываться ещё до революции). Европейской мыслью «размещённость» социального действия в пространстве, открытая Г. Зиммелем, исследуется с XIX в. Между тем первыми против нивелирования пространственного фактора в изучении социального определённо высказались только в конце 1960-х гг. С. Лаймен и М. Скотт. Специальное же внимание разработке понятия *социальное пространство* уделяется лишь с начала 1990-х гг. В 1995 г. Дж. Урри прямо постулировал необходимость специальных исследований того факта, что социальные практики оформлены *пространственными паттернами*, которые оказывают на эти практики серьёзное содержательное воздействие. В современной трактовке пространства как *Места* происходит взаимопроникновение социально-философского и социально-географического дискурсов, солидарных в неудовлетворённости физикалистской постановкой проблемы пространства и формулирующих задачу его нового понимания не как вещи/предмета, но как схемы классификации в результате действия-в-пространстве. Эффект новизны, который концепция фронта имеет для отечественной историографии, связан с легализацией в ней природно-пространственного фактора. Как отмечал Р. А. Биллингтон, примерно такое же звучание для американской историографии в своё время имели взгляды автора фронтальной концепции Ф. Дж. Тернера: это был вызов старым научным подходам, исключавшим влияние фактора окружающей среды из анализа общественных институтов. То, что для апологетов исторического материализма некогда являлось объектом критики в качестве «буржуазного географического детерминизма», обрело сегодня особую эвристическую значимость в анализе исторических метаморфоз России.

Фронтальная концепция вносит серьёзные поправки в методологию традиционного социально-исторического знания, основанную на макроисторических принципах линейно-восходящего развития

и обобщающих категориях имперского и советского генеза. К последним относятся представление о линейности исторического времени; основанная на универсалистской хронологии концепция мировой истории; идея прогресса, выступавшая в своё время «научным» оправданием «просвещённой» колонизации; телеологизм; идея всеобщих человеческих ценностей, предполагающая колониальное градуирование человеческой природы между полюсами «отсталости» и «цивилизованности»; третирование региональной специфики и др. Подобные инструменты иерархического структурирования реальности содержат потенциал властного контроля над ней. Именно по причине программного обновления методологического инструментария фронт пока не может быть назван категорией, органичной для традиционного позитивистского инструментария исторической науки, хотя в некоторых своих положениях фронтальная концепция наследует модернизационной парадигме.

Современная востребованность понятия *фронт* в российской науке оборотной стороной имеет недостаточность его концептуализации. Наиболее содержательными определениями остаются контекстуальные, выявляющие объём понятия путём каталогизации и описания слабо различённых региональных разновидностей фронта. При чтении специальных работ складывается впечатление, что историкам в принципе трудно понятийно помыслить этот термин. Попытки «приземлить» фронт исключительно на конкретно-исторический материал создают ряд неразрешимых традиционными историческими методами затруднений. (Помимо историков, данное понятие используют филологи в рамках изучения национальных истоков поэтики американской литературы.) В слишком многих современных работах термин *фронт* фигурирует как нечто самоочевидное и не нуждающееся в дефинировании. Естественным следствием этой негласно принятой установки является недостаточное соответствие понятия критериям научности.

Не преодолён узкоисторический взгляд на фронт, ограниченный анализом социально-экономического материала и не могущий учесть те онтологические уровни феномена, которые не фиксируются объективистской методологией. Нарративные формы презентации исторического всё ещё не представляют вполне легитимного объекта для критической массы представителей исторического сообщества. Не проблематизирована перцепция фронта доминируемыми группами: данная задача не поставлена в постколониальных и империологических исследованиях, где подобная фокусировка вполне ожидаема. Не анализируется конкретная темпоральная и пространственная представленность региональных версий фронтальной динамики — дело вообще редко идёт дальше декларирования разновидностей фронта,

номинаруемых по чисто внешнему страновому или географическому принципу. Всё это даёт основание для постановки вопроса о том, насколько полно освоены возможности нового социально-философского и исторического видения в тематическом поле исследований Сибири.

При современной постановке исследовательских проблем в области сибиреведения фронтир далеко не ограничивается значением *территориальный локус*, — это вообще не «чисто географический» феномен, и именно поэтому для его анализа продуктивным оказывается обращение к категории *культурный ландшафт*. Для последней конститутивными являются социальные и символические компоненты описываемого явления. Фронтир следует рассматривать как процесс и результат социального конструирования фазового (смыслового, признакового) пространства, базовые значения которого седиментируются в ретранслируемой особыми социальными механизмами «статике» территориальной идентичности. Граница уже Г. Зиммелем, автором концепта *социальное пространство*, понималась отнюдь не как пространственный факт с социологическими последствиями, но как социологический факт, формируемый пространственно. В логике его аналитики локальное социальное пространство может рассматриваться как система ландшафтно конституированных социальных связей, т. е. как пространственная проекция социальных форм. К акторам, формирующим такое социальное пространство, применимо понятие *резидентное размещение*, введённое Т. Парсонсом, рассматривавшим сообщество в статусе коллектива, члены которого разделяют общую территориальную область как базис своих операций в повседневной деятельности.

Как специфическая форма динамики социального бытия, предметом социально-философского анализа фронтир ещё не стал, хотя очевидно, что дальнейшее развитие концепции в экстенсивной логике приращения и нанизывания фактологии на импортированное понятие невозможно: необходима новая группировка материала на новых основаниях. Современным вызовом является разработка релевантной методологии анализа этого сложного феномена, прежде всего процедур реконструкции фронтирных паттернов, играющих роль существенного фактора динамики в пределах социокультурного пространства сибирского макрорегиона. Именно эти реально присутствующие в региональном пространстве — не вещественные, а скорее «полевые» или информационные — «устойчивые каркасы, инварианты, константы географической среды, ее генетический код» — позволяют *бытию* социального пространства просвечивать сквозь его *сущее*<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Родман Б.Б. География, районирование, картоиды. Смоленск, 2007. С. 83.

С учётом этих требований и должна разрабатываться междисциплинарная модель фронта как формы социокультурной динамики, детерминированной культурно-ландшафтной конфигурацией социального пространства и времени.

Теоретическую «недостаточность» современной разработки концепции фронта имеет смысл компенсировать, изучая специфику «территориальности» фронта и проблему локализации фронтиров в исторической ретроспективе; анализируя критику концепции фронта в современной историографии; экспонируя фронтир в концептуальной рамке теоретической географии. Фронтир следует рассматривать как фазовое (семантическое, признаковое) пространство, как квазиграницу — экстерриториальное пространственно-символическое явление<sup>7</sup>. Способом данности фронта является соответствующий образ места, фиксируемый в его само- и метаописаниях. Фронтир как образ места — это артефакт, непреднамеренно выдающий «предрасположения и предрассудки, страхи и надежды» (М. Бассин) той социальной общности, в которой этот образ был создан; это категория неявного знания. Кроме того, фронтир — феномен идентичности (и в этом ракурсе существенны его иррациональные компоненты), феномен культурного ландшафта (ландшафтно детерминированный стереотип поведения), анализировать который следует с привлечением соответствующей методологии. Это позволит фронтирной концепции преодолеть демаркационную фазу, для которой характерна узурпация концепта *фронтир* историками в целях воздвигания сугубо исторического «огорода», и выйти к более пластичным и глубоким методологическим контекстам, в которых фронтирная концепция предстанет исследовательским полем. Собственно, фронтир в подобных экспликациях может оказаться вне поля исторического знания.

В целом институционализация фронтирной парадигмы свидетельствует о трансформации отечественной социально-гуманитарной мысли. Речь не о смене декораций в ее интеллектуальном интерьере

<sup>7</sup> Понятия *территория* и *пространство* фундаментально различны (территория — это редуцированное к двум измерениям, «распластанное» пространство). В современной гуманитарной географии пространственность фронта утрирована, ср. тезис Д.Н. Замятина: «Фронтир, по сути, некое ментальное пространство, усвоившее и вобравшее в себя черты пространства географического, реального и ставшее динамичным местом мысли, географией самой мысли...». Реплика сделана в работе под названием «Феноменология географических образов», однако позволим себе заметить, что именно с точки зрения феноменологии было бы затруднительно разделить «реальное географическое» пространство и «место мысли». Тезис Д.Н. Замятина о фронтире как «великом географическом образе» мы полностью разделяем.



(хотя многие исследователи все же не идут дальше именно декоративного использования этого термина), но об открывшейся возможности продуктивного методологического синтеза: фронтальная концепция может и должна конструироваться в поле интеграции методологий традиционных и новых направлений социально-гуманитарного знания, превозмогая то, что Г.Г. Шпет называл «провинциальными мировоззрениями», в которых сущее в целом поочередно истолковывается из определенного его «угла».

## МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ УСТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

**Е.И. Бурла**

МГУ им. М.В. Ломоносова  
г. Москва

***Аннотация.** Цель данной статьи заключается в том, чтобы подчеркнуть междисциплинарный характер работы устных историков с воспоминаниями о прошлом. Хорошо известно, что на становление и развитие устной истории как исторической дисциплины оказал влияние ряд достижений культурной антропологии, лингвистики, филологии, психологии, социологии. В настоящее время устная история продолжает взаимодействовать с этими дисциплинами. В статье представлены причины взаимодействия. Отдельное внимание уделено общим для ряда гуманитарных наук этическим и техническим проблемам обработки устных свидетельств. В заключение приведены три уровня универсального анализа интервью.*

***Ключевые слова:** устная история, лингвистика, антропология, фольклористика, социология, психология, междисциплинарность, устные источники, уровни анализа интервью.*

На прошедшей в РГГУ в 2012 г. конференции «Стены и мосты», посвященной междисциплинарным подходам в исторических исследованиях, Т.П. Хлыниной был сделан интересный доклад о «междисциплинарной практике» устной истории<sup>1</sup>. Говоря о ряде проблем, связанных с применением метода устной истории, и о предоставляемых этим

<sup>1</sup> Текст доклада опубликован в: Хлынина Т.П. Устная история как междисциплинарная практика // «Стены и мосты»: междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: материалы Международной научной конференции. Москва, РГГУ, 13–14 июня 2012 г. / Отв. ред. Г.Г. Ершова, Е.А. Долгова. М., 2012. С. 143–152.

методом возможностей, автор предлагает рассматривать устноисторические исследования как ««мост» между социологической практикой и задачами исторической науки по воссозданию полноты реалий прошлого»<sup>2</sup>.

Солидаризируясь с предложением Т.П. Хлыниной, я бы хотела обратить внимание читателя на то, что устной истории можно с полной уверенностью передать функцию связи и с более широким кругом гуманитарных наук. Кроме того, известно о ее выходе за пределы этого круга и активном и успешном взаимодействии с естественными науками.

Сейчас представляется излишним подробно рассматривать примеры такого взаимодействия. О практике меж- и полидисциплинарных исследований, учитывающих возможности устной истории, шла речь в другой работе<sup>3</sup>. Практика эта прошла начальные этапы развития в 1970-х гг. и уже дала результаты, которые были представлены читателям на примере изучения исторических ландшафтов в ряде регионов Европы, Северной Америки, Австралии, Африки и России.

Особенности сопоставления данных устной истории с данными других дисциплин антропологического цикла, прежде всего с социологией и этнологией (этнографией), в настоящее время довольно широко обсуждаются. Поэтому говоря ниже о культурном поле устной истории, будем касаться не столько фактов его наложения на соседние культурные поля или пересечения с ними, сколько внутренних причин этого пересечения. Осмысление же последствий такого наложения является шагом в разработке единого алгоритма анализа устных источников как первичной материи ряда гуманитарных дисциплин.

Подходы к изучению источников устного происхождения, как правило, нельзя определить в рамках какой-либо одной дисциплины. Представляется, что любой работавший с устными свидетельствами исследователь, будь то лингвист, психолог или антрополог, в определенный момент приходил к пониманию недостаточности чисто лингвистического или чисто этнографического взгляда на имеющиеся материалы. Тогда, чтобы достигнуть своей цели, ему приходилось выходить за рамки хорошо знакомой научной сферы. Обусловленное необходимостью, обращение к теории и методике чужой дисциплины довольно часто происходит как бы помимо воли исследователя.

<sup>2</sup> Хлынина Т.П. Устная история как междисциплинарная практика. С. 143.

<sup>3</sup> Бурла Е.И. Возможности устной истории в изучении исторических ландшафтов // Историческая география / Ред. И.Г. Коновалова. Т. 1. М., 2012. С. 390–419.

Это верно и для работы устных историков<sup>4</sup>. Вообще само словосочетание «устная история» уже подразумевает некий добавочный аспект характеристики предмета исследования, и потому становятся возможными дополнительные подходы к анализу этого предмета.

Итак, для начала логично будет перечислить те научные области, которые так или иначе повлияли на становление и развитие устно-исторических исследований. После этого можно будет задаться вопросом о факторах, ставших основой для взаимодействия устной истории с перечисленными гуманитарными дисциплинами. Затем, наконец, покажем, как при анализе устных источников реализуется междисциплинарный подход к ним.

Представляется, что методика работы с устными свидетельствами о прошлом сложилась не без прямого воздействия методов ряда других гуманитарных наук. Забегая вперед, можно отметить, что это науки, которые часто включают в поле своего внимания в чем-то схожие источники. При этом речь идет о сходстве источников по одному параметру или сочетанию параметров устности (устной формы бытования), историчности (учета исторического контекста), субъективности (центрировании на личности говорящего субъекта). Зачастую разница состоит лишь в том, что представители таких дисциплин рассматривают свои материалы под иным углом зрения.

Устная история возникла как один из новых методов изучения исторического опыта индивидов и групп и как одна из новых исследовательских практик внутри такой традиционной научной дисциплины, как история. С академической историей устную историю сближают требования, предъявляемые к критике письменных документов и даже к атрибуции артефактов. Речь идет об установлении автора и его предполагаемой «аудитории», о датировке создания документа и времени упоминаемых в нем событий, о содержании, особенностях изложения, причинах создания документа. Для сравнения приведем основные вопросы, которые устный историк должен задавать лежащему перед ним тексту интервью. Таких вопросов три: что за человек говорит? о чем он рассказывает? что он об этом говорит?<sup>5</sup>

Далее следует заметить, что устная история, вероятно, не возникла бы как самостоятельное направление исследований, если бы не

<sup>4</sup> Не секрет, что междисциплинарность как требование самой практики устноисторических исследований на Западе подробно обсуждают довольно давно. В этой связи показательна работа американского историка Рональда Грила: *Grele R. A Surmisable Variety: Interdisciplinarity and Oral Testimony // American Quarterly*. 1975. Vol. 27. No. 3. P. 275–295.

<sup>5</sup> *Frisch M. Oral History and «Hard Times», a Review Essay // The Oral History Review*. 1979. Vol. 7. P. 75.

существовало ее изначальной связи с двумя другими дисциплинами, бурное развитие которых пришлось на 1960–1970-е гг. Речь идет о лингвистике и культурной антропологии.

Хорошо понятно, что работа устных историков завязана во многом на изучении специфики словоупотребления, на рассмотрении организации высказываний, учете паралингвистических признаков речи. По своей сути она является работой с текстами, подобной филологической. Следовательно, методы, применяемые исследователями при интерпретации источников, должны быть схожи с практикой филологического и лингвистического анализа текста. Не случайно Алессандро Портелли, одна из знаковых фигур в развитии устноисторических исследований, — филолог по образованию, специалист по устному народному творчеству. В ставшей хрестоматийной статье об особенностях устной истории А. Портелли указывает на то, что внимание к устным источникам подразумевает прежде всего восприятие их именно устной и именно нарративной природы<sup>6</sup>. А это, в свою очередь, означает, что при интерпретации интервью большую значимость приобретает учет темпа речи в его соотношении со скоростью повествования, учет ритмики пауз, общего пафоса рассказа (например, иронического или эпического), также положения повествователя по отношению к рассказу («дистанция» или «перспектива»), степени контроля рассказчиком своей речи и проч.<sup>7</sup>

Не вызывает сомнения, что возникновению устной истории способствовали развитие внутри самой лингвистики и становление таких субдисциплин, как социо-, психо- и онтолингвистика. В тесной связи с достижениями лингвистов стоят прорывы в области культурной антропологии. О влиянии же антропологии на расширение проблематики исторических исследований, наверно, излишне напоминать. Чего стоит одно только появление исторической антропологии.

Отдельного упоминания, однако, заслуживает соприкосновение устной истории с фольклористикой. Исторический нарратив уже давно попал в поле зрения этой дисциплины, а учет исторического контекста существования тех или иных фольклорных жанров и форм стал обязательным требованием в исследовании народной культуры. Выявлению и изучению мифологических мотивов в устных рассказах о прошлом посвящен, в частности, ряд работ А.А. Панченко<sup>8</sup>,

<sup>6</sup> *Portelli A.* The Peculiarities of Oral History // *History Workshop*. 1981. No 12. P. 96–107.

<sup>7</sup> О других важных филологических аспектах устноисторической интерпретации источников см.: *Portelli A.* The Peculiarities of Oral History... P. 97–99.

<sup>8</sup> *Панченко А.А.* Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. СПб., 1998.

Н.А. Криничной<sup>9</sup>, О.В. Беловой и В.Я. Петрухина<sup>10</sup>, С.А. Штыркова<sup>11</sup>. Некоторые исследователи, в частности С.Ю. Неклюдов<sup>12</sup>, А.Б. Мороз<sup>13</sup>, склонны считать устную историю сферой мифологических представлений, а потому своей территорией. Подобные «споры за территорию» как нельзя лучше свидетельствуют о взаимопроникновении дисциплин.

Конечно, история в устных свидетельствах всегда предстает в своем человеческом измерении. Соответственно, интерпретация таких свидетельств невозможна без использования теоретических и методических наработок психологии и социологии, а также их субдисциплин: этнометодологии, бихевиоризма, этнопсихологии, психоистории. При проведении устноисторических исследований очень важно понимать, каким образом информант организует рассказ о своей жизни и почему он включает в повествование те или иные события, тех или иных героев. Заслуживает внимания детальная память об одних эпизодах и забвение других. Не менее важным представляется соотношение индивидуального и социального в автобиографии. Наличие глубокого интереса психологии к проблемам памяти и воспоминания, а также к (авто)биографическим рассказам подтверждают работы М. Андерсона<sup>14</sup>, D. Rubin<sup>15</sup>, D. Berntsen<sup>16</sup>, S. Janssen<sup>17</sup> на Западе, В.В. Нурковой<sup>18</sup> в России. Когнитивные науки и нейронауки также

<sup>9</sup> *Криничная Н.А.* Предания Русского Севера. СПб., 1991.

<sup>10</sup> *Белова О.В., Петрухин В.Я.* Фольклор и книжность: миф и исторические реалии. М., 2008.

<sup>11</sup> *Штырков С.А.* Предания об иноземном нашествии: крестьянский нарратив и мифология ландшафта. СПб., 2012.

<sup>12</sup> К примеру, в работе: *Неклюдов С.Ю.* Заметки об «исторической памяти» в фольклоре // АБ-60. Сборник статей к 60-летию А.К. Байбурина. СПб., 2007. С. 77–86.

<sup>13</sup> *Мороз А.Б.* Устная история русской церкви в советский период (Народные предания о разрушении церквей) // *Ученые записки Российского православного университета апостола Иоанна Богослова*. Вып. 6. Церковная история XX века и обновленческая смута. М., 2000. С. 177–185.

<sup>14</sup> *Баддлу А., Айзенк М., Андерсон М.* Память. СПб., 2011.

<sup>15</sup> *Rubin D. and Rahhal T.* Things Learned in Early Adulthood are Remembered Best // *Memory and Cognition*. 1998. Vol. 26 (1). P. 3–19; *Rubin D. and Schulkind M.* The Distribution of Autobiographical Memories Across the Lifespan // *Memory and Cognition*. 1997. Vol. 25 (6). P. 859–866.

<sup>16</sup> *Berntsen D. and Thomsen D.K.* Personal Memories for Remote Historical Events: Accuracy and Clarity of Flashbulb Memories Related to World War II // *Journal of Experimental Psychology: General*. 2005. Vol. 134. P. 242–257.

<sup>17</sup> *Janssen S. and Chessa A.* The Reminiscence Bump in Autobiographical Memory: Effects of Age, Gender, Education and Culture // *Memory*. 2005. Vol. 13 (6). P. 658–668.

<sup>18</sup> *Нуркова В.В.* Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности. М., 2000; *Она же.* Память / *Общая психология: В 7 т. / Под ред. Б.С. Братуся.* М., 2006. Т. 3.

оказали влияние на развитие устной истории, и в этом направлении открывается один из выходов на вопрос о взаимодействии устной истории с естественными науками.

Методы социологических исследований, а в особенности биографический метод в социологии, представленный в работах Д. Берто<sup>19</sup>, В. Фукса-Хайнрица<sup>20</sup>, В.В. Семеновой<sup>21</sup>, Е.Ю. Рождественской (Мещеркиной)<sup>22</sup>, и кроме того, методология двойной рефлексивности, предложенная Т. Шаниным<sup>23</sup>, пересекаются с собственно устноисторическими методами. Упомянутые инструменты позволяют находить объяснения мотивам поступков информантов или их подходам к действительности, вписывая эти мотивы в контекст взглядов, разделяемых внутри семьи или характерных для целого поколения.

На каких основах строится взаимодействие устной истории с перечисленными выше науками? Отвечая на данный вопрос, заметим, что в научной практике для каждой дисциплины принято прежде всего как можно более четко разграничивать предметы, объекты исследования, методы исследования. Однако выяснение условий, делающих возможным существование междисциплинарных связей, требует как раз обратных усилий. При этом поиски объединяющих факторов суть поиски неких инвариантов, констант, присущих ряду областей знания.

Устная история предполагает работу с историческим нарративом, специфика которого заключается в первую очередь в его устном характере. Устные свидетельства о прошлом могут иметь самую разнообразную жанровую принадлежность. Это могут быть воспоминания о событиях большой истории или случаях из жизни локального сообщества, о былых повседневных или профессиональных практиках, истории жизни, истории семьи и проч. При этом возможно их существование в двух формах: зафиксированной устной форме или же

<sup>19</sup> Берто Д., Берто-Вьям И. Наследство и род: трансляция и социальная мобильность на протяжении пяти поколений // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 2. С. 83–122.

<sup>20</sup> Фукс-Хайнриц В. Биографический метод // Биографический метод в социологии: история, методология и практика / Под ред. Е.Ю. Мещеркиной, В.В. Семеновой. М., 1994. С. 11–41.

<sup>21</sup> Семенова В.В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. М., 2009.

<sup>22</sup> Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии. М., 2012.

<sup>23</sup> «Ядро методологии двойной рефлексивности включает несколько взаимосвязанных теоретических концепций: качественную методологию, качественно-количественный интерфейс и двойную рефлексивность», — пишет Теодор Шанин во введении к своей работе: Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни // Социологический журнал. 1998. № 3/4. С. 101.

дошедшей в составе письменных источников<sup>24</sup>. В любом случае устные исторические источники обладают набором присущих именно устной речи стилистических, лексических и семантических особенностей.

Устная природа источника информации — это первая константа. С устными материалами работают и лингвисты с филологами, и фольклористы с антропологами, и социологи с психологами. Вторая константа находится в тесной связи с ней и заключается в методе сбора информации, то есть в интервью. Разновидность интервью не имеет при этом принципиального значения. Будь то нарративное или фокусированное, лейтмотивное или биографическое, глубинное или полуструктурированное интервью, его вид выбирается исследователем в соответствии с поставленными задачами. Иногда на выбор влияют индивидуальные особенности респондента или специфика его культуры. В некоторых случаях мы можем иметь дело с интервью в виде полилога.

Но важно не это. Важно, во-первых, то, что источник формируется в процессе взаимодействия исследователя с информантом и может считаться результатом совместных усилий. А во-вторых, то, что для устных исторических источников характерно фокусирование на личности рассказчика и / или на его ближайшем окружении. Иными словами, обязательно человеческое или поколенческое измерение истории. С этой последней чертой, кстати, и связана присущая устным источникам субъективность.

На учете субъективного фактора как раз завязан метод работы с интервью. Обязателен так называемый качественный, рефлексивный по своей сути анализ устных источников. Такой анализ ориентирован на работу не с большим количеством материалов, но с большим количеством информации в единице материала, например, в одном интервью или в одном отрывке интервью. Априорным является предположение о том, что ни исследователь, ни исследуемый субъект не обладают конечным знанием по изучаемому вопросу. Об общих для ряда гуманитарных дисциплин уровнях анализа интервью будет сказано чуть ниже.

Наконец, третья постоянная, лежащая в основе междисциплинарного взаимодействия устной истории с другими гуманитарными дисциплинами, обуславливающая и цементирующая это взаимодействие, определяется как принципиальное разнообразие содержащейся в устных свидетельствах информации. Воспоминания человека о прошлом

<sup>24</sup> О понятии «устного исторического нарратива» применительно к письменным источникам см. в: Смореунова Е.М. Что же такое «устный нарратив» и что мы о нем знаем? Заметки участника археографических экспедиций // О своей земле, своей вере, настоящем и пережитом в России XX–XXI вв. М., 2012. С. 33–46.

не могут состоять исключительно из перечисления имен, событий, фактов с указанием причинно-следственных связей между ними. В том или ином соотношении они включают в себя предания или легенды, топонимику или антропонимику, описания социального пространства или эмоциональные оценки окружающей действительности, не говоря уже о возможном лексическом богатстве речи, вкраплениях профессионализмов или фразеологии.

Таким образом, выше речь шла о причинах, по которым происходит частичное наложение культурных полей ряда дисциплин, включающего устную историю. Но свои рассуждения на этот счет можно направить и в несколько иной плоскости. Так, в дополнение к «общим местам» наук возможно выделение сопутствующих им проблем практического плана.

Например, на определенных этапах работы с устными источниками встает необходимость решения некоторых технических и этических вопросов. В частности вопроса о том, в каком формате нужно сохранять полученные данные и в каком — представлять их читателям. Или каким должно быть качество записи (имеется в виду качество расшифровки аудиозаписи). Следует ли передавать беседу с информантом дословно, с указанием случайных запинок, заминок, оговорок, слов-паразитов, пауз, а также эмоциональных реакций на вопросы вроде вздохов или смеха? Как поступать с сегментным членением записанной речи? Расставлять ли знаки препинания в соответствии с синтаксическими правилами или исходить из темпа речи информанта и смыслового членения им высказываний? Важны ли изменения в интонации говорящего? Думается, что при ответе на эти и схожие вопросы исследователь должен руководствоваться двумя принципами: принципом целесообразности оформления источников собственным научным задачам и принципом совместимости результатов практической части своей работы с интересами других дисциплин. Уточняя второй принцип, можно указать на важность этнографической или устноисторической записи, учитывающей особенности произношения или интонирования, для лингвистов. Психологи же с большим интересом смогут работать с материалами социологов или тех же устных историков, если последние при расшифровке будут уделять внимание повторам слов и паузированию.

Ряд этических вопросов также является общим для гуманитарных дисциплин, имеющих дело с публикацией или цитированием устных свидетельств. Является ли необходимым указывать полное имя информанта? В какой мере можно использовать для реализации поставленных исследователем задач глубоко личные, эмоционально окрашенные воспоминания и переживания? Бывают ли ситуации, в которых нельзя настаивать на ответе? Существуют ли вопросы, которые по причине их отнесенности к некоему травматическому и просто еще

не осознанному опыту нельзя задавать? На эти вопросы, видимо, нет универсального ответа; антрополог, социолог и историк должен находить его в своем профессиональном чутье каждый раз заново.

Междисциплинарный подход к устным источникам в полной мере реализуется при их анализе. Отправной точкой в интерпретации любого интервью является представление о его тройственной внутренней структуре, включающей собственно языковую, перформативную (речевые высказывания информанта понимаются как поступки) и когнитивную составляющие. Этим элементам и соответствуют три уровня анализа.

Во-первых, лингвистический анализ, дополняемый фольклористическим (поиск устойчивых мотивов, традиционных для данной культуры образов, мифологических представлений и проч.) и филологическим (наблюдения над ритмикой, фигурами речи). Во-вторых, анализ интервью как перформатива. На этом уровне ключевым является понимание того, как информант выстраивает свои отношения с интервьюером. Отвечая на вопросы, он в той или иной степени ориентируется на реакцию своего слушателя (или слушателей). Часть событий прошлого по-прежнему воспринимается им эмоционально, другие события представляются в свете современного социального контекста. Данный этап анализа важен для решения ряда методологических вопросов работы с устными свидетельствами, в частности вопросов их надежности и достоверности.

Третий уровень анализа — когнитивный. Это взгляд на соотношение свидетельств информанта и истории и культуры сообщества, членом которого является данный человек. Такой анализ затрагивает глубинные уровни дискурса и имеет дело не с фактами или комментариями к ним, а с набором смыслов, обладающих надындивидуальным содержанием и составляющих, по сути, ткань интервью. Рассуждая о когнитивном анализе устных источников, историк Р. Грил приходит к мысли о том, что именно на этом этапе возможно понимание соотношения в ответах респондента истории, идеологии и мифологии<sup>25</sup>.

В заключение хочется указать на одну характерную особенность устных источников: они представляются неисчерпаемыми в плане содержащейся в них информации. Какие выводы можно сделать из этого утверждения? С одной стороны, об особых требованиях к профессионализму обращающегося к устным свидетельствам исследователя, о необходимом для него умении работать в группе. А с другой стороны, о междисциплинарном подходе как единственно возможном подходе к изучению устных источников.

<sup>25</sup> Более подробно об этих рассуждениях см.: *Grele R. A Surmisable Variety...* P. 289–293.

## ПУТИ И ОРИЕНТИРЫ: МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА

**Е.А. Захарова**

МГУ им. М.В. Ломоносова,  
Государственный Центральный музей  
современной истории России  
г. Москва

**Аннотация.** В статье рассматривается такой метод изучения пространственного восприятия, как ментальные карты, анализируется его применение для анализа городского туристического пространства на примере Санкт-Петербурга, Москвы и Парижа на рубеже XIX—XX в. С помощью ментальных карт, составленных на основе путеводителей и свидетельств туристов, показывается, какими общими характеристиками обладало туристическое пространство города в этот период. Особое внимание уделяется результатам сравнения ментальных карт между собой.

**Ключевые слова:** городское пространство, ментальные карты, история туризма.

Восприятие путешественниками других стран, народов и городов нередко становилось объектом исторических исследований. При изучении подобных сюжетов исследователи иногда прибегают к такому методу анализа пространственного восприятия, как ментальные карты. В настоящее время в термин «ментальная карта» исследователями, занимающимися исторической урбанистикой, вкладывается два основных значения: во-первых, это сформировавшаяся в уме, не без влияния коллективных представлений (а в случае туристического пространства — под их непосредственным влиянием), пространственная схема; а во-вторых, эта же схема, перенесенная на бумагу<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Лазарев А.В. Городское пространство Парижа XV — первой половины XVII в. глазами современников: дисс. ... канд. ист. наук. М., 2011. С. 70.

В данной статье ментальные карты рассматриваются в первом значении этого понятия. Предпринимается попытка показать на конкретном историческом материале, как они могут быть использованы при изучении городского туристического пространства, формирующегося в ходе становления русского туризма в конце XIX — начале XX в., и к каким результатам может привести этот метод анализа (особенно сравнение ментальных карт городов между собой).

Понятие «ментальные карты» было введено в научный оборот и активно использовалось американскими психологами уже в 40-е г.<sup>2</sup>. В 1960 г. ментальные карты были впервые применены по отношению к городскому пространству урбанистом Кевином Линчем в его ставшем классическим труде «Образ города»<sup>3</sup>. Следуя его определению, ментальные карты города являются общими ментальными образами, захватывающими большое количество городских жителей. При этом они представляют собой «зоны согласия, возникающие при взаимодействии общей материальной действительности, общей культуры и базисной физиологической общности»<sup>4</sup>. Способ выявления и анализа ментальных карт, предложенный К. Линчем, состоит в анализе обобщенных карт, сделанных исследователем на основе индивидуальных карт его информантов, которые рисовали эскизный план города, а также описывали отдельные части города. Этот метод позволяет сконструировать «общественный образ» города, который создается наложением множества индивидуальных образов одного на другой<sup>5</sup>. Второй способ, использованный Стенли Мильграмом в его работе «Эксперимент в социальной психологии»<sup>6</sup>, предлагает анализировать отдельные ментальные карты, демонстрируя психологические особенности восприятия городского пространства той или иной группой. Вслед за Линчем и Мильграмом ментальные карты неоднократно и успешно использовались в своих работах не только психологами, но и социологами и географами<sup>7</sup>, однако в исторической урбанистике они до сегодняшнего дня остаются практически невостребованными, что объясняется определенной сложностью получения информации и невозможностью проведения необходимых психологических тестов.

<sup>2</sup> См., например: Tolman E.C. Cognitive Maps in Rats and Men // *Psychological Review*. 1948. № 55. P. 189–208.

<sup>3</sup> Lynch K. *The Image of City*. Cambridge, 1960; Линч К. *Образ города*. М., 1982.

<sup>4</sup> Линч К. Указ. соч. С. 20.

<sup>5</sup> Там же. С. 50.

<sup>6</sup> Мильграм С. *Эксперимент в социальной психологии*. СПб., 2001.

<sup>7</sup> Обзор работ по ментальным картам в этих дисциплинах см.: Шенк Ф.Б. *Ментальные карты: конструирование городского пространства в Европе от эпохи просвещения до наших дней* // *Новое литературное обозрение*. 2001. № 52. С. 42–61.

Тем не менее историками отмечается возможность работы с письменными источниками аналогичным образом в том случае, если принять за аксиому, что выбор слов и частота их использования отражает его восприятие мира. Одно из подобных составлений ментальной карты исторического города было осуществлено американским ученым Джоном Джаклем, занимающимся исторической географией. Изучая записки путешественников по Цинциннати в 1830 г.<sup>8</sup>, он подсчитал упомянутые городские объекты, количество которых равнялось 122, и на основании частоты их упоминаний сделал вывод о том, насколько читаемым был город в это время, а также какие объекты пользовались наибольшей популярностью у путешественников. Подобная методика использовалась и Патриком Понсе<sup>9</sup> при изучении французских путеводителей по Рио-де-Жанейро и позволила ему сделать вывод о том, что путеводители часто сами создают некое туристическое пространство. В отечественной исторической урбанистике подробный анализ ментальных карт представлен в работах А.В. Лазарева<sup>10</sup>, посвященных городскому пространству Парижа XVI в. На основании источников исследователь реконструирует индивидуальные образы Парижа и сравнивает их между собой, причем особенно интересным представляется сравнение ментальных карт парижан и иностранцев, осуществленное автором. Подобное сопоставление позволило сделать автору ряд интересных наблюдений, в частности о зависимости восприятия городского пространства от различных исторических событий. Так, например, с помощью ментальных карт А.В. Лазарев показывает, как менялось восприятие городского пространства Парижа в мирное время и во время осады.

Как можно заметить, городское пространство чаще всего наиболее ярко отражается в записках путешественников, поэтому ментальные карты кажутся весьма полезными при анализе туристического образа города. В моем случае для анализа были выбраны Москва и Санкт-Петербург как самые привлекательные в конце XIX — начале XX в. в туристическом отношении русские города (первая — как первопрестольная столица русского государства, второй — как современная столица империи), а также Париж как признанная туристическая

<sup>8</sup> *Jakle J.A.* Cincinatti in the 1830's: A Cognitive Map of Traveler's Landscape Impressions // *Environmental Review*. 1979. Vol. 3. № 3 (Spring). P. 2–10.

<sup>9</sup> *Poncet P.* L'«espace-guidé» de Rio de Janeiro. Etudes géographiques en miroir d'un espace touristique et de ses guides // *Les guides imprimés du XVI au XX siècle. Villes, paysages, voyages*. Paris, 2000. P. 543–556.

<sup>10</sup> *Лазарев А.В.* Городское пространство Парижа XV — первой половины XVII в. глазами современников: дисс. ... канд. ист. наук. М., 2011; *Он же.* Ментальные карты Парижа XVI в.: Восприятие городского пространства // *Средние века*. 2009. Вып. 70(4). С. 63–95; *Он же.* Городское пространство Парижа XVI в. // *Логос*. 2008. № 3(66). С. 148–184.

столица мира рубежа XIX–XX в. На основании текстов путеводителей, заметок и воспоминаний туристов и экскурсантов, а также отчетов об экскурсиях в данные города в период с 1889 по 1917 г., был проведен подсчет всех упоминаемых в данных текстах городских объектов. Всего при анализе было использовано 28 отчетов и описаний русских экскурсий, 15 воспоминаний иностранцев и 20 путеводителей по Санкт-Петербургу; 35 отчетов и описаний русских экскурсий, 15 воспоминаний иностранцев и 30 русских путеводителей в Москву; а также 16 русскоязычных путеводителей по Парижу. Подсчет проводился отдельно по каждому типу источников, а полученные результаты затем сравнивались между собой. При изучении исторического туристического образа города, который складывается именно из множества индивидуальных представлений туристов и экскурсантов о нем, особенно продуктивным представляется метод, предложенный К. Линчем, когда подсчитываются городские объекты во всех имеющихся источниках, а затем на основании общей частоты упоминаний делается вывод об их значимости для туристического пространства города. Это следует и из самого характера используемых источников, в которых чаще всего дается достаточно краткое описание поездки, содержащее самые значимые с точки зрения туриста места, но не подразумевающее несколько упоминаний одного и того же объекта. Однако, несмотря на краткость в описании туристических поездок, особенно в официальных отчетах об экскурсиях, тем не менее они позволяют выделить самые посещаемые достопримечательности того времени.

Не останавливаясь здесь на анализе каждой составленной ментальной карты, хотелось бы сосредоточиться на результаты сравнения ментальных карты, полученных из каждого типа источников, между собой. Следуя гипотезе о частоте упоминаемых объектов, можно сделать вывод о том, что являлось городской достопримечательностью на рубеже веков, а также провести ранжирование достопримечательностей в зависимости от их значимости для каждого города. На основании изученных источников можно выделить несколько групп объектов, обладающих значимостью для туриста: с одной стороны, это материальные объекты, созданные руками человека: триумфальные арки, башни, памятники, научные учреждения, общественные здания, церкви, фонтаны; с другой стороны, городские пространства: улицы, площади, парки, сады, скверы. Последующий контент-анализ наиболее популярных городских объектов в каждой из вышеперечисленных групп позволяет говорить о существовании единых критериев их отбора во всех изучаемых городах, несмотря на индивидуальность каждого города. Такими критериями туристических достопримечательностей, судя по имеющимся данным, в то время являются их значение

для современной жизни города или страны, их историческая ценность, их топографическое положение и эстетическая красота, а также их связь с другими объектами туризма.

Кроме того, следуя концепции Линча, эти достопримечательности являются или «ориентирами», или «узлами» — т. е. теми фокусирующими пунктами, от которых и к которым движется турист. Именно поэтому важно выделить наиболее значимые достопримечательности в каждом городском пространстве. При этом «узлы» и «ориентиры» естественным образом тесно связаны с «путями», роль которых чаще всего играют улицы. Как правило, в современном мире именно «пути» являются первостепенными элементами<sup>11</sup>, однако в случае туристического городского пространства главенствующими являются именно достопримечательности-«узлы» или «ориентиры». В случае русских столиц, за исключением улиц-достопримечательностей (например, Невского проспекта в Санкт-Петербурге и Тверской улицы в Москве), улицы в целом реже упоминаются и в путеводителях, и в заметках туристов и экскурсантов, чем улицы Парижа. Так, достопримечательности у русских экскурсантов большей частью практически никак не связаны между собой в городском пространстве, т. е. в источниках говорится об отправной и конечной точке маршрута, но то, как туристы добираются от одного пункта до другого, опускается, как опускаются и те здания и памятники, которые туристы видели по дороге. У приезжих это было естественным образом связано с незнанием города, но подобное пренебрежение улицами было характерно и для большей части путеводителей, в которых улицы и площади в основном упоминаются не как самостоятельные объекты, а только при описании достопримечательностей — как место, где последние находятся. При этом очень часто местоположение достопримечательности определялось не с помощью улицы, а помощью других значимых городских объектов. Можно предположить, что это было связано с общей слабой «читаемостью» городского пространства Москвы и Петербурга в конце XIX — начале XX в. Косвенным доказательством этому является и тот факт, что городское пространство Парижа было гораздо более «читаемым» как для французских, так и для русских туристов. Это могло быть связано с практикой фланирования, распространенной в Париже, которой стремились следовать как французские туристы-провинциалы, так и иностранцы.

Очень важным является сравнение ментальных карт путеводителей и туристов, которое позволяет говорить о влиянии путеводителей на приезжих. Город туристов по набору достопримечательностей естественным образом значительно «меньше» города путеводителей,

<sup>11</sup> Линч К. Указ. соч. С. 53.

однако основные объекты в них совпадают. При этом важно отметить, что в свидетельствах туристов практически не встречаются объекты, не упомянутые в путеводителях, что позволяет говорить о зависимости одного образа города от другого. Кроме того, подобное сравнение показывает, как существовавшие образы города отражались в восприятии туристического пространства. Например, распространенный образ Москвы как города «сорока сороков», православного центра всей империи, находит отчетливое подтверждение в путеводителях, уделяющих большое внимание церковным объектам. Так, в большинстве путеводителей описываются все существовавшие в Москве монастыри, что в целом позволяет считать их туристической достопримечательностью. Однако ментальная карта экскурсантов, посетивших Москву в конце XIX — начале XX в., позволяет уточнить эти данные. Подсчет городских объектов в отчетах об экскурсиях и записках экскурсантов говорит о том, что монастыри, за исключением кремлевских, достаточно редко становятся объектами посещения в ходе экскурсии. Из 23 монастырей, существовавших в то время в городе, в экскурсионных отчетах в общей сложности упоминается только 7 монастырей, причем часто они не являются объектом посещения, а просто упоминаются при описании какой-либо достопримечательности (как это было, например, со Страстным монастырем, упомянутым при описании памятника Пушкину)<sup>12</sup>. Конечно, многое зависело от той цели, которую преследовала экскурсия, и если основной задачей поездки было поклонение московским святыням, как это порой практиковалось в епархиальных училищах, монастыри начинали играть более значимую роль в осмотре города, но тем не менее это слабо отражается на общем туристическом образе города. То же самое происходит и с церквями: из большого количества упоминаемых в путеводителях по Москве церквей, экскурсанты и туристы выбирают несколько храмов, сочетающих в себе вышеупомянутые характеристики, что позволяет говорить о различиях в составляющих туристического образа города и о значимости тех или иных достопримечательностей.

Продуктивным кажется и сопоставление ментальных карт туристов-иностранцев и туристов-соотечественников, позволяющее говорить о том, насколько понятие достопримечательности на рубеже XIX–XX в. зависело от национальной принадлежности туристов. Как уже говорилось выше, в целом набор достопримечательностей одинаков, однако можно отметить различия как в некоторых группах городских объектов, так и в самом отборе этих объектов. Так, наиболее

<sup>12</sup> См., например: По России: Записки студентов-экскурсантов. Н. Янусова, Н. Шубкина и И. Демьянова. СПб., 1904.



ярким примером являются памятники, являющиеся достопримечательностями во всех рассматриваемых городах. Однако туристы-иностранцы, равно как и иностранные путеводители по городам, в своих описаниях упоминают их гораздо реже, чем туристы-соотечественники. Например, туристы-французы в Москве упоминают только один памятник — Минину и Пожарскому, тогда как русские экскурсанты отмечают 10 московских памятников. Та же разница видна и в Санкт-Петербурге: 6 памятников, упомянутых французскими туристами, и 20 — русскими. Таким образом, можно говорить о том, что памятники известным людям своей страны являлись объектом, обязательным к посещению, тогда как памятники знаменитостям других стран не вызывают интереса у туристов. Это, в свою очередь, позволяет выявить одну из важных характеристик понятия достопримечательности в то время, а именно ее связи с самоидентичностью туриста.

Таким образом, ментальные карты позволяют говорить об общих характеристиках туристического пространства различных городов конца XIX — начала XX в., выделять и анализировать различные группы достопримечательностей, а также проследить различия между идеализированным образом города в путеводителях и реальной практикой туристов. Кроме того, ментальные карты позволяют рассматривать туристический образ города в его взаимосвязи с восприятием города в целом.

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ В СВЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА

**О.Н. Мухин**

Томский государственный педагогический университет  
г. Томск

***Аннотация.** Цель статьи — продемонстрировать важность применения междисциплинарного подхода в историко-биографических исследованиях на примере анализа личности Петра I. Прежде всего, речь идет о привлечении психологических концепций, без которых любые выводы, сделанные о тех или иных индивидуальных особенностях исторической личности, остаются бездоказательными. Кроме того, эти выводы должны проходить проверку с помощью историко-сравнительного анализа. Обозначенный ракурс позволяет скорректировать такие устойчивые характеристики царя-реформатора, как жестокость и нецивилизованность, по большей части не выходявшие за рамки нормы тогдашнего общества и имевшие тенденцию к смягчению на протяжении жизни.*

***Ключевые слова:** историческая биография, историческая психология, историко-сравнительный метод, междисциплинарный синтез, Петр I.*

В отношении жанра исторической биографии в России существует определенная проблема: несмотря на то, что он достаточно активно развивается и в его рамках работают признанные специалисты, он остается, так сказать, «низким жанром», наподобие детектива в литературе или мелодрамы в кино. Есть публикации в формате сборников статей, в том числе выходящие в академических изданиях<sup>1</sup>, однако монографические исследования, посвященные «великим личностям»,

<sup>1</sup> См., например: История через личность: историческая биография сегодня / Под ред. Л.П. Репиной. 2-е изд. М., 2010.

как правило, носят научно-популярный характер. Причина кроется в недостаточности специального методологического инструментария, позволяющего осуществить научный анализ биографии исторического персонажа и получить проверяемые результаты<sup>2</sup>.

Обозначенный пробел, как представляется, может быть восполнен благодаря соблюдению трех принципов. Во-первых, речь идет о привлечении психологических теорий (в их сочетании с исследованием социокультурных факторов, влиявших на становление личности изучаемого персонажа). Психологические наблюдения делаются большинством исследователей исторических личностей, однако без ссылок на конкретные концепции, что ослабляет доказательную базу таких наблюдений.

Во-вторых, обязательно активное использование сравнительно-исторического метода в его синхронном и диахронном разрезе, что позволяет проверять выводы о типичности или специфичности тех или иных личностных черт исторического персонажа, часто высказываемые априорно.

В-третьих, в биографическом исследовании необходимо учитывать историческую изменчивость качеств личности на протяжении жизненного цикла, избегая «статичных» характеристик.

При этом ключевым является именно первый принцип — междисциплинарный подход к изучению исторической личности, который позволяет более грамотно «проводить в жизнь» второй и без которого невозможно соблюдение третьего.

Целесообразность использования указанных принципов продемонстрирую на примере анализа биографии Петра.

Одним из характерных качеств личности царя-реформатора принято считать жестокость. Основаниями для подобных обвинений служат, прежде всего, его расправы с политическими противниками (подавление стрелецкого бунта 1698–1699 гг., Астраханского бунта, восстания Булавина, многочисленные следственные дела по политическим и иным поводам). Кроме того, достаточно часто Петр проявлял демонстративное неуважение к личности других людей и в быту, вплоть до угрозы их жизни, чему есть масса примеров. Однако стоит

<sup>2</sup> В рамках новейшей версии исторической биографии — персональной истории — на первый план выходит изучение персональных текстов (прежде всего автобиографий) (см.: *Репина Л.П.* Персональные тексты и «новая биографическая история»: от индивидуального опыта к социальной памяти // *Сотворение истории. Человек — Память — Текст: Цикл лекций / Науч. ред. Л.П. Репина, отв. ред. Е.А. Вишленкова.* Казань, 2001. С. 344–360), что, при всей перспективности этого направления, с очевидностью ограничивает возможности исследователя, в распоряжении которого таковых источников может не оказаться.

объяснить правомочность употребления слова «жестокость» в исторических исследованиях. Дабы придать ему статус категории, пригодной для научного анализа, следует определить его содержание. Жестокостью следует считать преувеличенную, немотивированную либо слабо мотивированную степень агрессии, входящую в противоречие с «нормально» воспринимаемым в данном обществе ее уровнем (причем важно иметь в виду, что реакция современников сама может по тем или иным причинам выходить за рамки этого принятого уровня, что, безусловно, усложняет работу историка).

Еще с дореволюционных времен прочно устоялось представление о том, что большинство неприглядных черт личности первого императора, такие как жестокость, неуравновешенность, подозрительность, грубость, а также конвульсивные припадки стали следствием пережитых им в детстве испытаний — ужасов стрелецкого бунта 1682 г. и последующего удаления из столицы. Однако ни в одном исследовании мы не найдем научно обоснованного доказательства такой причинно-следственной связи. О том, что это далеко не столь очевидное объяснение, каким кажется, и его появление связано с влиянием психологической науки, говорит тот факт, что при жизни Петра названные припадки, сопровождавшиеся подергиванием рук и ног и трясением головы, молва приписывала действию яда, который якобы был дан царевичу его врагами, или считала их проявлением каких-либо болезней чисто физиологического характера<sup>3</sup>. Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении умозаключения, будучи в принципе верными, остаются совершенно недоказанными. И главная причина — отсутствие в руках исследователей соответствующего инструментария.

Обосновать связь повышенного уровня агрессии в личном и политическом поведении Петра с детскими стрессами позволяет обращение к психологическим концепциям Э. Эриксона и К. Хорни.

Согласно Э. Эриксону, в основе здоровой социально-психологической идентичности лежит базовое доверие, качество, формируемое в младенчестве благодаря благоприятной семейной обстановке<sup>4</sup>. У нас есть основания предполагать, что это качество у маленького Петра имело все шансы появиться, так как первые четыре года его жизни были самыми благополучными. Однако любые черты идентичности, вырабатываемые на каждой из восьми выделяемых Э. Эриксоном стадий жизненного цикла, обратимы под влиянием внешних обстоятельств. Таким образом, под воздействием переживаний 1682 г. базо-

<sup>3</sup> См., например: *Юль Ю.* Записки датского посланника в России при Петре Великом // *Лавры Полтавы / Ю. Юль, О. Плейер.* М., 2001. С. 91.

<sup>4</sup> *Эриксон Э.* Детство и общество / Пер., науч. ред. А.А. Алексеев. Изд. 2-е. СПб., 2000. С. 235.

вое доверие обратилось в свою противоположность — базовое недоверие, переживание ощущения покинутости, сопровождаемое невозможностью подавить в себе чувство внутреннего раскола и тоски по «утраченному раю»<sup>5</sup>.

Понятие «доверие» переключается с другим, предложенным К. Хорни — «базальная тревожность», являющаяся главной чертой невротического характера. Невроз — психическое расстройство, вызванное страхами и защитами от них, а также попытками найти компромиссное решение конфликта разнонаправленных тенденций<sup>6</sup>. Базальная тревожность — чувство собственной незначительности, беспомощности, покинутости, подверженности опасности, нахождения в мире, открытом обидам, обману, нападкам, оскорблениям, предательству, зависти<sup>7</sup>. Это качество формируется, как правило, в детстве, в результате вытеснения страхов, порожденных непосредственно угрозами, запретами и наказаниями и/или в результате наблюдения взрывов несдержанности и сцен насилия, косвенным запугиванием путем внушения мыслей об огромной жизненной опасности, и отличается от «нормальных» переживаний тем, что сохраняется и при устранении реальной угрозы<sup>8</sup>.

Наличие базальной тревожности порождает целый ряд негативных последствий. У невротиков снижена способность рационально оценивать свои отношения с окружающими, что часто порождает конфликты; многие из них подвержены алкоголизму и склонны к неумеренной сексуальности, либо, напротив, неспособны к близости; им свойственны устойчивое чувство вины и агрессивность. Фактически все эти качества в той или иной мере были присущи Петру I.

Однако Петр не был единственным монархом раннего Нового времени, чья социализация протекала в столь неблагоприятных обстоятельствах. Можно назвать Ивана Грозного, Алексея Михайловича и Людовика XIV. При этом все они весьма отличались друг от друга по стилю личного и политического поведения. Это указывает на важность влияния социокультурной обстановки на становление личности и подталкивает исследователя к сравнительному анализу.

Как в исторической литературе, так и в общественном сознании Петр фактически приравнивается по степени жестокости к Ивану Грозному. В целом российские монархи действительно демонстрируют более высокий уровень агрессии, нежели их западный «коллега»

(между прочим, при разгоне участников Медного бунта, инициированном Алексеем Михайловичем Тишайшим, было убито не менее тысячи человек, почти столько же, сколько казнено по приказу Петра в ходе стрелецкого розыска<sup>9</sup>).

Однако при всем сходстве Иван, Алексей и Петр демонстрируют и явные различия в уровне проявляемой агрессии. Сформулированное выше определение жестокости в полной мере подходит к Грозному, от руки которого или по его приказу люди часто погибали без достаточных оснований. Пожалуй, применимо оно и к Тишайшему: характерно, что среди жертв Медного бунта лишь малую часть составляли его прямые участники, большинство — лишь очевидцы. Петр же демонстрирует скорее приближение к европейскому варианту. Известно, что Людовик XIV, часто сталкивавшийся с неповиновением подданных, ограничивался небольшим числом казней по-настоящему виновных. А что же Петр? Стрельцы, казненные в 1698—1699 гг. являлись участниками вооруженного бунта против государственной власти, что и в наши дни является тягчайшим преступлением. Стоит отметить, что несовершеннолетних стрельцов не казнили, но наказывали кнутом, клеймили и ссылали в Сибирь<sup>10</sup> (наказание, конечно, тяжелое, но сама дифференциация вполне показательна, так как демонстрирует наличие прочных рациональных черт психики Петра уже в этом возрасте). То же преобладание рациональности над аффектами, которое Н. Элиас называет основой процесса оцивилизации, вступившего в Европе в активную фазу как раз в конце XVII в.<sup>11</sup>, видно в распоряжениях Петра касательно Астраханского бунта. Совершенно незначительно и количество жертв громких дел второй половины петровского царствования, связанных с административными и финансовыми правонарушениями представителей высшей знати, когда Петр, прославившийся своей бескомпромиссной жесткостью, зачастую ограничивался острасткой, прощая очевидные преступления, наказания за которые устанавливались его собственными законами (то же самое относится и к повергнутому в трепет всю аристократию делу царевича Алексея).

Фактически уровень агрессии в поведении Петра по большей части не выходил за рамки нормы в тогдашнем российском обществе (да, он принимал активное участие в пытках и допросах, но так же поступала и царевна Софья, которую некоторые авторы склонны считать потенциальным проводником реформ либерального формата)

<sup>5</sup> Эрикссон Э. Детство и общество. С. 238.

<sup>6</sup> Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / Пер. с англ. В.В. Старовойтова. М., 2000. С. 23.

<sup>7</sup> Там же. С. 74.

<sup>8</sup> Там же. С. 68.

<sup>9</sup> Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2006. С. 522.

<sup>10</sup> Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого: В 6 т. СПб., 1958. Т. 3: Путешествие и разрыв с Швецией. С. 219, 235, 239.

<sup>11</sup> См.: Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования / Пер. с нем. М.; СПб., 2001. В 2 т.

и незначительно выходил за пределы таковых в современной ему Европе. Таким образом, считать жестокость неотъемлемой чертой личности царя-реформатора некорректно.

Причины различий в поведении Ивана Грозного и Петра состоят (помимо не просчитываемых врожденных особенностей) в специфике социализации двух «первых монархов» (в частности, благотворное воздействие на идентичность юного Петра оказало его удаление из столицы, в результате которого он оказался в стороне от придворной борьбы, а также получил возможность свободного выбора занятий и знакомств, тогда как Иван пребывал в самом сердце разрушительного мира интриг, заговоров и испытывал на себе пренебрежение бояр-правителей) и в обстоятельствах их деятельности<sup>12</sup>.

Анализ биографии Петра показывает, что чаще всего он был склонен проявлять садистские наклонности в юные годы (ср. описание святочных увеселений молодого царя князем Б.И. Куракиным<sup>13</sup>), тогда как со временем его отношение к окружающим заметно смягчается, так что в последние годы жизни он предстает в облике вполне «нормального», «цивилизованного» или, как тогда говорили, политичного монарха. Происходит это смягчение благодаря наличию благоприятных для формирования устойчивой психики условий, и в первую очередь вследствие успешности деятельности царя-реформатора, сумевшего сделать Россию великой державой с мощной армией и флотом и получившего в качестве вознаграждения титул императора, высший в тогдашней монархической иерархии. Обращение к последним годам жизни Петра показывает, что базальная тревожность была им, видимо, изжита, хотя базовое недоверие, как более «мягкое» качество, сохранялось в связи с тем, что царь-реформатор не мог быть полностью уверен в благополучном будущем своих начинаний и слишком часто сталкивался с предательством и недоброжелательностью со стороны своего окружения и подданных. Биография Ивана IV представляет собой, напротив, нарастание неудач и провалов, так что Грозный пришел к концу жизни в состоянии почти полного распада личности.

Кроме того, Петром было найдено, конечно, по большому счету бессознательно, замечательное компенсаторное средство — смех, чье социокультурное значение также поддается адекватному историческому анализу лишь с учетом его психологической составляющей.

<sup>12</sup> См. об этом подробнее: Мухин О.Н. Петр Великий Иван Грозный: личность в контексте специфики российских процессов модернизации // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2011. Вып. 35. С. 153–174.

<sup>13</sup> Куракин Б.И. История о царевне Софье и Петре // Богданов А.П. Царевна Софья и Петр. Драма Софии. М., 2008. С. 325.

Широко известно пристрастие царя-реформатора к пародийно-кошунственным мероприятиям, ярчайшим выражением которых являлся знаменитый всешутейший и всепьянейший собор. Вполне показательно, что ни современники, ни историки не находили адекватного объяснения этому явлению. Первые, как правило, видели в шутовских увеселениях государя лишь средство отдыха, интенсивность которого соответствовала уровню трудового напряжения царя-плотника. Вторые либо вообще не берутся рассуждать о смысле петровского смеха (опять-таки в силу игнорирования междисциплинарного подхода), либо объявляют ее некой патологией неуравновешенного преобразователя.

По определению А.Г. Козинцева (восходящему к теории карнавальской культуры М.М. Бахтина), смех — это знак коллективной негативистской игры против культуры как свода обременительных правил и запретов<sup>14</sup>. Смех означает «мгновенный прорыв (но не отмену!) внутреннего запрета, разрешение сделать то, что не может быть разрешено: сбросить с плеч всю ношу, которую человечество взвалило на себя в процессе антропогенеза, опуститься на более низкий уровень, подобно тому, как дети время от времени сбрасывают с плеч то, чему их учили, вовсе того не забывая»<sup>15</sup>. И еще: «Смех не просто *позволяет* нам временно и коллективно блокировать речь, остановить мысль, прервать культурно-обусловленное действие и вообще “отменить” культуру; дождавшись момента и вырвавшись на волю, он лишает воли нас самих, *запрещает* нам оценивать ситуацию соответственно нормам морали, здравого смысла и этикета. Тогда наступает мгновенное (и вынужденное) освобождение от этих норм, от связанного с ними напряжения, от необходимости мыслить, сострадать, подчиняться, усваивать знания, прилагать усилия, вообще адаптироваться к реальности. Даже от необходимости комбинировать символы, то есть говорить!»<sup>16</sup>

Таким образом, «психологический» смех носит компенсаторный характер, давая человеку временное освобождение от норм и предписаний культуры, дабы «спасти» его психику от перенапряжения. То есть всешутейший собор, как и в целом смех Петра, истоки которого прослеживаются в карнавальской европейской культуре и русских традициях перевернутых отношений, позволял царю-реформатору смягчать прессинг, оказываемый на его психику со стороны традиционных норм, нарушавшихся в ходе преобразовательной деятельности. Именно ситуация радикальных реформ порождала необходимость

<sup>14</sup> Козинцев А.Г. Об истоках антиповедения, смеха и юмора (этюда о шекотке) // Смех: истоки и функции. СПб., 2002. С. 28.

<sup>15</sup> Там же. С. 29.

<sup>16</sup> Там же. С. 35.

в столь гипертрофированной форме смеховых действ. Подтверждением «оздоравливающей» роли последних для идентичности Петра служит позитивная динамика стиля его смеха, с годами приобретающего все более «цивилизованный» и безопасный для окружающих характер.

Итак, исторический анализ биографии Петра с применением междисциплинарных технологий позволяет, во-первых, подвести логичную доказательную базу под уже имеющиеся наблюдения о характерных чертах его личности (например, опираясь на концепцию невротического характера, объяснить повышенный уровень агрессии в его поведении в молодые годы), а, во-вторых, при обращении к сравнению, скорректировать эти наблюдения (так, чрезмерно жестким формат политического поведения Петра может казаться при сопоставлении с его европейскими коллегами, находившимися в иной социокультурной обстановке, тогда как для самодержавной России он являлся вполне нормальным и даже демонстрировал явное смягчение, связанное с ростом рациональности, по сравнению с его предшественниками). Кроме того, междисциплинарный подход дает возможность ставить вопросы, обычно избегаемые историками, и находить вполне убедительные ответы на них (как в случае со значением для Петра пародийно-кошунственных увеселений, не являвшихся некими психическими или нравственными отклонениями, но игравшими в принципе присущую им компенсаторную функцию снятия напряжения, вызываемого прессингом культурных традиций).

Соответственно, использование методов смежных гуманитарных дисциплин (и прежде всего психологии), а также качественного историко-сравнительного анализа (предполагающего не простое сопоставление тех или иных фактов, качеств и характеристик, но построение объяснительных типологических моделей сходства и различий) должно стать той обязательной базой, которая обеспечит сугубо научный характер историко-биографических исследований.

## **МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ**

**СОЦИОЛОГИЯ И НОВАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В ПРАКТИКЕ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

*Е.А. Архипова*

Российский государственный гуманитарный университет  
г. Москва

***Аннотация.** В статье рассматривается опыт изучения феномена старообрядческого предпринимательства в российском гуманитарном знании в 1990–2000-е гг. Автор отмечает основные тенденции развития знания о данном феномене и показывает, как применение социологической модели М. Вебера и неинституционального подхода способствовало разрешению вопроса о роли старообрядчества в развитии российского предпринимательства.*

***Ключевые слова:** старообрядческое предпринимательство, Раскол, Реформация, капитализм, хозяйственная этика, ментальность, неинституциональный подход, М. Вебер.*

В 1990–2000-е гг. феномен старообрядческого предпринимательства, маргинальная для советской историографии тема, стал предметом общественных и научных дискуссий. Развитие рыночных отношений и поиски исторических примеров частного предпринимательства, с одной стороны, и поиски новых теоретических моделей, с другой, заставили историков, экономистов и социологов обратиться к старообрядческому предпринимательству через призму концепции М. Вебера.

В работах начала 1990-х гг. проводилась аналогия между Расколом Русской православной церкви и европейской Реформацией, ролью протестантов и старообрядцев в развитии капитализма. Опираясь на модель М. Вебера, исследователи пытались осмыслить

этику российских предпринимателей через влияние на нее православного вероучения и приходили к выводу, что ни официальное православие, ни старообрядчество не выработали своего учения, аналогичного протестантскому учению о преопределении.

Зачастую данные работы не представляли собой результатов целенаправленных эмпирических исследований. Дискурс о российском, в том числе и старообрядческом предпринимательстве, формировался преимущественно на основе дореволюционной историографии (Н.И. Костомаров, А.П. Шапов, Н.Я. Аристов, В.В. Андреев, П.И. Мельников, С.Н. Булгаков, И.А. Кириллов), на основе литературы мемуарного характера, созданной представителями российской буржуазии (П.А. Бурышкин, П.Т. Вишняков, В.П. Рябушинский), а также на основе литературных произведений (П.И. Мельникова-Печерского, П. Боборыкина)<sup>1</sup>.

Исходя из аналогии с протестантизмом, исследователи рассматривали вопрос о роли старообрядчества в становлении капитализма в России скорее не как исследовательскую гипотезу, а как вполне доказанный факт. Хотя это, конечно, были только первые подступы к осмыслению проблемы.

Исторический образ российского предпринимательства, сконструированный в работах экономистов и публицистических статьях историков, несмотря на все оговорки, оказался вполне положительным, во всяком случае по сравнению с его западным аналогом. Получалось, что российские предприниматели отличались высокой нравственностью; заботились скорее об общем благе, чем о личной выгоде; активно занимались благотворительностью и меценатством.

Однако этот образ все-таки требовал как конкретного фактического наполнения, так и глубокого теоретического осмысления.

В рамках изучения старообрядческого предпринимательства, так же как, впрочем, и в рамках изучения российского предпринимательства в целом, наметились две тенденции, которые не были характерны для советской историографии, — исследование биографий предпринимателей и историй предпринимательских родов, а также исследование предпринимательского менталитета (ценностных установок, этики).

<sup>1</sup> *Вышегородцев В.* Старообрядческий капитализм // Былое. 1993. № 5. С. 3; *Писемский В.А., Калаинов Ю.Н.* Православие и духовный тип российского предпринимателя // Из истории экономической мысли и народного хозяйства России. М., 1993. Вып. 1. Ч. II. С. 342–350; *Соболевская А.* Духовные истоки российского предпринимательства // Вопросы экономики. 1993. № 8. С. 88–96; *Гловели Г.* Цивилизационный опыт России: необходимость уточнения // Вопросы экономики. 1993. № 8. С. 113–125; *Роцин М.Ю.* Старообрядчество и труд // Грани. 1994. № 173. С. 237–245; *Зарубина Н.Н.* Российское предпринимательство: идеи и люди // Вопросы экономики. 1995. № 7. С. 82–90.

В 1990-е гг. вышло в свет значительное количество научных и научно-популярных работ, посвященных предпринимателям и предпринимательским династиям, в том числе и старообрядческим<sup>2</sup>. Написанные в позитивистском ключе, они выполняли важную функцию возвращения коллективной памяти неизвестных или незаслуженно забытых исторических имен.

Вместе с тем развитие исторического знания требовало не только заполнения лакун, но и новой концептуализации с применением современных подходов и методов. Наиболее востребованным в российской историографии 1990-х гг. оказался опыт историков школы «Анналов», прежде всего ее третьего поколения, разрабатывавшего историю ментальностей. Началось теоретическое осмысление такого понятия, как «менталитет» («ментальность»).

Так, Л.Н. Пушкарев признавал, что советская историография не уделяла внимания ментальному фактору при анализе тех или иных исторических событий. Поэтому перед исторической наукой стоит актуальная задача изучения менталитета различных социальных страт в разное время. Вместе с тем историк отмечал, что это отнюдь не означает, что надо отказаться от анализа социально-экономических, классовых и партийных факторов. Следует дополнить данный анализ еще и изучением менталитета<sup>3</sup>.

Сформулированная Л.Н. Пушкаревым задача была отчасти реализована в сборнике, посвященном менталитету российских предпринимателей XVII–XIX вв., подготовленном Институтом российской истории. Во введении к сборнику историк предлагает следующее определение менталитета предпринимательских слоев: «совокупность мнений и представлений, чувств и настроений купцов и промышленников данной эпохи, их отношений к своей производственной деятельности, а также к власти, праву, религии, окружающему миру, времени и истории»<sup>4</sup>.

Так, Н.В. Козлова реконструировала образ идеального купца XVIII в. В качестве источников она использовала литературу о ком-

мерции, неопубликованные записки, проекты и предложения купцов, адресованные в центральные учреждения страны, а также купеческие мемуары. Проведенный ею анализ показал, что идеальный купец должен был владеть специальным образованием, необходимым для успешного ведения коммерческих дел; определенными личными качествами (трудолюбием, честностью, благоразумием и др.); а также он должен был стремиться не только и не столько к личному обогащению, сколько к общественной пользе<sup>5</sup>.

В другой своей статье Н.В. Козлова полемизировала с той точкой зрения, согласно которой нравственные установки старообрядчества оказали определяющее влияние на формирование предпринимательской этики в целом. По ее мнению, это далеко не так, поскольку старообрядческие купцы в XVIII в. ни по численности, ни по состоятельности не занимали ведущего положения среди российских предпринимателей<sup>6</sup>.

Не соглашалась исследовательница и с мнением В.Н. Разгона, который противопоставлял основную массу купечества купечеству старообрядческому, указывая на показной характер пуританизма и благочестия первой и ее разгульный образ жизни. Н.В. Козлова замечала, что «в XVIII в. занятие торговлей, для большинства купцов сопряженное с высокой степенью риска и мизерной нормой прибыли при отсутствии (или недоступности) государственного кредита и свободных денежных средств, отнюдь не способствовало формированию в купеческой среде психологии расточительства»<sup>7</sup>.

Таким образом, Н.В. Козлова пришла к выводу, что этические принципы российского предпринимательства были уже сформированы, когда старообрядческие предприниматели стали заметной силой. «Роль же старообрядцев, — завершает статью исследовательница, — по своим поведенческим установкам и укладу жизни в большей степени являвшихся носителями этих принципов, на наш взгляд, заключалась в том, что они своим примером ускорили их усвоение предпринимательской средой»<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Козлова Н.В. Некоторые черты личностного образца купца XVIII века (К вопросу о менталитете российского купечества) // Менталитет и культура предпринимателей России XVII–XIX вв. С. 43–57.

<sup>6</sup> Она же. Купцы-старообрядцы в городах европейской России в середине XVIII в. (К истории российского предпринимательства) // Отечественная история. 1999. № 4. С. 11.

<sup>7</sup> Там же. См.: Разгон В.Н. Менталитет сибирского купечества в XVIII — первой половине XIX в. // Предпринимательство в Сибири: мат. науч. конф. 7–9 сент. 1993 г., г. Барнаул. Барнаул, 1994. С. 15–16. Рассуждения В.Н. Разгона о роли старообрядчества в формировании «духа капитализма» опирались не на анализ конкретных источников, а на мнение западных историков.

<sup>8</sup> Козлова Н.В. Купцы-старообрядцы в городах европейской России в середине XVIII века. С. 13.

<sup>2</sup> Гавлин М.Л. Из истории российского предпринимательства: династия Кокоревых: науч.-аналит. обзор. М., 1991; Он же. Из истории российского предпринимательства: династия Солдатенковых: науч.-аналит. обзор. М., 1992; Он же. Российские Медичи: портреты предпринимателей. М., 1996; Морозовы. Династия фабрикантов и меценатов. Опыт родословия. Ногинск (Богородск), 1995; Кузьмичев А., Петров Р. Русские миллионщики: семейные хроники. М., 1993; Петров Ю.А. Династия Рябушинских. М., 1997; Морозова Т.П., Поткина И.В. Савва Морозов. М., 1998, и др.

<sup>3</sup> Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? Историографические заметки // Отечественная история. 1995. № 3. С. 165.

<sup>4</sup> Он же. Введение // Менталитет и культура предпринимателей России XVII–XIX вв.: сб. ст. М., 1996. С. 8.

Изучение менталитета российских предпринимателей во многом свелось к вопросу о влиянии православия на их ценностные установки и поведение<sup>9</sup>. Вместе с тем не ставился вопрос, с помощью какого методологического инструментария и на основе каких источников следует решать данную проблему. Зачастую применялся иллюстративный метод и в основном привлекались воспоминания представителей буржуазии (В.П. Рябушинского, Н.П. Вишнякова, П.А. Бурьшклина и др.).

Этические основания старообрядческого предпринимательства вызывали значительный интерес исследователей. Однако эти работы основывались не на анализе первоисточников, а воспроизводили высказывания, принадлежащие различным историографическим дискурсам<sup>10</sup>.

Впервые в российской историографии всесторонний анализ конфессионально-этического фактора старообрядческого предпринимательства был предпринят в работе В.В. Керова, который опирался на модель М. Вебера.

Вслед за немецким социологом российский историк также отказался от абсолютизации религиозного фактора. Реализуя в своем исследовании системный подход, В.В. Керов видит в религии лишь одну из социокультурных подсистем человеческой цивилизации. Как он считает, все подсистемы, взаимодействуя, обеспечивают эволюцию человеческого общества и изменяются в ходе цивилизационного развития. Таким образом, исследователь в полной мере разделяет точку зрения М. Вебера, указывая на то, что для реализации религией своей функции «по формированию и внедрению определенных ценностей, которые могли бы способствовать тому или иному процессу (в данном случае генезису современного предпринимательства) необходимо, чтобы совлияние других систем приняло также определенный вид, обеспечив условия социализации ценностей в конкретных формах»<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> См.: *Ермишина С.А., Наумова Г.Р.* Православный менталитет русского делового человека // Буржуазия и рабочие России во второй половине XIX — начале XX в. С. 24—27; *Семенова А.В.* Национально-православные традиции в менталитете купечества в период становления российского предпринимательства // Старообрядчество: история, культура, современность: тезисы. М., 1997. С. 53—55; *Она же.* Национально-православные традиции в менталитете русского купечества в период становления предпринимательства // История предпринимательства в России. Кн. 1. М., 2000. С. 433—441.

<sup>10</sup> *Старцев А.В.* Хозяйственная этика старообрядчества // Старообрядчество: история и культура: сб. науч. ст. Барнаул, 1999. Вып. 1. С. 78—93; *Беспалова Ю.М.* Ценностные ориентации предпринимательства России (на материалах западносибирского предпринимательства второй половины XIX — начала XX в.). СПб., 1999. С. 67—76; *Брянцев М.В.* Религиозно-этические основы предпринимательства в России (XIX в.). М., 2000. С. 67—92.

<sup>11</sup> *Керов В.В.* «Се человек и дело его...»: конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства в России. М., 2004. С. 100.

В.В. Керов призывает не абсолютизировать выявленные в ходе его исследования связи. «Так же как и в случае большинства исторических исследований, ставящих задачи выявления основных характеристик, тенденций или закономерностей, в результате анализа строится теоретико-логическая модель, отражающая определенный существенный аспект (или аспекты). В этом аспекте модель данного исследования близка тем, что реализованы в работах Вебера *по результату* [курсив автора. — Е. А.]. Она представляет реальность в определенных главных аспектах»<sup>12</sup>.

Работа охватывает значительный временной промежуток: от возникновения старообрядчества в результате церковного раскола во второй половине XVII в. до начала XX в. Хотя исследователем учитывается специфика старообрядческих толков и согласий, его методологическая установка предопределила взгляд на старообрядцев как на единое религиозное движение. Таким образом, историк в какой-то степени попал в ловушку модели Вебера, который (об этом пишет и сам В.В. Керов) критиковался своими последователями за то, что игнорировал неоднородность протестантской доктрины и тем самым упрощал историческую реальность.

Помимо системного подхода в исследовании В.В. Керова реализуется историко-антропологический подход. Модель историка «обогащается» таким понятием, как «ментальность». Исследователь дает следующее рабочее определение ментальности: «латентная картина мира», «под которой понимается система внеиндивидуальных, в значительной степени неосознаваемых представлений, формирующих механизм опосредования и спонтанно объективизирующихся в социальной практике (деятельности) человека»<sup>13</sup>. При этом подчеркивается, что ментальность формируется в течение длительного времени и несет в себе элементы различных периодов.

Значительный хронологический охват и сложность самого объекта исследования потребовали от историка привлечения массива источников и конкретных исторических исследований. Сформулированные историком вопросы заставили его обратиться к анализу старообрядческой книжности второй половины XVII — начала XX в.: к сочинениям лидеров старообрядчества, руководителей Выговского общежития и керженецких староверов; к таким нормативным источникам, как уставы, «статейники», решения старообрядческих соборов; к старообрядческим летописям и историческим произведениям, старообрядческим духовным стихам и фольклору, нравоучительным сборникам.

<sup>12</sup> Там же. С. 98.

<sup>13</sup> Там же. С. 64.



Проведенный В.В. Керовым в широкой сравнительной перспективе анализ показал, что догматически старообрядчество осталось в рамках православия, но выработало новый тип религиозности. Для последнего был характерен вероисповедный активизм, религиозный рационализм, сакрализация повседневности, представление о личной ответственности за судьбу всей церкви. Сформировавшийся в старообрядчестве новый тип религиозности способствовал формированию новой хозяйственной этики.

В результате своего исследования В.В. Керов пришел к выводу, что в старообрядчестве физический, административно-организационный труд, торговля, предпринимательство рассматривались как душеспасительная деятельность, но только в том случае, если она осуществлялась на благо общины. Старообрядчество сформулировало «концепцию Дела», согласно которой «фактически душеспасительным делом признавался практически любой труд, исполняемый верующим на своем месте, в своей профессии, в том числе в предпринимательстве»<sup>14</sup>. Но все-таки требовалось выполнение некоторых условий, а именно: во-первых, честно делать свое дело, во-вторых, «по результатам дела надо отдавать дань одной из двух важнейших Христовых заповедей — любви к ближнему, милостыни и милосердию» и, наконец, труд не должен быть абсолютной самоцелью («Труд трудом, но нужно помнить, что прежде всего — “Царство Божие и правда Его”»)<sup>15</sup>.

По мнению В.В. Керова, концепция Дела «стала стержнем старовойсковской предпринимательской этики». Для предпринимателя-старообрядца, так же как и для предпринимателя-протестанта, дело являлось самоценным. Но вместе с тем «в отличие от протестанта старообрядец не мог быть уверен в спасении (в православии такая уверенность бессмысленна), но мог служением Богу — своим Делом — попытаться снискать его»<sup>16</sup>.

Стремление служить Делу обусловило некоторые отступления предпринимателей от этических норм старой веры: введение технических и технологических новшеств, контакты с иноверцами, сознательное совершение грехов (например, грех штрафования (лихоимства))<sup>17</sup>.

В исследовании В.В. Керова впервые в историографии была предложена модель, объясняющая влияние старообрядчества на формирование предпринимательской этики. Используя сравнительный метод, исследователь показал специфику старообрядчества по сравнению

с протестантизмом, разрешив таким образом противоречие, которое не могли разрешить западные исследователи, накладывавшие веберовскую матрицу на старообрядчество и искавшие в старообрядчестве учение, подобное кальвинистскому учению о предопределении. В результате историку удалось уйти от спекуляций и поверхностных аналогий, характерных для историографии начала 1990-х гг., и реконструировать хозяйственный менталитет старообрядцев.

Однако предложенная В.В. Керовым модель, как собственно любая модель, имеет свои границы, которые были обозначены самим автором. Хотя в этой модели и учитывается специфика старообрядческих согласий и региональные особенности, акцент все-таки смещен в сторону выявления общих тенденций и закономерностей, общих ментальных установок.

Иную теоретическую модель для осмысления феномена старообрядческого предпринимательства применил Д.Е. Расков. Он использовал неоинституциональный подход, который, по его мнению, синтезирует в себе неоклассическую экономическую теорию и экономическую социологию.

В исследовании используется определение Д. Норта, согласно которому «институты — это созданные человеком ограничения, которые структурируют политическое, экономическое и социальное взаимодействие. Они состоят как из неформальных ограничений (санкции, табу и коды поведения), так и формальных правил (конституции, законы, права собственности)»<sup>18</sup>.

Переноса неоинституциональную матрицу на эмпирический материал, Д.Е. Расков пытается определить, как персональная этика (культурные нормы, специфика мировоззрения); контрактные отношения в старообрядческой среде; социальные нормы; организационные правила, складывающиеся в рамках общины; законодательство в отношении старообрядчества повлияли на формирование старообрядческого предпринимательства.

Вопрос же о том, что все-таки является первопричиной конфессионального предпринимательства: мировоззрение (этика) или социально-политические условия, — по сути, снимается исследователем. В рамках неоинституционального подхода важное значение имеют как формальные, так и неформальные институты. Только мировоззренческие изменения или только изменения социально-политические не могут привести к появлению конфессионального предпринимательства<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> Керов В.В. «Се человек и дело его...»: конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства в России. С. 529.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Там же. С. 530–532.

<sup>17</sup> Там же. С. 532–539.

<sup>18</sup> Расков Д.Е. Старообрядческое предпринимательство в экономике России в конце XVIII–XIX вв.: неоинституциональный подход: дисс. ... канд. экон. наук. СПб., 2000. С. 75–76.

<sup>19</sup> Там же. С. 132–134.

Применение неинституционального подхода позволило Д.Е. Раскову объяснить причины успеха старообрядцев в текстильной промышленности. По мнению исследователя, успехи старообрядчества в этой сфере — результат взаимодействия экономической конъюнктуры с культурными и социальными нормами староверов. Во-первых, хлопчатобумажная промышленность ориентировалась на широкий потребительский рынок: спрос на ее продукцию был достаточно высок. Позитивную роль для развития данной отрасли сыграл тариф 1822 г., который установил высокие пошлины на ввоз готовых тканей и низкие — на пряжу. Таким образом, текстильное производство было весьма выгодно. Во-вторых, социальные и культурные нормы позволили старообрядцам оптимально использовать данную конъюнктуру. Среди них автор выделяет следующие: «интенсивный труд по 10–12 часов, бережливость в расходовании средств и преимущественное финансирование расширения дела, доверие со стороны односельчан, которые давали им деньги под незначительные проценты, что открывало возможность концентрировать ресурсы для модернизации текстильного производства»<sup>20</sup>.

Как показывает Д.Е. Расков, старообрядцы были успешны не только в текстильной промышленности, но также в пивоваренном, кирпичном, гончарном производствах. Однако в текстильной промышленности, так же как и в других отраслях, в 70-е гг. XIX в. отмечалось уменьшение доли старообрядческого капитала. Причину этого исследователь усматривает в изменении экономической конъюнктуры, которая требовала совершенно иных социальных и культурных норм. Во второй половине XIX — начале XX в. особое значение приобретает железнодорожное строительство, а также связанные с ним горнодобывающая и машиностроительная отрасли промышленности. В этих сферах значительную роль играли государство и иностранные капиталы. Этот период также ознаменовался бурным развитием кредитно-финансовой сферы. Старообрядческие предприниматели не обладали качествами, необходимыми для спекулятивного капитализма, тесно связанного с государственным аппаратом<sup>21</sup>.

В качестве внутренних причин уменьшения роли старообрядцев в экономике России Д.Е. Расков называет социальную дифференциацию, развивавшуюся внутри старообрядческого сообщества, а также отсутствие гонений после царствования Николая I<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Расков Д.Е. Старообрядческое предпринимательство в экономике России в конце XVIII–XIX вв. С. 158–159.

<sup>21</sup> Там же. С. 166–168, 171–172.

<sup>22</sup> Там же. С. 172. В своей более поздней статье Д.Е. Расков более четко, на наш взгляд, объясняет причины упадка старообрядческого предпринимательства. Он считает, что религия только на определенном этапе способствует

Представляется, что неинституциональный подход, учитывающий влияние как формальных, так и неформальных институтов, позволил адекватно проанализировать феномен старообрядческого предпринимательства, не абсолютизируя при этом конфессиональный аспект.

Предпринятый Д.Е. Расковым анализ статистики позволил также определить хронологические границы расцвета старообрядческого предпринимательства, который пришелся на 30–60-е гг. XIX в., и тем самым обозначить проблему ограниченного потенциала старообрядческого предпринимательства. Таким образом, исследование показало, что старообрядчество, безусловно, было субъектом органичной модернизации, однако эта модернизация имела свои хронологические, отраслевые и региональные границы.

В своей недавно вышедшей монографии Д.Е. Расков рассмотрел старообрядчество как сложное религиозное движение, в рамках которого отношения к собственности, к предпринимательской деятельности были разнообразны. Так, например, если в среде федосеевцев шли острые дискуссии относительно того, может ли община участвовать в процентных операциях, то у поповцев Белокриницкой иерархии практика отдачи свободных средств в рост была узаконена во внутренних документах общины<sup>23</sup>.

Применение неинституционального подхода к изучению феномена старообрядческого предпринимательства позволило исследователю убедительно доказать, что старообрядческий проект модернизации следует рассматривать как гипотетический, как нереализованный проект. Он не мог стать доминирующим в результате изменения экономической конъюнктуры в конце XIX — начале XX в. и несоответствия неформальных институтов старообрядческого предпринимательства новым вызовам социально-экономического развития. По его мнению, старообрядческий тип организации был более органичен для традиционного капитализма, который строился на репутации, личных отношениях, семейных и корпоративных связях. Современный же капитализм с его безличным типом отношений уже был чужд старообрядцам. Таким образом, Д.Е. Расков считает некорректным проводить аналогию между старообрядчеством и протестантизмом в контексте их

ет развитию экономической деятельности, но затем возникает конфликт между экономикой и религией. И этот конфликт приводит либо к «оскудению веры», либо к потерям в эффективности (Расков Д.Е. Старообрядчество и русский капитализм: динамика и противоречия // Экономическая история России: проблемы, поиски, решения. Ежегодник. М.; Волгоград, 2002. Вып. 4. С. 429).

<sup>23</sup> Расков Д.Е. Экономические институты старообрядчества. СПб., 2012. С. 162–186.

влияния на развитие капитализма. В отличие от старообрядчества, протестантизм стал доминирующим проектом модернизации для ряда западных стран<sup>24</sup>.

На наш взгляд, работа Д.Е. Раскова завершила историографический цикл изучения старообрядческого предпринимательства в российской гуманитарной науке. Начавшись с романтических поисков альтернатив этатистской модернизации в старообрядчестве, реконструкции его хозяйственной этики, исследование данного феномена привело к пониманию его хронологических границ и внутренней неоднозначности.

Представляется, что дальнейшее изучение феномена старообрядческого предпринимательства, отталкиваясь от историко-социологической и историко-экономической моделей В.В. Керова и Д.Е. Раскова, должно пойти по пути региональных и микроисторических исследований, которые позволят еще больше раскрыть многогранность данного феномена и адекватно оценить его роль в экономическом развитии России.

## ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ДИСКУРСОВ МЕЩАНСКОГО ПИСЬМА ВО ВЛАСТЬ: «УНИСОННЫЙ ТИП ОТНОШЕНИЙ»

**З.М. Кобозева**

Самарский государственный университет,  
г. Самара

***Аннотация.** В статье анализируется проблема взаимоотношений представителей местной власти и мещанства города в пространстве делопроизводственной документации градской думы и мещанской управы. «Маленький человек» большой империи, провинциальный мещанин апеллирует к «маленькому» чиновнику посредством официального письма, выступающего в то же время как личное послание. Интерференция дискурсов в пространстве данного источника — это интерференция частной и государственной сфер в повседневности обывателя. Их диалог и «диффузию» автор определяет как «унисонный тип отношений».*

***Ключевые слова:** мещанское сословие, идентичность, языковая картина мира, языковая личность, интерференция дискурсов.*

Введение к своей монографии о повседневности русских городских обывателей А.Б. Каменский называет «историческое "сырье" и его обработка», понимая под "сырьем" исторические источники<sup>1</sup>. Специфика исторического "сырья", связанного с историей мещанского сословия провинциального города, заставляет искать признаки сословной мещанской идентичности в языковой картине мира, отразившейся в достаточно скупой делопроизводственной документации, так как представители мещанства, как правило, не оставили после себя источников личного происхождения. В делопроизводстве градской думы

<sup>24</sup> Расков Д.Е. Экономические институты старообрядчества. С. 133—135.

<sup>1</sup> Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей. Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. М., 2006.

и мещанской управы сохранилось значительное количество писем мещан «во власть», обращенных лично к городскому голове или мещанскому старосте. «Общение лицом к лицу является главной составляющей всех форм социального взаимодействия вне зависимости от масштабности контекста»<sup>2</sup>, при таком взаимодействии на микроуровне особое значение приобретает язык письменных обращений «во власть» как средство передачи смыслов, который индивид берет из своей повседневной рутины. При всей важности подобного источника, его достаточно трудно интерпретировать, так как «любой пустячный разговор ... труден для понимания»<sup>3</sup>. Главу «Социальное взаимодействие и повседневная жизнь» в своем учебнике по социологии Э. Гидденс, говоря о современном мире, заканчивает разделом под заголовком «Заключение: непреодолимое стремление к близости», в котором автор пишет об испытываемой людьми потребности в близости или соприсутствии, так как «в современном обществе, резко отличающемся от традиционного, мы постоянно находимся во взаимодействии с людьми, которых можно ни разу не видеть или не встретить»<sup>4</sup>. В дореволюционном провинциальном городе ситуация повседневного взаимодействия предполагала совершенно иные границы пространства личного и общественного: городской голова или мещанский староста были связаны с мещанами города многочисленными нитями интеракций, которые официально не были отражены в законодательном плане. В пространстве империи городской голова, а уж тем более мещанский староста — маленькие бюрократические фигуры, в пространстве личных и общественных связей провинциального города — это большие люди, от которых зависела судьба мещанской семьи: паспорт, подати, рекрутство. При анализе социальных структур Российской империи Э. Виртшафтер отмечала, что необходимо «отличать правовые определения от реальных общественных явлений»<sup>5</sup>. Это доказывает стиль писем мещан к городскому голове или к мещанскому старосте, носящих в середине и практически до конца XIX в. во многом личный характер. Так, например, самарский мещанин Алексей Соловьев писал старосте в 1856 году (сохранена орфография источника): «*Милостивый Государь!/ Никанор Семёнович/ Пришла пора немедлинности на пересылку государственных податей, да и правда ныне так долго промедлил, в прочем была тому причина у нас по дому в семействе неблагополучно к большому прискорбию/ Почтенная наша маминька покинула нас*

<sup>2</sup> Гидденс Э. Социология. М., 2005. С. 81.

<sup>3</sup> Там же. С. 84.

<sup>4</sup> Там же. С. 96–97.

<sup>5</sup> Виртшафтер Э. Социальные структуры: различия в Российской империи. М., 2002. С. 14.

*и оставила навечно, отойдя в Будущий мир 25 декабря Но сколько ни грусти невозвратим этот путь для каждого/ итак Милостивый Государь Никанор Семёнович всепокорнейшею просьбою обращаюсь к вам на взнос податей при сём посылаю денег с серноводским полицейским солдатом Петром Емельяновым 10 руб. серебром За сей текущий год, а недоимка 7 руб. ... А теперь потрудитесь выправить два паспорта мне и сыну Сашеньке Зделайте милость ради Бога потрудитесь об этом похлопотать чем премного обяжите/ наше истинное Почитание Вам и милостивой Государыне Глафире Александровне От всей Души желаю Вам быть Здоровым Равно и деткам Вашим/ При истинном Почитании навсегда пребываю с исключительно Уважением / Милостивый Государь Ваш Алексей Соловьев»<sup>6</sup>. Другим почерком на этом письме была сделана приписка: «*Милостивый государь Никанор Семёнович и Глафира Александровна! Все ли вы здоровы — я свою схоронил. А Вам дни Господни желаю быть здоровым 20 апреля ради Господа заплатит подати 1855 года и паспорт править чем премного обязан Е. Соловьев»<sup>7</sup>. Можно предположить, что это дописал отец А. Соловьёва. Мещанские обращения «во власть», как мы видим из вышеприведенного источника, отличает достаточно сильный эмоциональный фон, в котором преобладают эмоции страха, граничащего с отчаянием, и своего рода «крик» о помощи. В наступающий век индивидуализма, когда в городском пространстве уже пошатнулись традиционные основы общества — религия и микросообщество (семья, община)<sup>8</sup>, — мещанское письмо отражает нарастающую тревожность и упование на традицию, выраженную как в патриархальном доверии к общинным лидерам, так и в религиозном сознании, имплицитно присутствующем в тексте письма.**

Анализу подобных обращений во власть для решения более широкой исследовательской задачи по реконструкции сословной мещанской идентичности могут помочь методы лингвистики, в частности два основных лингвокультурных понятия: языковая картина мира и языковая личность, а также теория интерференции дискурсов.

Концепцию языковой личности в отечественное языкознание ввел академик В.В. Виноградов. Далее этой проблемой занимался Ю.Н. Караулов<sup>9</sup>. Можно выделить три уровня структуры языковой личности: вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный. Вербально-семантический уровень подразумевает лексикон

<sup>6</sup> ГУСО ЦГАСО. Ф. 217. Оп. 1. Д. 26. Л. 4(а)–4(б) (об.).

<sup>7</sup> Там же. Л. 4(б) (об.).

<sup>8</sup> Плампер Я. Эмоции в русской истории // Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций. М., 2010. С. 16.

<sup>9</sup> Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.

личности, понимаемый в широком смысле слова, включающий в себя фонд грамматических знаний личности. В этом отношении нас интересовали те грани мещанских текстов, которые связаны с уровнем грамматических знаний представителей сословия, особенно в так называемый «допечатный период» сословного делопроизводства, который мы ограничили второй половиной XIX в., так как в начале XX в. делопроизводство теряет свой характер интимного эпистолярного пространства между личностью и властью, оформленный в виде написанного от руки письма. Обращает на себя внимание практически полное отсутствие в этих письмах знаков препинания. Заглавными буквами выделялись не только имена собственные, но и все значимые для мещан личности, события, действия. То есть заглавная буква служила для авторов неким вторичным смыслом, накладываемым на аутентичный, для акцентирования переживаний, испытываемых создателем текста.

Лингвокогнитивный уровень представляет собой «образ мира» или систему знаний о мире, которой обладает личность. В этом отношении наиболее ярким примером является употребление в 1905 г. одним рядовым мещанином г. Самары, пьяницей и дебоширом, слова «микадо», из чего становится понятным, что информационные источники, газеты и журналы, доходили до обывателя в таком количестве, что они даже ввели в свою обиходную речь титул японского императора.

Мотивационный уровень деятельностно-коммуникативных потребностей отражает прагматикон личности: систему ее целей, мотивов, установок и интенций. Этот уровень в наибольшей степени позволяет выявить из источника личность социальную.

При микроанализе исторического явления особую роль начинает играть семантика, пропущенная через призму текстов, экспрессивная лексика и другие языковые средства, связанные с эмоционально-оценочными компонентами различных стилей.

Одним из свойств дискурса «является его способность порождать определенные картины мира в сознании коммуникаторов — модели мира, предопределяющие систему ценностных ориентаций субъекта, оказывающих регулирующее воздействие на его поведение»<sup>10</sup>. Семиотика социального локуса находит отражение в языковой картине мира. Человек, герой, актер, носитель языковой картины мира, языковая личность, создавая текст, отражающий его собственную точку зрения на происходящее вокруг него, тем самым транслирует гносеологическую модель реальности, сформированную в результате индивидуально-институционального познания мира. Специфика социального локуса самарского мещанства заключалась в сочетании двух

основных типов жителей: «старожилов» и мигрантов. Постоянный приток в город мещан из других губерний империи, а также представителей разных социальных групп и национальностей, пополнявших перманентно это сословие, приводил в определенной степени к маргинализации данного социального локуса, размыванию традиционных, аутентичных образов и формированию особой фронтальной ментальности «перекати-поле». Поэтому и речевая картина мира самарского мещанства исключительно полифонична, что вызвано смешанным, разнодиалектным составом населения, оторванностью от так называемого территориального «ядра» российской государственности, культурным взаимодействием мигрантов с аборигенами, а также урбанизацией, способствовавшей тесному взаимодействию деревенского и городского типов мышления и картин мира. В этом отношении историку не под силу проводить когнитивно-дискурсивный анализ речевой картины мира. Но историк может попытаться реконструировать некие общесословные фреймы, связанные с такими концептами, как «власть», «война», «паспорт», «вера», «семья», «дисциплина», «любовь». И на основании их анализа подняться до моделирования государственного дискурса «снизу», в пространстве сословной повседневности.

«Языковая картина мира в когнитивных исследованиях трактуется как воплощение особого ментально-языкового членения действительности, объективированного, прежде всего, в грамматической и лексической системах языка»<sup>11</sup>. Как уже отмечалось выше, реконструкция фрагментов картины мира мещанина провинциальной Самары осуществляется на языковом материале сословного делопроизводства, связанного с местным городским самоуправлением. Мы исходим из того, что речевое поведение, проявляющееся в системе речевого общения, является частью сословного поведения и варьируется в зависимости от социокоммуникативного контекста и типов коммуникантов.

При использовании в историческом исследовании методов лингвистики особо следует остановиться на возможностях заимствования дискурс-анализа как выходящего за границы формальной лингвистики и включающего в сферу своего внимания «экстралингвистические факторы, влияющие на речевую деятельность»<sup>12</sup>. «При дискурс-анализе в центре внимания оказывается язык как средство общения, как способ вербализации намерений, в фокусе внимания — текстовая структура и условия ее порождения/ существования»<sup>13</sup>. Мещанский

<sup>11</sup> Эммер Ю.А. Современный песенный фольклор: когниции и дискурсы. Томск. 2011. С. 18.

<sup>12</sup> Там же. С. 22.

<sup>13</sup> Там же. С. 23.

<sup>10</sup> Картины русского мира: современный медиадискурс. Томск, 2011. С. 5.

сословный дискурс в типологии дискурсов, предложенной В.И. Карасиком, может быть отнесен к дихотомии: институциональный/персональный<sup>14</sup>. Институциональность мещанского дискурса понимается как «речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов»<sup>15</sup>. В нашей ситуации мещанство города было связано между собой в границах мещанского общества и с институтами власти, такими как городская дума и мещанская управа. Но стиль каждого мещанского обращения во власть настолько самобытен и индивидуален, что мы можем говорить и об «лично-ориентированном дискурсе бытийного типа»<sup>16</sup>.

При анализе мещанского сословного дискурса мы выявляем социокультурные условия его бытования, даем коммуникативные характеристики, анализируем личность адресанта или говорящего.

Учитывая фрагментарность делопроизводственных казусов, их ситуативность, получается фрагментарной и картина мира, зафиксированная только в те моменты жизни исторического актора, когда он в своей повседневности сталкивался с властью. Поэтому необходимо дополнять фрагменты языковой картины мира дискурсивной картиной мира, понимаемой как «систему смыслов, формируемую в координируемых коммуникативных действиях адресантов и адресатов в соответствии с системой их ценностей и интересов, и включенных в социальные практики»<sup>17</sup>. Следует солидаризироваться с мнением Ю.А. Эмер о том, что «значимым являются не только когнитивные акты — категоризация и моделирование знаний о мире, общие когнитивные модели, объединяющие коммуникантов, но и умение оперировать когнитивными моделями, трансформировать их в зависимости от социокоммуникативных условий»<sup>18</sup>.

В определении понятия «интерференции дискурсов» нам близка позиция В.Д. Шевченко, который исходит из того, что это «сложный ментальный процесс, активизируемый дискурсивными свойствами интертекстуального включения; это взаимодействие между когнитивными и коммуникативно-прагматическими характеристиками включенного и принимающего текстов»<sup>19</sup>. В качестве интертекстуального

включения в язык мещанской повседневности, отраженный в письмах, нами рассматривается дискурс власти. Коммуникативное пространство между дискурсами мещанского письма во власть мы определяем как «унисонный тип отношений»<sup>20</sup>, который возникает при сходстве когнитивных моделей.

Анализ взаимодействия мещан со своими сословными чиновниками заставляет предположить, что в их взаимоотношениях присутствовала некая патриархальность, выражающаяся в интонациях искренней просьбы о помощи, содействии, вера в порядок в границах своего социального пространства, носителем которого (порядка) являлся мещанский староста или городской голова. В определенной степени тому подтверждением служит обращение самарской мещанки Феодосии Жароковой к городскому голове Василию Ефимовичу Бурееву: «*Ваши степенство милостивые государи Василий Ефимович и всех властей вообще Богом премудростию определённых над нами подчинёнными прошу я все покорнейше всегдашняя ваша слуга*... Феодосья Жарокова малолетними детьми моими буде мне отцом защитителем покровителем явите божискую милость не сравните одних людей с другими мы живём в г. Самаре 30 лет внесены отзмалова в списки неповержены никаким жалобам ничем никого неоклеветали а ныне живём в самом жалком бедности и с малолетними детьми не стоят за нами казённые подати неверьте ответу Уланова у которого находились в житии своём в острогах и в отроках добра немного он занимается глупостями разными у Морычевых окошки перебил и калитку снял... пожар сделал... забор изломал... если мне не поверите то спросите вышеупомянутых всех а у нас до трех раз забор ломали перва рас днем хотя я сама не видала... (сосед) сказал что Уланов Другой рас я видала сама — разбуянился в соседях выбежал от них и наш забор ломает ломаными досками начал с другими парнями драться и в то время я была на дворе идёт мимо пьяный, постучит в забор и кричит денег на гвозди нет одна с малолетними детьми боюсь сказать у меня две девушки кабы насмешку не сделал не вымазал бы ворота или нас не побил»<sup>22</sup>.

По следующему письму трудно определить возраст просителя, но в любом случае перед нами — два самых близких существа, прижавшихся друг к другу на чужбине, мать и сын, чья жизнь опять-таки напрямую связана с чиновником самарского пространства, которое они покинули, но с которым продолжают быть тесно связаны паспортным контролем: «*Милостивый государь / Лев Алексеевич / Мы Фалимон Владимиров*

<sup>14</sup> Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004.

<sup>15</sup> Там же. С. 193.

<sup>16</sup> Эмер Ю.А. Указ. соч. С. 26.

<sup>17</sup> Резанова З.И. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный медиадискурс. Томск, 2011. С. 42.

<sup>18</sup> Эмер Ю.А. Современный песенный фольклор. С. 52.

<sup>19</sup> Шевченко В.Д. Теория интерференции дискурсов (на материале англоязычной публицистики). Самара, 2010. С. 23.

<sup>20</sup> Шевченко В.Д. Теория интерференции дискурсов... С. 36.

<sup>21</sup> ГУСО ЦГАСО. Ф. 170. Оп. 2. Д. 12. Л. 60.

<sup>22</sup> Там же. Л. 60–60(об.).

и моя маминька Марфа Ивановна просим Вас бути так добры для нещасных нас дайте увольнение моей маменьки Марфе Ивановой и мы посылаем Вам старый паспорт Вы знаете что жить без всякого вида нельзя будьте так добры пришлите как можно скорее / Пришлите нам в г. Туринск Тобольской губ. Василью Кузьмич Телепневу мещанину»<sup>23</sup>. На помощь матери в высылке паспорта уповали мещане, оказавшиеся на чужбине: «Милостивая наша государыня ма-тушка прошу у вас вашего родительского благословления навеки нерушимого низко вам кланяюсь высылаю вам денег...пришлите нам паспорт ради бога...»<sup>24</sup>.

В 1860 г. в Самарскую городскую думу «посредством внутренней стражи» от Чернского городничего был доставлен человек, называвший себя самарским мещанином Никанором Сергеевым Рябининым<sup>25</sup>. При пересылке его в Самару Никанору были выданы казенная одежда и кормовые деньги, всего на сумму 2 рубля 40 копеек. Их необходимо было уплатить, но где взять? У Никанора не имелось никаких собственных средств. У думы тоже не оказалось никаких возможностей для того, чтобы вообще что-нибудь поделаться с Никанором. И вот сидит Никанор три дня в помещении думы без всякой стражи и никуда не сбегает. Раз все его преступление, по мнению думы, заключалось в том, что он проживал с просроченным паспортом в г. Черни, следовательно, должен был подлежать лишь денежному взысканию, зачем же нам его доставили? Тогда решили Никанора отправить в город, чтобы он нашел себе квартиру или поручителя. Да и Никанор уверил в думе чиновников, что у него в Самаре имеются родственники. Но ни родственников, ни «желающих взять его к себе для зарабатывания денег не оказалось», «рабочих же заведений при обществе, в которых бы можно поместить его для отработки денег» в Самаре не имелось. Поэтому был Никанор отпущен думой на все четыре стороны<sup>26</sup>. Далее события развивались следующим образом. На основании, по всей видимости, какого-то запроса в думу там снова заботились о личности Никанора Рябинина. По «секретному дознанию» мещанского старосты выяснилось, что провел Рябинин все лето на берегу Волги «с неблагонамеренными людьми», его видели в питейных заведениях, где Никанор объявлял себя «знающим ремесло делать мишурные позументы» и вообще, что он выдавал себя за самарского мещанина, а на самом деле был бродягой. Стали списываться с чернским городничим. И выяснилось, что там Никанор Сергеевич Рябинин заявил, что «от роду ему 31 год, веры православной, на причастии

бывал, грамотен, перед судом никогда не был, губернского г. Самары мещанин, рождён ... Крапивненского уезда в имении князя Гагарина, села Спасского, от дворового человека Сергея Ефремова Рябинина и законной матери Анны Васильевой...». Никанор рассказывал: «...отец мой получая вольную от помещика» вначале проживал в «недельном расстоянии от Самары» управляющим в имении генерала С.Н. Муханова, потом приписался в Самаре мещанином, «где я и потом состоял приписанным по последней ревизии в одной сказке с мачехой моей и ея сыном, паспорт же я получил из самарской градской думы через почту». Потом «промышлял у родных... в деревне Хутор графини Марьи Сергеевны Шуваловой». «Последний паспорт имею 1856 года ноября 23 числа с того времени я паспортов не получал всё это время проживал у Чернского 3-й гильдии купца Автамонова... отправился в с. Сергеевское к Черёмушкину для испрошения помощи на отправку паспорта так как он был хорошим знакомым родителя моего... (далее неразборчиво)... а потом взяли солдаты и привели к начальнику...»<sup>27</sup>. Далее в деле о Никаноре Рябинине следовало письмо на имя неизвестного покровителя: «Всемилолюбивый Государь! / Борис Филиппович! Прибегая к Вашему человеколюбию осмеливаюсь объяснить Вам самые теснейшие мои обстоятельства происшедшие по ненависти недоброжелателей моих: / а именно: / 1. бывал я в Новосильском уезде в имении Ея сиятельства графини Марьи Сергеевны Шуваловой в деревне Хутор у содержателя Зутенской водяной мельницы Чернского 3й гильд. купца Матвея Григорьева Автамонова который враждебно отнял у меня собственные мои карманные серебр. часы стоящие 10 руб серебром следующим образом. Отправился я с Новосильским мещанином Егором Алексеевым в д. Зиндовку он же Автамонов выпустя меня из деревни Хутора послал за мною своего работника верхом который подскакавши ко мне в виде разбойника с Ужасною Озартностью закричал как ты смел взять часы хозяина моего Я ему в ответ что эти часы не хозяина твоего а собственные мои он же мне на это если ты не возвратишься назад то я тебе сейчас же врось расшибу в такой крайности как беззащитный вынужден был возвратиться назад... снял с меня часы таким образом лишился я своей собственности

2-ое Бывши в Москве у мачехи проживал у нея неделю получа от второго мужа ея Василья Кириллова ответ чтобы я шел из дома вон Я ж на другой день вышел из оногo вспомоществовавши Ей незадолго перед тем 11 руб. серебром. Таким образом лишился наследства родительского заключающиеся до 8 тыс. рублей серебром.

<sup>23</sup> ГУСО ЦГАСО. Ф. 217. Оп. 1. Д. 26. Л. 1403.

<sup>24</sup> Там же. Д. 43. Л. 855.

<sup>25</sup> Там же. Ф. 170. Оп. 6. Д. 573. Л. 5.

<sup>26</sup> Там же. Л. 5(об.)–6.

<sup>27</sup> ГУСО ЦГАСО. Ф. 170. Оп. 6. Д. 573. Л. 9–28.

Но так как из Самарской градской думы в прилагаемой при паспорте выписке сказано: в будущем 1857 году с 2-ой половины поступить в оклад податей в 3-х душах а потому и следует прислать в уплату оных и в обеспечение за 1858 год всего с выправкою годового паспорта 20 руб. серебром. При сей крайности прибегая под ваше покровительство явить Вам милосердие горькому сиротке со всех сторон притесняемому и беззащитному Желая Вам всех благ: душевных, телесных, земных и небесных. С чувством глубочайшего почитания и совершенной преданности имею честь быть всенужайшим слугой Никанор Сергеевич Рябинин 1860 г.»<sup>28</sup>. Самарская дума продолжала дознание по делу «бродяги» Рябинина. История, изложенная им в вышеприведенном письме, подтверждалась. В 1856 г. Н.С.Рябинин отправил в Самарскую градскую думу старый паспорт и просил выслать новый по месту жительства: «Тульской губ. Новосильскому у. в имение Ея Сият. Граф. Марьи Сергеевны Шуваловой в д. Хутор»<sup>29</sup>. К письму за новый паспорт он приложил 2 рубля серебром. Однако по окладным спискам в составе его семейства числились три души: он, мачеха и сводный брат. Поэтому дума с него потребовала вначале уплатить в оклад за три души податей 20 рублей серебром. Рябинин писал в думу, пытаясь объяснить, что давно уже живет отдельно от мачехи и брата. Мачеха проживает в Москве. Она купила собственный дом и «пользуется доходом с него». «Я ж, — писал Никанор, — совершенно от одного отстранён»<sup>30</sup>. Пусть семейство мачехи само за себя платит подати, «мачеха вышла замуж за артиста московских театров Василья Кирилова Скоробогатова»<sup>31</sup>. За себя же Никанор был готов уплатить 5 рублей. Однако, по-видимому, никому не было дела до его действительных семейных обстоятельств. Паспорт ему не выслали. И Никанор решил жить беспаспортным. Следующим к делу Н.С. Рябинина был приложен Открытый лист от командира Нижегородского батальона внутренней службы на арестанта Никанора Рябинина, отправленного из Нижнего Новгорода в Самарскую городскую думу<sup>32</sup>. Его освидетельствовали в Москве, выдали коту, рубаху, порты, онучи, шаровары, рукавицы, варежки, тульский зипун неформенный, московский полушубок, мешок («взыскать за оные вещи в казну деньги») и через Нижний Новгород отправили в Самару<sup>33</sup>. Сюжет, посвященный делу Никанора Рябинина, заканчивается в делопроизводстве думы тем же, с чего и начинался: «мещанин Никанор Рябинин

препровождённый... (в Самару)... находясь при думе 3 дня, выпросясь разыскать в г. Самаре родственников для чего был отпущен чтобы иметь постоянное жительство до настоящего времени не явился где находится неизвестно...». Для розыска обратились в полицию. Полиция не обнаружила пропавшего арестанта. Стали тогда искать, кто виноват в том, что просидевший в думе три дня без надзора арестант исчез. Виноватого нашли — им оказался мещанский староста, который отпустил Никанора для «разыскания родственников»<sup>34</sup>. В этой достаточно грустной истории показан маленький человек большой империи, «вырванный с корнем». Человеческое (Никанор) в этом сюжете приходит в столкновение с бюрократическим (паспорт). Внутри бюрократического — опять-таки снова происходит столкновение человеческого (мещанский староста) и бюрократического (дума). Никанор уходит на Волгу. Вместе с этой великой матерью — кормилицей обездоленного люда он пойдет в свое странствие по просторам России, и мы, подобно Гоголю, будем говорить: «Никанор, куда ж бредешь ты, дай ответ...» — «Не дает ответа...»

Ни в истории напуганной Феодосии, ни в истории маленького Фалимона, ни в истории заблудившегося Никанора нет конфликта с властью. Одно упование на нее. В пространстве личного письма «маленького человека» «маленькому чиновнику» дискурсы не приходят в столкновение, не противоречат друг другу, что свидетельствует об «унисонном типе отношений» государства и мещанина. Вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный уровни языковой личности провинциального мещанина подтверждают идею сословности «снизу», в конце XIX в. мещанин еще не окончательно растворился во всеобщем духе модернизирующегося русского города.

<sup>28</sup> ГУСО ЦГАСО. Ф 170. Л. 40 (об.) — 41 (об.).

<sup>29</sup> Там же. Л. 42.

<sup>30</sup> Там же. Оп. 6. Д. 573. Л. 42 (об.).

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> Там же. Л. 47.

<sup>33</sup> Там же. Л. 48 (об.) — 53.

<sup>34</sup> ГУСО ЦГАСО. Ф. 170. Оп.6. Д. 573. Л. 55.



## САМОУБИЙСТВА УЧАЩИХСЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.: ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ

*А.Б. Лярский*

Северо-Западный институт печати СПГУТД  
г. Санкт-Петербург.

*Аннотация.* В статье затрагиваются проблемы изучения самоубийств школьников с исторической точки зрения. Основное внимание уделяется описанию полезности изучения суицидов с точки зрения реконструкции особенностей человеческих отношений в истории, а также обсуждению необходимости исторического анализа формирования дискурса о самоубийстве.

**Ключевые слова:** самоубийство школьников, суицид в России начала XX в.

Принято думать, что изучение самоубийства историком — занятие неблагодарное и сомнительное, поскольку «самоубийство как индивидуальный акт принадлежит обычно ведению медицины, психологии и этики; как социальное явление изучается социологией и социальной психологией»<sup>1</sup>. Участие историка в суицидологических исследованиях, таким образом, сводится к тому, чтобы поставлять указанным дисциплинам или материал для теоретических обобщений, или, как это происходит в большинстве случаев, иллюстрации, придающие философским или социологическим выкладкам достоверность и объективность. Однако я склонен думать, что историческое изучение феномена самоубийства может быть несколько более плодотворно, чем кажется на первый взгляд. Также я считаю, что обозначенное выше положение дел скорее является итогом традиционного разделения научного труда, чем эвристически ценной методикой исследования.

В этом меня убеждает собственный опыт исследований самоубийств школьников в России конца XIX — начала XX в.<sup>2</sup> Опираясь на результаты этих исследований, я намерен рассмотреть следующие вопросы: что изучение самоубийств может дать историку и что исторический взгляд может дать для изучения самоубийств остальным дисциплинам?

Сначала обратимся к первому вопросу: что изучение самоубийств может дать историку? Ответ на него очевиден — изучение самоубийств, как и всяких человеческих поступков, позволяет лучше описать систему человеческих взаимоотношений в прошлом. К счастью, историк находится в более выгодном положении, чем медик, психолог или социолог: перед историком самоубийство предстает в виде комплекса документов, отражающего совокупность взаимосвязей конкретного поведенческого акта с окружающим миром. Это кажется абсолютной банальностью, однако отсюда следуют определенные плодотворные выводы. Изучая документы, историк фактически имеет дело с реакцией среды на то или иное поведение. Понимая это, он может отказаться от поиска причин самоубийств как от основной задачи, поскольку в его случае такое изучение будет представлять собой либо попытку подтвердить на историческом материале уже существующие психологические, философские или социологические концепции, либо простой обзор того, что считали причинами самоубийств современники изучаемой эпохи. Таким образом, можно перевести проблему самоубийства в плоскость «непоставленного эксперимента», в ходе которого появляется возможность наблюдать реакцию среды на произошедшее, и по этой реакции судить о некоторых особенностях этой среды. В частности, на этом материале могут быть корректно описаны как общие принципы взаимоотношения поколений в позднеимперской России, так и особенности этих взаимоотношений, складывающиеся в рамках системы образования. Также становятся гораздо яснее правила формирования молодежной субкультуры, молодежной моды и т. д. Разумеется, данный круг тем мог бы быть исследован и на других примерах, но экзистенциальная значимость вопроса о самоубийстве детей и подростков, его конфликтность и ужасающая серьезность, характерные для европейской культуры, особенно в XVIII — XX вв., превращает эту проблему в чрезвычайно интересный объект изучения.

Приведу пример, который, как мне кажется, демонстрирует полезность такого подхода. С точки зрения экспертов конца XIX — начала XX в., количество школьников, покончивших с собой вследствие нервных или душевных заболеваний, могло колебаться от 20 до 80%. При этом к взрослым самоубийцам такое объяснение уже практически

<sup>1</sup> Девиантность и социальный контроль в России (XIX—XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. СПб., 2000. С. 290.

<sup>2</sup> Лярский А.Б. Самоубийства учащихся как феномен системы социализации в России на рубеже XIX—XX веков. СПб., 2010.

не применялось; основной причиной самоубийств взрослых считались все-таки социально-экономические условия. Не имеет смысла вопрошать, где таится заблуждение. Ошибки могут быть случайны, но правила, по которым совершаются ошибки, случайными быть не могут. Налицо факт — к детским и взрослым самоубийствам применялись разные объяснительные схемы. Связывать это только с отсталостью науки — значит отказаться от возможности понять изучаемую эпоху. В то же время, если мы попробуем понять, что стояло за этими данными, то мы сможем глубже проникнуть в систему взаимоотношений между взрослыми и детьми. Эксперты опирались в основном на статистику, собираемую в Министерстве народного просвещения и регулярно публиковавшуюся с 1906 г. Анализ документов, послуживших основой для статистики<sup>3</sup>, показывает, что сумасшествие школьников корениться скорее в логике составителя отчетов, чем в реальном состоянии психики учащегося. Во-первых, ненормальность самоубийцы снимает ответственность с образовательного учреждения, во-вторых, устраняются сложности, связанные с погребением самоубийцы по христианскому обряду, и, в-третьих, сумасшествие является идеальным объяснением в случае непонимания взрослыми причин поступка ребенка<sup>4</sup>.

Однако если логика родителей и школьной администрации понятна, то остается открытым вопрос — почему эти цифры были приняты и в той или иной степени одобрены сообществом экспертов — статистиков, медиков и публицистов? И здесь изучение самоубийства предстает перед нами как феномен, социально не менее значимый, чем самоубийство. Во-первых, кроме научной ценности, оно имеет еще и социально значимую функцию — является одним из способов критики существующего положения вещей. И это тем более верно для самоубийства детей. Это — факт огромной моральной силы, легко превращающийся в аргумент, бьющий противника наповал, пригодный для самой разнообразной критики. Одни и те же аргументы — почерпнутые из газет о самоубийствах учащихся — современники событий использовали для критики школьной системы вообще и разных ее аспектов в частности — школьного режима, преподавателей, экзаменационной методики; для критики политической ситуации в России; для того чтобы указать на социальные проблемы общества — на кризис семьи, на недостатки общественного здравоохранения, на алкоголизм, пауперизм и т. д. Возможности такой критики поистине неисчерпаемы, а схема же самой процедуры очень проста: критикуемый объект или феномен объявляются причиной детского самоубийства.

С этим обстоятельством связано и то, что сообщество экспертов приняло установленный факт ненормальности детей с энтузиазмом: статистика школьных самоубийств подтверждала выводы критиков школьной российской системы — школа превращает детей в невротиков, в ненормальных<sup>5</sup>. Кроме того, и в сообществе экспертов было важно избавиться от кошмара непонимания, связанного с самоубийством ребенка. Ненормальность самоубийц хорошо позволяла объяснить именно детское самоубийство — ведь ребенок, по мнению многих экспертов начала XX в., в принципе не способен на суицидальные действия. Существовало некоторое априорное представление о детях как о существах «подвижных, живых по своей природе»<sup>6</sup>. Детям свойственно «счастье забывать огорчения, неспособность углубиться в себя, жизнерадостность и легкое отношение к темным сторонам жизни», и самоубийство «диаметрально противоречит всем основным чертам и правилам детства»<sup>7</sup>. Излишняя мрачность, задумчивость ребенка, к примеру, есть признак начинающейся болезни, а не черта характера. Авторы могли смягчать формулировки, говорить о недостаточной развитости болезни, о ее неполноте, «простом характере», но за мысль о болезни они всегда держались очень цепко. Представление о солнечном детстве, о юности, полной сил и желаний, могло исключать вообще какое бы то ни было отклонение. Поэтому неудивительно, что почти все самоубийцы, написавшие в посмертной записке: «надоело жить» и тому подобное, зачислялись в разряд нервно- или душевнобольных. Так как разочаровавшийся в жизни школьник совершает невозможное для ребенка вообще, то он, следовательно, болен<sup>8</sup>.

Итак, при обсуждении и описании самоубийств детей проявляются потребности и правила взрослого мира, касающиеся его взаимодействия с юным поколением, и эти правила и потребности можно исследовать, тем самым прояснив некоторые особенности истории детства, истории поколений, истории семьи в России.

Нетрудно заметить, что преодоление историком монополии социологии или психологии на изучение самоубийств вполне возможно, но при условии отказа от наработанных в социологии или психологии внеисторических схем. Так, если психолог утверждает, что самоубийство является итогом социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемых конфликтов, он, как правило, склонен

<sup>5</sup> Пярский А.Б. Самоубийства учащихся... С. 73.

<sup>6</sup> Попов Н.М. Современная эпидемия школьных самоубийств в России. Казань. 1911. С. 5.

<sup>7</sup> Соловцова Л. Самоубийства детей (По поводу брошюры В.К. Хорошко) // Вестник образования. 1910. № 7–8. Стб. 195.

<sup>8</sup> Феноменов М.Я. Причины самоубийств в русской школе. М., 1914. С. 62.

<sup>3</sup> РГИА. Ф. 733 (Министерство народного просвещения). Оп. 165, 199.

<sup>4</sup> Пярский А.Б. Самоубийства учащихся... С. 76–99.

игнорировать историческую специфику и историческую обусловленность таких конфликтов, а именно эта специфика и важна для историка. Или, если рассматривать эпидемию самоубийств начала XX в. только в терминах социологической концепции моральной паники, то можно потерять специфику той среды, в которой эта паника была возможной<sup>9</sup>.

Это и неудивительно, если мы будем учитывать амбиции и принципы построения социологического или психологического знания. Извлекая из эмпирических данных обобщающие заключения, сворачивая реальность в формулы, исследователи из многих гуманитарных областей часто забывают, что эти формулы не могут быть применимы к любому месту и времени. Поэтому в поисках междисциплинарного синтеза следует скорее обратиться ко второй части вопроса: что исторический взгляд может дать остальным дисциплинам, изучающим самоубийство?

Ответ известен: во-первых, исторические штудии позволяют принести здоровую ноту релятивизма в монистические напевы социологов и психологов, и, во-вторых, именно исторические, а не статистические исследования позволяют составить представление об истинной динамике процесса. Разумеется, любой исследователь отметит пластичность, а также культурную и историческую изменчивость человеческого отношения к самоубийству. Но мысль об «исторической относительности», к сожалению, совершенно не мешает забывать о том, что и наша современная концепция есть такой же продукт исторического развития, как и любое другое социальное явление. Историческому анализу дискурса о самоубийстве уделяется явно недостаточное внимание, а между тем именно он позволяет понять особенности нашего понимания суицидального поведения. И нигде это не заметно так, как при изучении истории школьных самоубийств.

На наше восприятие и наше отношение к самоубийству оказывает существенное влияние сам процесс проблематизации самоубийств в европейской культуре. Возможность самостоятельного прекращения

жизни реализовывалась человеком во многих сообществах с помощью определенной регламентации, стоящей в ряду таких регламентаций, как нормы половой жизни, пищевые нормы и т. д. Там, где самоубийство интегрировано в общественную жизнь, где ему отведено в жизни общества специальное место, мы не обнаруживаем проблематичности и непонимания этого явления. Самоубийство вполне объяснимо воздействием внешних сил (духов, бесов и т. п.)<sup>10</sup> или просто является в определенных ситуациях нормальным вариантом человеческого поведения<sup>11</sup>. Там, где самоубийство считалось грехом, оно также не проблематизировалось. Отношение к самоубийству приобретает современный вид тогда, когда в европейском обществе начинают бурно протекать процессы секуляризации и развиваются представления о моральной автономии индивида. В этом случае самоубийство становится проблемой: там, где нет однозначного решения вопросов жизни и смерти, там, где речь идет о свободе воли и свободе выбора, — там вопрос о самоубийстве приобретает экзистенциальную значимость.

Кроме указанных факторов, сильное влияние на наше представление о самоубийстве оказало становление позитивного социального знания в Европе, в частности, формирование моральной статистики<sup>12</sup>. Представители этого направления, равно как и впоследствии Дюркгейм, считали самоубийство удобным объектом исследования для выявления закономерностей общественной жизни. Как писал один из первых исследователей самоубийств в России, К. Герман, динамика самоубийств и убийств «позволяет, по крайней мере, частью узнать нравственное и политическое состояние народа»<sup>13</sup>. Нетрудно заметить, что мнение о том, что самоубийство является показателем нравственности, целиком коренится в европейской христианской культуре. В конце концов, речь шла об исследованиях того, как проявляется на земле грех; в рамках моральной статистики исследовались те, кто должен был бы попасть в ад. И этот «запах серы» до сих пор витает над исследованиями самоубийств, несмотря на совершенную привычность для нас идеи о праве человека выбирать собственную судьбу.

Безусловно, еще одним важным фактором, оказавшим воздействие на современный взгляд на самоубийство, стала концепция, предложенная Э. Дюркгеймом. Он превратил самоубийство в лабораторию для подтверждения основных положений создаваемой им науки.

<sup>9</sup> В социологии под «моральной паникой» понимают явление, присущее информационному обществу, при котором сообщество экспертов и СМИ формируют панические настроения, даже если реальная опасность невелика. И хотя такие настроения, скорее, степень озабоченности общества угрозой, чем степень самой угрозы, они усугубляют описываемое явление и способствуют его популярности, что в свою очередь усиливает панику и т. д. — наподобие снежного кома. (См. Коэн С.: Народные бесы и моральные паники: возникновение модов и рокеров // Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. М., 2000. С. 165–168.) В рамках этой концепции можно описать любую «эпидемию самоубийств» в обществе с развитой сферой СМИ, но при невнимательном и догматическом описании, например, немецкая или русская «эпидемии» будут выглядеть совершенно идентично.

<sup>10</sup> Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995.

<sup>11</sup> Мосс М. Физическое воздействие на индивида социально внушенной мысли о смерти // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 2011. С. 286–303.

<sup>12</sup> Панерно И. Самоубийство как культурный институт. М., 1999. С. 32–39.

<sup>13</sup> Девиантность и социальный контроль в России... С. 16.

И именно с концепцией Э. Дюркгейма, на мой взгляд, связана определенная двойственность в понимании суицидальных актов. Дихотомия индивидуального и социального, присущая теориям Э. Дюркгейма, вполне отразилась и в его концепции самоубийств. С одной стороны, сам Э. Дюркгейм признавал, что самоубийство вполне логично согласуется с моральной организацией общества и является просто крайней формой ее проявления<sup>14</sup>. Дюркгейм утверждал также, что самоубийство «является крайней формой повседневных поступков»<sup>15</sup>. С другой стороны, главной задачей в исследовании самоубийств Дюркгейм считал конструирование объекта для социологической науки, и именно в силу этих причин самоубийцы были объединены в сообщество, а самоубийства стали показателем действия «коллективных сил». Именно поэтому изучение самоубийств до сих пор может разделяться между разными науками по такому странному критерию, как индивидуальное явление и коллективное явление. Концепция самоубийств, таким образом, оказалось отдаленным итогом того же процесса, который был отмечен Н. Элиасом для становления концепций «личности» и «общества»<sup>16</sup>.

К противоречиям, связанным с изменениями воззрений на самоубийство, в случае с исследованием подростковых самоубийств, добавляются особенности восприятия в европейской культуре и детства, и смерти. В рамках отношений взрослых и детей постепенно формировалось понимание особенности детского мира, подростковых школьных субкультур и т. д. Но до сих пор взрослые не разрешили вопроса о том, как должны строиться отношения детей со смертью. На этом основании дети, строящие как-то свои отношения со смертью без участия взрослых, представляются опасными, хотя часто ребенку ничего не остается делать иного, поскольку монополия взрослых на «осознание смерти» и попытки изолировать детей от нее только усиливаются с начала XX в. Причем это вовсе не отрицает реальности детских смертей в войнах и конфликтах. Противоречие заключается в том, что общепринятых правил и практик для общения со смертью общество ребенку не предоставляет — кроме запретов и изоляции. И каждый человек, в том числе и взрослеющий подросток, вынужден сам искать такие правила и сам строить свои отношения со смертью. Ничего удивительного, что эта самостоятельность приводит детей иногда на те пути, на которых взрослым не хотелось бы их видеть.

<sup>14</sup> Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М., 1994. С. 360.

<sup>15</sup> Там же. С. 14.

<sup>16</sup> По мнению Н. Элиаса, представление о личности и обществе как о двух разделенных, противостоящих друг другу сущностях есть конструкт, причем довольно поздний, составляющий определенный итог европейской культурной эволюции. Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001.

В совокупности эти тенденции приводят к весьма специфическому отношению взрослых к самоубийству школьников, и, что характерно, эта специфика сохраняется на протяжении уже более чем ста лет. Это свидетельствует, на мой взгляд, не столько об объективности подобного описания, сколько о стабильности сформировавшихся общественных структур, в рамках которых это описание имеет смысл и определенную цель.

Пожалуй, хорошим примером могут служить возникающие время от времени в современной России попытки бороться с подростковым суицидом на официальном уровне. Сюда я бы отнес, прежде всего, попытку бороться с пропагандой суицида и с теми молодежными субкультурами, которые пропагандируют суицид. Так, в 2008 г. в Государственной Думе обсуждалась «Концепция государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности»<sup>17</sup>, в которой, в частности, утверждалось, что субкультура эмо «характеризуется значительным риском побуждения его членов к совершению самоубийства»<sup>18</sup>; то же было сказано и в отношении «некоторых направлений» субкультуры готов<sup>19</sup>. В том числе и на этом основании указанные субкультуры были охарактеризованы как «значительная угроза для дальнейшего развития российского общества и государства»<sup>20</sup>.

Невозможно не провести аналогию с ситуацией столетней давности — например, среди обвинений, которые старшее поколение предъявляло подросткам-самоубийцам, было обвинение в эгоизме и нежелании бороться за общественное благо. В то же время сами суициденты часто стремились доказать, что причиной их поступка была как раз невозможность приносить пользу обществу — по тем или иным причинам. Учитывая, что подобный взгляд входил в канон интеллигентского мировосприятия, можно сказать, что юные самоубийцы выучили урок слишком хорошо, но старшее поколение отказалось признавать в их поступках общественно значимый смысл, отказалось признавать в молодых самоубийцах своих последователей. Наоборот, старшее поколение в этом случае целиком возложило вину за самоубийство на поколение молодых. Нельзя не вспомнить и о попытках обнаружить общества самоубийц в России. Все эти попытки, правда, закончились безуспешно, однако они свидетельствуют о стремлении найти виновника, придать подростковым самоубийствам смысл вне структуры взрослого мира.

<sup>17</sup> Концепция государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности (Проект, 02.06.2008). М., 2008. 413 с.

<sup>18</sup> Там же. С. 300.

<sup>19</sup> Там же. С. 297.

<sup>20</sup> Там же. С. 279.

Примерно такова же и логика современных борцов с субкультурой — перенос источника опасности внутрь молодежного сообщества и избавление себя от вины за существующее положение дел. Это скорее магическая, нежели рациональная процедура — она позволяет отпустить себе грехи, создает видимость реакции, видимость борьбы, но к уменьшению количества самоубийств никакого отношения не имеет. Только на моей памяти сменилось уже несколько «молодежных субкультур», виновных в распространении суицида. Борьба с эмо нелепа потому, что бессмысленно бороться с собственными страхами и собственной виной, уничтожая их объекты. Страх и вина останутся, ибо коренятся они в нашей противоречивой концепции суицида, и объектом их станет другое молодежное движение. Кроме того, подобные концепции не могут уменьшить реальное количество самоубийств, поскольку опираются на представление о самоубийстве, сформировавшееся в рамках социологии. Они обладают социальным психотерапевтическим эффектом, потому что показывают причины, объясняют явление. Но по природе своей многие социальные причины, влияющие на количество самоубийств, неустранимы — последствия реформ, экономические кризисы, социальные катаклизмы и т.п. А признаться себе, что подростковые и детские самоубийства неустранимы при современном устройстве общества, — признаться себе в этом невозможно — ни с политической, ни с моральной точки зрения.

Но точно так же трудно себе признаться и в том, что даже борьба с самоубийствами — такое же следствие исторически обусловленной ситуации, как и сами самоубийства. Сравнительно-историческое исследование хорошо иллюстрирует это положение. Для общества начала XX в. 41 детское самоубийство в месяц (а это одна из самых больших цифр)<sup>21</sup>, представлялось небывалым и катастрофичным. В подобной ситуации Россия видела «эпидемию», не только газеты и журналы пестрели заметками и статьями, посвященными этой проблеме, но и создавались общественные комиссии по борьбе с самоубийствами, опрашивались подростки и т. д. В начале XXI в. были опубликованы данные, которыми оперируют до сих пор<sup>22</sup>, — со ссылкой на шведский центр суицидальных исследований утверждается, что Россия занимает первое место в мире среди подростковых самоубийств (абсолютные цифры) и теряет в год около 2500 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Эти данные публиковались без изменений

<sup>21</sup> *Хорошко В.К.* Самоубийство детей. М., 1909.

<sup>22</sup> Российские самоубийства: случай Башкортостана // Демоскоп Weekly. 2012. № 523–524. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0523/demoscope523.pdf>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.

и в 2002 г.<sup>23</sup>, и в 2004 г.<sup>24</sup> Однако какой-либо существенной реакции не приходилось наблюдать вплоть до последних лет, причем официальные представители власти оперируют несколько меньшими<sup>25</sup> или существенно меньшими<sup>26</sup> цифрами. Очевидно, что наличие проблемы не зависит от реалий самой проблемы и как таковая «эпидемичность» самоубийств не зависит от их количества. Эпидемии нет, когда общество не видит здесь эпидемии, и, наоборот, она есть, когда общество видит ее. Это зависит от статуса самоубийства в культуре и от наличия некоторой социальной группы, которая будет реагировать на проблему. В России начала XX в. такой группой была интеллигенция, в России начала XXI в. проблема стала общественно значимой после вмешательства государственных структур.

\* \* \*

Разумеется, смысл междисциплинарности не только в том, чтобы историк использовал методы и подходы иных дисциплин, но и в экспансии исторического знания в области, которые были доселе для него закрыты. Безусловно, это не самоцель. Отказавшись от роли регистратора и поставщика иллюстраций, историк часто может прояснить некоторые противоречия нашего понимания самоубийства и соответственно оказать сообществу помощь в том, чтобы минимизировать издержки от нашего способа организовывать окружающую реальность.

<sup>23</sup> Самоубийства: мифы, реальность, статистика. URL: <http://www.newsru.com/crime/11Jun2002/suicaedo.html>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.

<sup>24</sup> Без видимых причин // Учительская газета. 2004. № 42. URL: <http://www.ug.ru/archive/5747>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.

<sup>25</sup> Павла Астахова тревожит статистика детских суицидов // Электронная газета «Век» 09.02.2012. URL: <http://wek.ru/obshchestvo/77536-pavla-astaxova-trevozhit-statistika-detskix-suicidov.html> [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.

<sup>26</sup> Линия смерти // Российская газета. 2013. № 6032. 15 марта. URL: <http://www.rg.ru/2013/03/15/samoubiistva.html> [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013.

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И СОЦИАЛИСТЫ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА

*А.Ю. Суслов*

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет  
г. Казань

***Аннотация.** В статье рассматривается процесс эволюции образа представителей оппозиционных социалистических партий (меньшевиков и социалистов-революционеров) в историческом сознании советского и российского общества с 1920-х гг. до современности. Подчеркивается роль кинематографа в формировании ключевых образов, специфика восприятия мифов населением, опора на культурные стереотипы.*

***Ключевые слова:** социалисты-революционеры, меньшевики, мифология, историография, историческое сознание, художественный кинематограф.*

Важной теоретической проблемой современной интеллектуальной истории является обращение к феномену исторической памяти. Историческая память чаще всего понимается как одно из измерений индивидуальной и коллективной/социальной памяти — как память об историческом прошлом или, вернее, как символическая репрезентация исторического прошлого. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях<sup>1</sup>.

Сразу же после захвата власти перед большевиками, как и перед любым революционным режимом, встал вопрос о легитимности, то

есть задача доказать, что ими была совершена настоящая революция, а не военный переворот, как утверждали меньшевики и эсеры. Созданию «образа революции» и ее врагов и была подчинена многочисленная литература антиэсеровской и антименьшевистской направленности.

Важной частью пропаганды становится кино (именно с 1920-х гг. восприятие мира современным человеком становится все более опосредованным экраном), где образы меньшевиков и эсеров изображаются резко отрицательно. Начало расцвета кинематографа совпало с формированием тоталитарного режима. Знаковым стал документальный фильм С. Эйзенштейна и Г. Александрова «Октябрь» (1927 г.), где после выступающего на трибуне меньшевика показывались руки, перебирающие струны арфы, а речь эсера монтировалась с балалайкой. И то, что в последующие десятилетия советской власти фильм ассоциировался с представлением о «Великом Октябре», в немалой степени было сформировано именно Эйзенштейном, его весьма образную кинематографическую версию выдавали чуть ли не за документальную фиксацию свершившегося.

Существенную роль в формировании представлений о социалистах сыграл документальный фильм Д. Вертова «Процесс эсеров». Сюжеты про судебный процесс 1922 г. стали первыми частями киножурнала «Кино-Правда», в том же году материал был смонтирован в отдельный фильм; информация о первом дне суда завершалась крупным планом нагана, из которого, как свидетельствует надпись, стреляли в Ленина — Вертов умел поддерживать напряжение в зрителе, предвосхищая авторов современных телесериалов. Первоначально власти не видели смысла для съемок в зале суда, Д. Вертову с трудом удалось добиться разрешения — первые выпуски «Кино-Правды» ограничивались уличными сценами и показом массовой демонстрации в поддержку обвинения 20 июня 1922 г. Однако затем власти, озабоченные реакцией населения на эсеровский процесс, допустили Вертова для съемок собственно судебных заседаний. Вертов искусно манипулировал образом обвиняемых и образом возмущенного зала, его камера как бы ловила преступников врасплох, показывая затем широкое обсуждение хода суда и приговора.

К. Ватулеску, анализирувавшая советскую культуру 1920-х, отмечала, что Д. Вертов в традициях голливудских фильмов назначал аудитории в суде роль присяжных заседателей<sup>2</sup>. Документальный фильм «Процесс эсеров» сыграл огромную роль в антиэсеровской пропаганде — кинохроника распространялась по всей стране, а сам режиссер сравнивал свое творчество с работой агентов ГПУ, которые также не

<sup>1</sup> Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011. С. 414.

<sup>2</sup> Vatulescu C. Police aesthetics: literature, film, and the secret police in Soviet times. Stanford, 2010. P. 92.

знают, что их ждет, но имеют определенную конечную задачу<sup>3</sup>. Найденные Вертовым приемы — нагнетание обвинений при фактическом отсутствии защиты, компрометация представителей социал-демократии, апелляция к мнению толпы (показ митингов «по адресу правосудия») — в фильмах-процессах 30-х гг. превратятся в кинематографический штамп. Вожди революции заняли чужие места в мифологическом сознании, и покушение на них стало восприниматься как святотатство. Вертов через монтаж превратил орудие покушения на вождя в своеобразный тотем, оставляющий в подсознании зримый след, вопреки времени, вытеснившего его из памяти. Режиссер стремился не просто отражать политические события, как в прежней кинохронике, но вскрывать политический смысл происходящего собственно кинематографическими средствами.

Карикатурными были образы социалистов в популярных фильмах 1930-х гг., эсеры и меньшевики откровенно высмеивались (трилогия о Максиме Г. Козинцева и Л. Трауберга, «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» М. Ромма). Литература и кино фактически становились институтами по «производству Истории»<sup>4</sup>. Именно кино предоставляло наибольший простор для мифологизации истории. В итоге, как позднее точно подметил писатель Ю.В. Давыдов, образы представителей социалистических партий в массовом сознании на долгие годы стали стандартными: «...большевик — как бы держатель контрольного пакета с акциями-истинами, он на дружеской ноге с токарями-слесарями. Меньшевик — пенсне на местечковом носу — суетлив, труслив, трухляв, токаря-слесаря над ним потешаются. А эсер, этот взбесившийся мелкий буржуа, прикидываясь другом народа, носит косоворотку и такой уж нервный, такой нервный, будто за пазухой у него адская машинка; он либо бомбист, злонамеренно мешающий развитию массового движения, либо нахал, дергающий за бороду Карла Маркса»<sup>5</sup>. Факты реальности превращались в факты исторической памяти. Исторические лица становятся персонажами художественных произведений, их индивидуальные черты, отображенные в источниках, подвергаются художественному переосмыслению с тем, чтобы образ приобрел целостность и выразительность. Таким образом, мифологизация образа социалистов в историческом сознании населения Советской России происходила преимущественно визуальными способами, хотя, разумеется, при активном участии исторической науки и публицистики.

Важным фактором фиксации в общественном сознании образов социалистов можно считать фильм «Ленин в 1918 году» (1939 г., режиссер М. Ромм; Сталинская премия 1941 г.), где Фанни Каплан в исполнении актрисы Н.Г. Эфрон запечатлелась в сознании миллионов советских граждан как эсерка, стрелявшая в вождя. «Эсерка Каплан стала настоящей инкарнацией врага», — отмечает в своей монографии о советском кино Е. Добренко<sup>6</sup>. Критика писала об «акте гражданского, артистического мужества, который совершила Н. Эфрон, снимаясь в роли Каплан». Фильм «Ленин в 1918 году» был теснейшим образом связан с показательными процессами 1930-х гг., с атмосферой Большого террора.

Исследователи проблем культурной памяти и коммеморации (Э. Хобсбаум и др.) отмечают, что существуют «границы применения» изобретенных традиций. Они должны быть в какой-то мере созвучными потребностям тех сообществ, которым адресованы. Другими словами, очень сложно навязать населению образ, к которому люди не испытывают никакой близости. Далеко не каждый образ прошлого можно превратить в исторический миф. Как показывают исследования, механизм создания мифа вокруг реального исторического события заключается в том, чтобы соотнести повествование об этом событии с одним из «циркулирующих в мировой культуре универсальных сюжетов»; отбросить из рассказа все «лишние» детали и привнести детали новые, более соответствующие мифическому прообразу; и, наконец, перевести повествование в яркий образный ряд<sup>7</sup>. Поэтому в антиэсеровской и антименьшевистской пропаганде и использовались отмеченные выше черты, апеллировавшие к бытовому антисемитизму и недоверию к интеллигенции, то есть к архаическим структурам мышления, архаическим способам освоения мира. Историк Б. Орлов, анализирувавший причины формирования мифа о Ф. Каплан, пришел к выводу, что «фигура Каплан была уникальной. Ее отщепенство от России и русского народа было абсолютным. Еврейка, интеллигентка, с уехавшей из России семьей, без места в жизни и без малейшего намека на смысл существования. Она вписывалась в естественную схему «врага», не требуя поправок и дополнений. Ее роль убийцы доказывалась не уликами или вещественными доказательствами, а чутьем, происхождением и фамилией»<sup>8</sup>. Советская пропаганда прочно увязала подсудимых эсеров на процессе 1922 г. с Каплан и террором против большевистских вождей в 1918 г.

<sup>3</sup> Police aesthetics: literature, film, and the secret police in Soviet times. P. 85.

<sup>4</sup> Добренко Е. Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. М., 2008. С. 7.

<sup>5</sup> Давыдов Ю. Савинков Борис Викторович, он же В. Ропшин // Савинков Б.В. Избранное. М., 1990. С. 7.

<sup>6</sup> Добренко Е. Указ. соч. С. 354.

<sup>7</sup> Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX — начала XX в. Самара, 2011. С. 15.

<sup>8</sup> Орлов Б. Миф о Фанни Каплан // Время и мы. (Тель-Авив). 1976. № 3. С. 155.

Успешность формирования нового исторического сознания зависела и от того, насколько большевикам удастся вовлечь население в процесс его создания — в конечном счете, в процесс своеобразного «конструирования прошлого». Для того чтобы то или иное историческое явление закрепилось в коллективной памяти, оно должно наполниться смыслом для ее носителей. Такие конструктивные элементы получили в исторической науке названия «фигуры воспоминания» или «места памяти». Они являются главными ориентирами для членов сообщества и дают представления о прошлом и настоящем. С помощью самых разнообразных средств печатной и массовой пропаганды власть в конечном счете сумела создать к 1930-м г. такой образ истории социалистических партий, который переживался на уровне личной и групповой памяти и обеспечил людей тем языком, которым они выражали свои воспоминания.

Интерес к изучению истории российских политических партий возродился во второй половине 1950-х гг., демонстрируя благоприятные для исторической науки последствия либерализации советского общества. Смягчение режима выразилось в открытии ряда тем для исследований, критике «ошибок» и «недостатков» прошлых лет. Тем не менее советская наука продолжала оставаться государственным проектом, с четко очерченными рамками и идеологическими установками. В общественном сознании сохранялся образ меньшевиков и эсеров как «врагов революции», заговорщиков и пособников белогвардейцев.

В то же время эти представления постепенно начинают разрушаться, хотя и в ограниченных масштабах. Этому способствовала критика сталинизма в годы «оттепели», появление в 1960-е г. неподцензурной диссидентской литературы (самиздата), публикация художественных произведений (романов, пьес) и фильмов о гражданской войне, чекистах, эмиграции, Б.В. Савинкове и левых эсерах. В них образы «врагов революции» были иногда далеки от карикатурных — можно выделить фильм «Шестое июля» (1968 г., режиссер Ю.Ю. Карасик, сценарист М.Г. Шатров) о выступлении левых эсеров в 1918 г. Принципиальным новаторством этих кинематографических работ была трактовка характера противников большевиков как цельных, искренних, идейно убежденных людей. Важным было также обращение к истории существования многопартийности, осуществлению которой в стране помешали обстоятельства. Образ М. Спиридоновой в исполнении А. Демидовой запомнился зрителям своими человеческими чертами — искренностью, цельностью, убежденностью, о чем актриса говорила сама. Далеко не всеми фильм был встречен благожелательно: историки с кафедры истории КПСС МГУ Н.В. Савинченко и А.И. Широков в своей рецензии обозначили «ложный замысел фильма» и «фальшивое новаторство».

Рецензентов не устраивало, что главное внимание в нем сосредоточено не на деятельности В.И. Ленина и ЦК большевиков, а на М.А. Спиридоновой и ее окружении. «Историческое событие — разгром мятежа «левых» эсеров — показано в кривом зеркале», — подытожили они<sup>9</sup>. Исполнитель роли В.И. Ленина в фильме «Шестое июля» артист Ю.И. Каюров вспоминал в эфире радиостанции «Свобода» 21 января 2004 г., что отрицательная рецензия в «Огоньке» помешала получить создателям фильма Ленинскую премию<sup>10</sup>.

Кинематограф «оттепели» был напрямую причастен к кризису советской идеологии, стал точкой отсчета для ее «заката». Попытка вдохнуть в нее новую жизнь с помощью фильмов историко-революционной тематики, отождествление эпохи «оттепели» с периодом первых лет революции (не случайно «Шестое июля» было черно-белым фильмом, ассоциирующимся с документальной хроникой 1920-х), когда еще не было сталинских репрессий, оказалась неудачной. Одной из главных причин стало то, что «оттепель» создавала свои мифы (прежде всего о В.И. Ленине и идеальном обществе — справедливом и гуманном) в противовес официальным мифам сталинской эпохи, не имея возможности выйти за рамки «социализма с человеческим лицом» и незыблемости революционных идеалов<sup>11</sup>. Безусловно, пьеса М. Шатрова и фильм Ю. Карасика были правдивее и достовернее, чем «Ленин в 1918 году». Однако фильмы Ромма, будучи фальсификациями, были поставлены на основе глубокой убежденности, на сознании того, что создается образ исторического процесса. По своему масштабу они превосходили кинематограф «оттепели». Фильм «Шестое июля» создавал образ проверки истории, не нес в себе мощного идейного заряда, как ленты 1930-х г. Поэтому не случайно — рецензенты в этом правы — образ Ленина выглядит слабо. В итоге культура 1960-х немало

<sup>9</sup> Савинченко Н.В., Широков А.И. О фильме «Шестое июля» // Огонек. 1970. № 13. С. 25. Со схожими претензиями к пьесе и фильму выступили Ю. Зубков и Ф. Журко. См.: Зубков Ю. Документальность и историческая правда // Октябрь. 1969. № 7. С. 208–209; Журко Ф. Поэзия документов и фактов: Лениниана в историческом развитии // Наш современник. 1969. № 10. С. 112. См. весьма характерный перечень замечаний со стороны Главной сценарно-редакционной коллегии Комитета по кинематографии к режиссерскому сценарию фильма «Шестое июля» — Кинематограф оттепели: Документы и свидетельства. М., 1998. С. 158–159.

<sup>10</sup> В шкуре вождя: URL: <http://archive.svoboda.org/programs/sp/2004/sp.012104.asp>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013. Одним из консультантов фильма «Шестое июля» был историк В.Т. Логинов, в тот момент научный сотрудник ЦПА ИМЛ и член художественного совета «Мосфильма».

<sup>11</sup> Подробнее см.: Soviet Cinematography 1918–1991: Ideological Conflict and Social Reality. New York, 1993. P. 129–145; Кинематограф оттепели / отв. ред. В. Трояновский. Кн. 1. М., 1996; Кн. 2. М., 2002.



способствовала разрушению советской системы, так как произведения советской культуры и особенно советское кино сохраняли свою художественную ценность прежде всего своими избыточными смыслами, теми, которые не предполагала система. Для нее любой вид искусства оставался, прежде всего, средством пропаганды и агитации.

В 1990-е г. процесс воздействия киноискусства на общество стал еще более сложным. Центральные телеканалы производят (сами или заказывают независимым студиям) несколько сотен документальных программ, которые выходят в эфир с пометкой «документальный фильм» и положительным образом отражаются на рейтинговых показателях. В 2009 г. крупные российские телеканалы показали 1900 часов документальных фильмов. К 2010 г. в структуре телевизионного контента документалистика составила 7 % и заняла 5-е место с долей аудитории в 26 %, уступив только новостям, развлекательным программам, кинофильмам и сериалам. Это говорит о серьезном воздействии документального жанра на современном российском телевидении на формирование исторического сознания общества. Весьма характерен для современного состояния обыденного исторического сознания российского общества сюжет с Ф. Каплан — в нем причудливо переплетаются новые научные исследования, давние стереотипы и фантастические гипотезы.

Показательно, что, несмотря на привлечение весьма авторитетных ученых в качестве экспертов, в большинстве случаев тиражируются старые мифы параллельно с новым мифотворчеством. Трансформация научного знания в обыденное в России проходит весьма медленно и противоречиво. Вполне можно согласиться с А.П. Ненароковым, что «роль телевидения в воспитании интереса к истории за передачами, в которых поиски форм сопровождаются знанием того, о чем идет речь, и уважением к историческому факту»<sup>12</sup>. Давно подмечено, что история и телевидение плохо совместимы по своей природе. Исследователи сходятся во мнении, что телевизионная реальность того или иного канала привлекает зрителей не ее жизнеподобием, а соответствием господствующим в обществе вкусам, которые отчасти формируются тем же телевидением. В основе этих вкусов лежат эталоны массовой культуры, интерпретированные во второй половине XX в. культурой постмодернизма. Однако влияние на них оказывают и индивидуальные вкусы руководства канала, и государственная идеология, и политический заказ. Тем не менее в случае обращения кинематографа к историческим событиям необходима обоюдная ответственность и зрителя,

<sup>12</sup> *Ненароков А.П.* В поисках жанра. Записки архивиста с документами, комментариями, фотографиями и посвящениями. Кн. 1. Вдаль к началу. М., 2009. С. 234.

и режиссера: первый должен понимать, что имеет дело с художественным произведением, второй — чувствовать ответственность за трактовку реальных событий<sup>13</sup>.

Таким образом, кино, наряду с другими культурными практиками, оказало существенное влияние на формирование исторического сознания советского общества. Образ представителей социалистических партий, меньшевиков и эсеров, прошел определенную эволюцию — от схематичных, однозначно негативных стереотипов сталинской эпохи, через более достоверные произведения 1960–1970-х гг. — до крайне противоречивых современных сюжетов.

<sup>13</sup> *Токарев В.А.* Между страстью и пристрастностью: Клио и художественный кинематограф URL: <http://www.csu.ru/files/history/39.rtf>. [Режим доступа: свободный]. Дата обращения — 31.08.2013. См. также: *Television histories: shaping collective memory in the media age* / Ed. by Gary R. Edgerton and Peter C. Collins. Kentucky, 2001; *Зверева В.* История на ТВ: конструирование прошлого // Отечественные записки. 2004. № 5; *Новикова А.А.* Документальная драма на телевидении: от спектакля к реалити-шоу // Вестник МГУ. Сер. 10. Журналистика. 2007. № 2. С. 32, 43 и др.

**СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ**

**АРХИПОВА Екатерина Анатольевна** — кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории и теории исторической науки Российского государственного гуманитарного университета.

**БАСАЛАЕВА Ирина Петровна** — кандидат философских наук, доцент кафедры истории гуманитарного факультета Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета.

**БУРЛА Екатерина Изяславовна** — аспирант Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

**ВОЛОДИН Андрей Юрьевич** — кандидат исторических наук, доцент кафедры исторической информатики исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

**ГАЙДУК Владислава Леонидовна** — аспирант кафедры социальной истории Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

**ДОЛГОВА Евгения Андреевна** — кандидат исторических наук, преподаватель Учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета.

**ЕРШОВА Галина Гавриловна** — доктор исторических наук, профессор, директор Учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета.

**ЗАХАРОВА Евгения Андреевна** — соискатель кафедры истории России XIX — начала XX в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник международного отдела Государственного центрального музея современной истории России.

**ИЛЛЕРИЦКАЯ Наталия Владимировна** — доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории исторической науки Российского государственного гуманитарного университета.

**КИРИДОН Алла Николаевна** — доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом исследований теоретических и прикладных проблем национальной памяти Украинского института национальной памяти.

**КОБОЗЕВА Зоя Михайловна** — кандидат исторических наук, докторант кафедры российской истории Самарского государственного университета.

**КРОМ Михаил Маркович** — доктор исторических наук, профессор исторической компаративистики Европейского университета в Санкт-Петербурге.

**ЛЯРСКИЙ Александр Борисович** — кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного института печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна.

**МАЛОВИЧКО Сергей Иванович** — доктор исторических наук, профессор кафедры истории исторического факультета Московского государственного областного гуманитарного института.

**МИРОНОВ Борис Николаевич** — доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

**МУХИН Олег Николаевич** — кандидат исторических наук, доцент Томского государственного педагогического университета.

**РОСТИСЛАВЛЕВА Наталия Васильевна** — доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета.

**РУМЯНЦЕВА Марина Федоровна** — кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной истории факультета истории Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

**САВЕЛЬЕВА Ирина Максимовна** — доктор исторических наук, профессор кафедры истории идей и методологии исторической науки, директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

**СУСЛОВ Алексей Юрьевич** — кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Казанского национально-исследовательского технологического университета.

**ШКУРАТОВ Владимир Александрович** — доктор философских наук, профессор Южного федерального университета в г. Ростов-на-Дону.

*Научное издание*

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Российский государственный гуманитарный университет»

**«СТЕНЫ И МОСТЫ» — II**  
междисциплинарные и полидисциплинарные  
исследования в истории

Компьютерная верстка  
*Т.В. Серегина*

Корректор  
*И.М. Башлай*  
*Т.Ю. Коновалова*

ООО «Академический Проект»  
111399, Москва, ул. Марتنевская, 3.  
Сертификат соответствия  
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012.  
Орган по сертификации РОСС RU.0001.11AE51  
ООО «Профи-сертификат»

*По вопросам приобретения книги просим обращаться  
в ООО «Трикта»:  
111399, Москва, ул. Мартеневская, 3  
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088  
E-mail: info@aproject.ru  
Интернет-магазин: www.aproject.ru*

Подписано в печать 16.12.13.  
Формат 60×90/16. Гарнитура NewtonCSanPin. Бумага писчая.  
Печать офсетная. Печ. л. 15,5. Тираж 300 экз.  
Заказ № .

Фирма типографии.

ISBN 978-5-8291-1575-3



9 785829 115753

## КНИГА — ПОЧТОЙ

ИЗДАТЕЛЬСКО-КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА  
«ТРИКСТА»

*предлагает заказать и получить по почте книги  
следующей тематики:*

- ▶ психология
- ▶ философия
- ▶ история
- ▶ социология
- ▶ культурология
- ▶ учебная и справочная литература  
по гуманитарным дисциплинам  
для вузов, лицеев и колледжей

Прислав маркированный конверт с обратным адресом,  
Вы получите каталог, информационные материалы  
и условия рассылки.

Наш адрес:  
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3,  
ООО «Трикта», служба «Книга — почтой».

Заказать книги можно также по  
тел.: (495) 305-37-02, факсу: 305-60-88

или по электронной почте:  
e-mail: [info@arproject.ru](mailto:info@arproject.ru)

Просим Вас быть внимательными и указывать полный  
почтовый адрес и телефон / факс для связи.  
С каждым выполненным заказом Вы будете получать  
информацию о новых поступлениях книг.

**ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!**

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**